Лев Славин

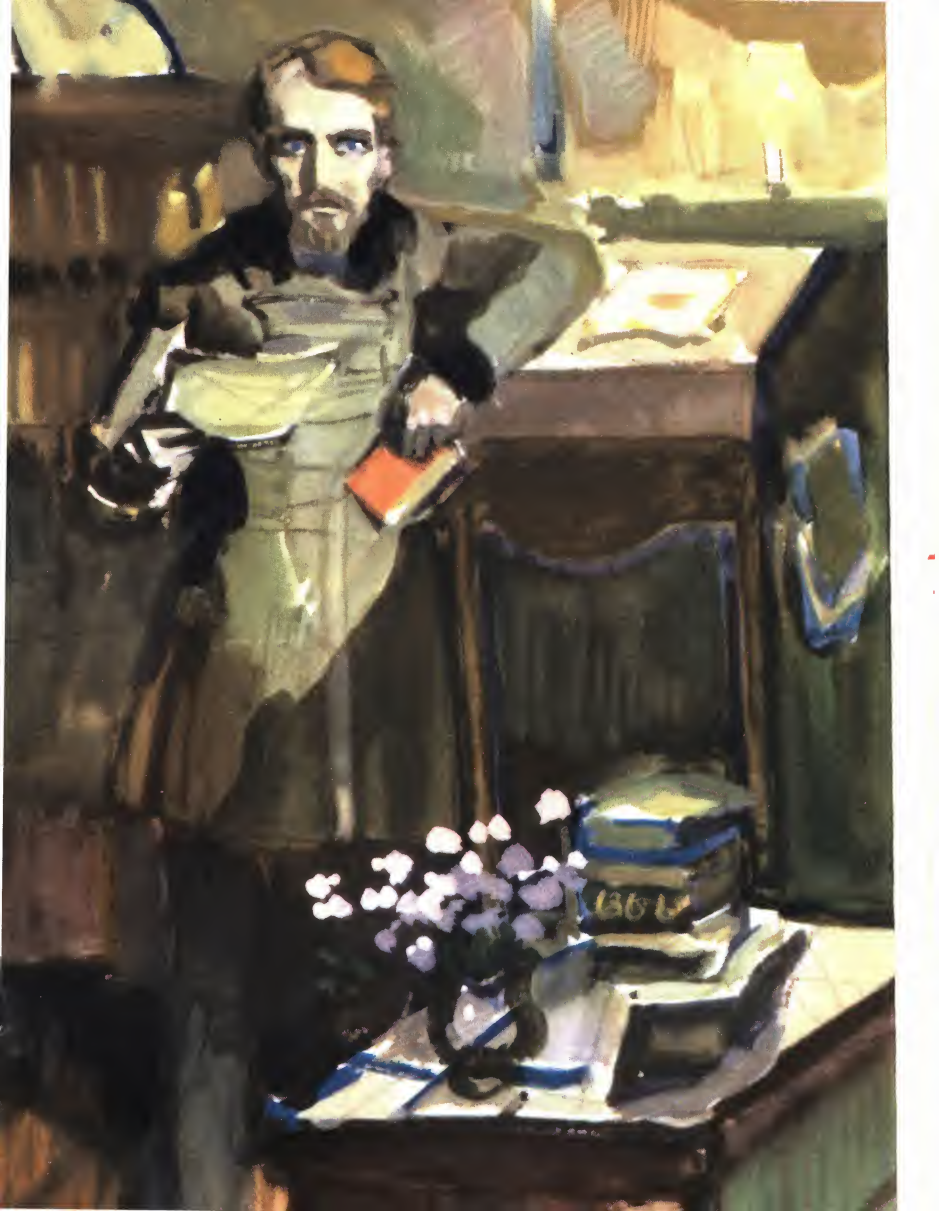
Неистовый

ПР





Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1973



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Лев Славин

НЕИСТОВЫЙ

ПОВЕСТЬ
О ВИССАРИОНЕ БЕЛИНСКОМ

Р2
С47

Лев Славин — автор широко известной героической драмы «Интервенция», его повесть «Два бойца» дала жизнь популярному одноименному кинофильму. Писатель принимал участие в создании киносценария знаменитой трилогии о Максиме.

Роман «Наследник», многие повести и рассказы хорошо знакомы не только советским, но и зарубежным читателям. На польский и венгерский языки переведена повесть Л. Славина о Ярославе Домбровском «За нашу и вашу свободу!», вышедшая в 1968 году в серии «Пламенные революционеры».

Новая книга посвящена великому русскому критику Виссариону Григорьевичу Белинскому. Жизнь его, внешне не богатая событиями, исполнена высочайшего внутреннего напряжения и драматизма. Писатель воссоздает атмосферу общественной и литературной борьбы 30—40-х годов прошлого века, на страницах повести читатель встретится с Пушкиным, Некрасовым, Лермонтовым, Достоевским, Тургеневым.

Содержание

Часть I. БЕЗБОРОДЫЙ ГЕГЕЛЬ

Никодим Аристархович Надоумко с Патриарших прудов в Москве, студент из простых

Надеждин явился рано не только для публики, но и для самого себя.

Чернышевский

Тимоша Всегдаев и Валера Разнорядов сидели за передним столом. Когда Николай Иванович Надеждин, профессор теории изящных искусств и археологии, маленький, большеносый, пухлогубый, отнюдь не старый, взошел на кафедру, Тимоша и Валера уставились на него восторженными глазами. Николай Иванович привык к этому. Он был любимцем студентов. Привыкнуть — привык, а всё же ежедневное поклонение молодежи было необходимо ему, хоть он как бы и не замечал его, вроде того, например, как мы с вами не замечаем ведь присутствия воздуха, без которого, однако, мы незамедлительно задохлись бы. Таким образом, мы в состоянии заметить только отсутствие воздуха.

Профессор разложил перед собой листки с записями и тут же отодвинул их, подчеркивая, что памяти его не надобны подкрепления. Он начал своим приятным голосом, полузакрыв глаза и слегка покачиваясь:

— Уважаемые коллеги! В прошлый раз мы остановились на том, что философия должна собрать во-

едино все успехи различных наук и обратить их на пользу жизни... Шеллинг утверждает...

Шеллинг! Студенты уже знали, что Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг — бог профессора Надеждина. Но они не знали (да и откуда? Они ведь не имели в руках его сочинений), что Николай Иванович шагнул дальше столба, утвержденного Шеллингом, и вторгся в пределы, начертанные Гегелем, о чем, впрочем, он сам не подозревал, ибо Гегеля до сих пор не читывал. Да, искусство должно возносить человека над жизнью. Это так. Но, кричал профессор, простирая с кафедры свою короткую ручонку в кружевном манжете, красота есть плод не только ощущений нашего духа, но и свойство наблюдаемого явления. И студенты, старательно скрипя перьями, не догадывались, что этот маленький сгорбленный человек, вещавший с кафедры,— богоборец, что он сейчас борется с отвлеченной шеллингианской игрой логическими понятиями, что он вносит в книжную немецкую отвлеченность русскую жизненную поправку.

О политике, конечно, на лекциях ни звука. Не то время, чтобы предаваться вольнодумным излияниям. Всего лишь какой-нибудь десяток лет минул с того дня, как на валу кронверка Петропавловской крепости закачались в петлях тела пятерых. До сих пор люди продолжали рассекать время на «до» и «после».— «Простите, это было до?» — «Нет, что вы, после!» — «Уверяю вас, это было до. Моя младшенькая родилась семнадцатого декабря, как раз через три дня после...»

Нет, что вы, какая там политика! Университет — этот храм чистой науки.

— К сожалению, есть журналы, мешающие науку и искусство с политикой,— сказал профессор На-

деждин, чуть иронически сморщившись.— Я же призываю вас, господа, не считаться с мнениями господ Греча и Булгарина о литературе. Вот они пусть себе занимаются делами политическими, а в искусстве им делать нечего.

Однако дома, в своем кругу, плотно притворив двери и убедившись, что среди гостей на этот раз нет практических сердцеведов, Николай Иванович позволил себе так отозваться по поводу последних хлопот министра Уварова о насаждении образованности в стране:

— Правительство заботится о распространении просвещения, а потом вешает просвещенных...

Гости — среди них был и Тимоша Всегдаев, долговязый тощий малый, с маленькой головкой на длинной шее, имевший в себе что-то змеевидное,— переглянулись с боязливым восхищением. Один только бывший студент Белинский, на правах своего в доме возлежавший на диване, с обычной запальчивостью своей выкрикнул:

— Признаюсь, не вижу доблести в том, кто храбрится в полумраке своей гостиной, а на полном свету, разумею — в статьях своих разливается комплиментами власть предержащим!

Профессор выпрямился в креслах всем своим небольшим тельцем. Гордость выразилась в его лице, еще молодом, но уже таком усталом, и он сказал:

— Я, сударь мой, плебей. Да-с! Я, как вы знаете, начал жизнь босиком. Что может быть общего между мной и этими барами, которые дерут шкуру с крестьян, да с высокопоставленными чиновниками, которые грабят казну да берут взятки с живого и мертвого! Зря, что ли, меня ненавидят? Как же, поповский отпрыск затесался в литературу, которая, изволите видеть, есть привилегия знатных. Мне передавали

слова пушкинского дружка, князя Вяземского: «Пономарь Надеждин ругает публику с колокольни, куда он забрался с просвирней». А у нас в Москве Шевырев — тот просто объявил, что я пишу слогом «Четьи-Минеи». Меня, признаться, злобствования моих врагов только радуют. Значит, донял я их в самом их сокровенном. А что касается статей моих...

Но Белинский — он даже приподнялся — возбужденно перебил его:

— А в статьях своих, Николай Иванович, вы подчас извиваетесь, как змея, уж простите меня, хитрите, придуриваетесь. Чего стоит одно только поношение гениального пушкинского «Годунова»!

Надеждин вскочил и зашагал по комнате. Тишина наступила такая, что слышен был скрип паркетных шашек под ногами профессора. Все ждали взрыва. Но он заговорил тихо, торопливо, как на исповеди:

— Мне, господа, известна жизнь во всей ее отвратительной наготе. Я знаю, что в ней нельзя иначе двигаться, как ползком. Да-с! Нельзя иначе поддерживаться, как подлостью и грабительством... Но я до сих пор не позорил своих колен, не осквернял своих рук. Это составляет мое утешение, мою гордость. Не раз я говорил себе, что я мог бы, пребывая в христианском смирении, составить себе кругленькое состояньице... Да, так думал я, грешный человек. Но потом сам же стыдился себя, что мог пасть до подобных мыслей...

Все оглянулись на Белинского. Он молчал. Во взгляде его появилась мягкость. Он любил профессора. Да, мягкость и сожаление. Он думал, с печалью смотря на Надеждина: «Еще один хороший искаженный русский человек...»

— А что касается статей,— вдруг сказал Надеждин, остановившись,— то знайте, что в № 15 «Теле-

скопа» я начну публикацию «Философических писем» Чаадаева!

Все вокруг зашумели. Белинский вскочил с дивана.

— Решились? — воскликнул он.

— А что ж,— сказал профессор,— письма Петра Яковлевича уже лет восемь ходят в списках. Кто только в России их не читал... Пора и Европе узнать силу русской философической мысли.

— Да так ли уж многие их читали? — попробовал робко возразить Всегдаев.— Они ведь и в списках по-французски.

— Есть в списках и переводы на русский,— строго сказал Белинский.— И отличнейшие. В редакции у нас уже лежат переводы первого, третьего и четвертого.

— Да и по-русски не больно много у нас грамотеев...

— Знаю,— сказал профессор вздохнув.

Когда все расходились, Всегдаев задержался в прихожей и, смущенно почесывая в затылке ручищей своей, передал профессору просьбу Разнорядова: ввести его в кружок Станкевича.

— Некогда мне,— отмахнулся профессор,— у меня, друг мой, после возвращения из-за границы горы дел и по университету и по «Телескопу» с «Молвой». Обратитесь к Белинскому. Они со Станкевичем дружки неразливанные. А кто такой, собственно, ваш Разнорядов? Из чьих он?

Да, из чьих? Ну, во-первых, студент. Сказался почти земляком Всегдаева, хоть Пермь и Вятка — так ли они близки друг к другу? Всегдаев, впрочем, не стал вдаваться в географические рассуждения. Ему нравилось покровительствовать. Покровительствуя, мы ощущаем себя могущественными. А щекастень-

кий верткий Валера Разнорядов уж так простосердечен, уж так услужлив, с такой песьей умиленностью заглядывает в глаза. То из посылочки вятской что-нибудь принесет. А то билетик на «Гамлета» с Мочаловым — не так-то легко его раздобыть. А то — нецензурное окончание пушкинской «Деревни», полное дерзостных мечтаний,— не одни ведь только «Философические письма» да пьеса «Горе от ума», а изрядное количество произведений российских литераторов и мыслителей не доходят до печати, а скитаются по рукам в списках.

Валерка все приставал к Всегдаеву — введи, мол, меня в круг Станкевича, хочу, мол, самолично прильнуть к истоку, откуда бьет фонтан любомудрия. Валерка щегольнул этим словцом — любомудрие,— которое он подхватил где-то на ходу в университетских коридорах, не подозревая, что оно есть не что иное как дословный перевод греческого слова «философия». Не знал он по невежеству своему и того, что существовало «Общество любомудрия», предававшееся изучению Спинозы, Канта, Фихте, Шеллинга, а впрочем, разбежавшееся после расправы над декабристами. Тимоша как-то замолвил за Валеру словечко поэту Клюшникову, в другой раз — маленькому нервному Мише Каткову. А они все отшучивались. Клюшников прозвал Тимошу — Никогдаев, а Николай Станкевич (у него у самого кличка Амур-Ревнитель), особенно склонный к смешливости,— Иногдаев. Клюшников тоже имел в этом кружке философов-остроумцев прозвище Иван Осторожный, даже два прозвища, еще и Бог, по-гречески Феос, отчего и подписывал свои стихи буквой «фита» — «Θ», с коей начиналось сие слово, хоть самая буква по начертанию своему почиталась неприличной.

 — А не прикосновенен ли твой Разнорядов к

сердцеведению? — спросил Мишель Бакунин, отставной артиллерийский прапорщик, по прозвищу «Подражатель Архангела».

А Безбородый Гегель (он же Виссарион Белинский, он же «Неистовый») прямо грохнул эпиграммой:

Берегись Разнорядова:
Он из племени адова!

И вдруг, придя в театр, Разнорядов увидел сразу Станкевича и Белинского. Они сидели в креслах рядом. Валерка не решился подойти. Только подсел поближе. И даже часть разговора подслушал.

Безбородый Гегель недовольно встряхивал своими длинными волосами и говорил:

— Оставь, Николай, ты ошибочно трактуешь образ Офелии.

У Амура-Ревнителя в уголках рта затаенная улыбка.

— В чем же, Висяша?

— А в том, что ты производишь его от актрисы. А надобно — от Шекспира.

Амур-Ревнитель засмеялся.

Смех этот, видимо, нервно возбудил Безбородого Гегеля. Голубые глаза его засверкали, и он почти крикнул, слегка задыхаясь:

— Прости, Николай, но это у тебя в натуре: ты иной раз плохо разбираешься в людях. Сослепу ударяешься в доверчивость. Смотри, расшибешься! Ну что, скажи на милость, ты нашел в... Э, да что говорить...

Амур-Ревнитель положил на плечо Безбородому Гегелю свою тонкую белую руку и молвил успокоительно:

— В ком?

— Ну, уж так и быть, скажу: в Неверове.

Станкевич улыбнулся. Белинский вспыхнул, ему стало ясно, что Станкевич подумал, что он, Белинский, ревнует его к Неверову.

Чтобы перебить эти мысли, Станкевич сказал:

— А что ты скажешь о Мише Каткове? Правда, хорош?

— Славный малый,— пробормотал Белинский.— Думаю, далеко пойдет... Уже и сейчас этот юноша не хочет ссориться с жизнью. А впрочем, голова у Михаила светлая, сердце чистое...

Станкевич пристально посмотрел на Белинского и сказал:

— Ты не все сказал, Виссарион.

Белинский пожал плечами:

— Вот разве глаза его...

Станкевич удивился:

— А что?

— Глаза у него зеленые и стеклянные...

Тут дали занавес. Валера поспешил, сгибаясь, в свой ряд. На сцене появился Гамлет. Он мерно расхаживал по крепостной стене, ожидая появления призрака.

...А вскорости профессор Надеждин возьми да укати в Германию. Немецкую философию, изволите видеть, ему надобно изучать не иначе как «на месте преступления». Да и вообще там на Западе для человека со средствами, к тому же нестарого... сами понимаете... На время этого философского путешествия, конечно, в печати перестали появляться, к огорчению читателей, статьи Николая Ивановича, которые он подписывал ироническим псевдонимом: «Никодим Аристархович Надоумко с Патриарших прудов в Москве, студент из простых». А впрочем, еще за два года до того другое имя стало приманкой для всех лю-

бителей литературы: всходила звезда Белинского. «Молву» с его знаменитой статьей «Литературные мечтания» и «Телескоп» с не менее знаменитой статьей «О русской повести и повестях г. Гоголя» рвали друг у друга из рук. Ему же профессор Надеждин на время своего отсутствия из России поручил вести оба издания. Белинский был так завален этой работой, что к нему не подступиться. Когда же, по возвращении Николая Ивановича из заграничного вояжа, Белинский освободился, то Всегдаев и Разнорядов и тут опоздали: Белинский подался на весь остаток лета, а может, и на осень, там видно будет, в имение Бакуниных где-то за Торжком, Премухино, что ли.

Ах, Премухино! Окно в сад, чтение вслух стихов и дозволенных и запрещенных, вечерами — бетховенские сонаты... Философские штудии в беседке, увитой плющом, Фихте, Шеллинг, парное молоко... Гипнотическое красноречие Мишеля Бакунина... Мельканье девичьих платьев в аллеях старого парка... Любовь, Варвара, Татьяна и Александра, божественная двадцатилетняя Александра... Ах, Премухино, святая и таинственная атмосфера!

А там уж ждали его, ну, не с волнением, конечно, но с тем интересом, какой возбуждало в них имя автора «Литературных мечтаний».

Но что ж это, позвольте узнать, за мечтания такие?

Элегия в прозе

Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

Пушкин

Отличное название у этой знаменитой статьи! Высокий род критики, не правда ли? Не литературные окрики, не литературные доносы, не литературные распоряжения, а литературные мечтания!

Нынче говорят: Пушкинская площадь. А недавно называли ее: Страстная. И уже никто не помнит, что когда-то имя ей было: Тверских ворот площадь или попросту Тверские ворота — в ту пору, когда профессор Надеждин, отбыв в командировку, поселил у себя в квартире, в доме Римского-Корсакова, что у Страстного монастыря, Висяшу Белинского, поручив этому двадцатитрехлетнему бывшему студенту за комнату, да за харчи (очень приличные, между прочим,— постом скоромный стол, а поутру чай — всегда с белым хлебом), да за пользование библиотекой править корректуру «Телескопа» и «Молвы», сноситься с авторами, а также с цензурой, словом, заведовать редакцией, сказали бы мы сейчас. И среди этих хлопотливых занятий, да еще уроков, которые Виссарион давал двум недорослям, князиньке Волконскому из истории и Сухотину из грамматики и риторики, готовя их в университет, да домогательств о штатном для себя месте корректора в университетской типографии и одновременно младшего учителя гимназии, посреди, говорю, всей этой житейской дребедени — приискивания должности для имевшего

приехать братца Костеньки, мучительного раздобывания пятидесяти рублей на выкуп крепостной Авдотьи, рецензирования случайных, по большей части дрянных, книжонок,— посреди, повторяю, этой повседневной кутерьмы, одолевая ее мощью своего неистового темперамента, Виссарион писал «Литературные мечтания».

Это было десять — я не решаюсь сказать о них, как это было тогда в обычае, фельетонов, ибо сейчас это слово возымело другое значение — статей? Да нет, какие ж это статьи! А не принять ли то обозначение, которое Белинский сам поставил в подзаголовке «Литературных мечтаний» — «Элегия в прозе»? Десять элегий, которые потрясли русское образованное общество.

«Элегия», говорите, слишком смело для критического жанра? Так ведь и вся эта вещь необычайно смелая, очень свободная, очень раскованная,— именно рАскованная, это не опечатка. Но и рИскованная. И очень русская, хоть Виссарион в ту пору немало увлекался философией Шеллинга. Всегда какой-нибудь немецкий философ семенил с ним под руку. Через год-другой это будет Фихте. А за следующим поворотом жизненной дороги уже притаился сам Георг Теодор Гегель (которого московские философы-весельчаки незамедлительно переименовали в Егора Федоровича), чтобы ошеломить Виссариона заповедью: «Alles, was ist, ist fernünftig» *. Понадобится несколько лет, чтобы Белинский выбрался из тумана идеалистических отвлеченностей и сказал одному из приятелей с облегчением:

— Брось этих немцев, черт с ними! Я с некоторого времени их совсем не жалую. Они большие

* Все действительное разумно. *(Немецк.)*

философы, абсолют им нипочем, но все в чинах и филистеры.

Однако немцы немцами, но и своим русским барам, рядящимся под мужиков, и у которых «из-за зипуна всегда будет виднеться фрак», Виссарион тоже не давал спуска. Да, он за народность, но против простонародности:

— Люблю народ, но отрицаю казенную народность.

Услышав сие, Тимоша Всегдаев повел своей маленькой головкой и буркнул:

— Еще не решено, что такое вообще литература.

— А! Ты хочешь знать, что такое литература? — сказал Неистовый голосом, не предвещавшим ничего доброго.— Так вот я тебе скажу. Литература — это плод свободного вдохновения и соединенных, хотя и не условленных усилий людей, созданных для искусства.— Виссарион продолжал, все больше одушевляясь: — Литература выражает дух народа, среди которого рождены и воспитаны его писатели, и она... Не смей перебивать меня!.. И она выражает внутреннюю жизнь народа до сокровеннейших глубин и биений!

Он закашлялся и сказал уже обычным голосом:

— Конечно, я разумею литературу настоящую, высокую и честную.

Прочтя первую из «Элегий», Валера Разнорядов кинулся к Тимоше Всегдаеву:

— Читал? Кто автор? Фельетон-то без подписи.

Тимоша пожал плечами. С некоторого времени повышенный интерес Валеры к литературе начал казаться ему несколько искусственным. В благоговении

 Валеры перед именами Станкевича, Клюшникова,

Белинского, Ефремова чудился Тимоше некий наигрыш. Хочешь благоговеть? Изволь. Но — благоговей заочно. Зачем же обязательно пятнать божество прикосновением своих сальных пальцев!

За 38-м номером «Молвы» последовал, естественно, номер 39-й. Но еще через неделю, развернув в кондитерской номер 40-й, Валера (студенты ввалились туда толпой) разочарованно вскричал:

— Какая досада, братцы! В нынешней «Молве» нет «Литературных мечтаний»!

А ведь обещаны были. Правда, вместо привычно скромного: «Продолжение следует» стояло в предыдущем номере: «Следующий листок покажет». И вправду, 41-й номер показал. И в последующих номерах «Молвы» вплоть до 52-го за некоторыми исключениями «Литературные мечтания» появлялись с обнадеживающей аккуратностью. И в каждом номере вместо «Продолжение следует» — насмешливое и вызывающее: «Продолжение обещано», или: «Опять не кончилось», или: «Просят обождать еще». Молодой лев забавлялся. Кто же он? Заключительная часть «Элегии» была наконец подписана: *он инский*. Этот (Виссари) *он* (Бел)*инский* обнял всю литературу — от Кантемира до Кукольника. В каком-то смысле глубокая, страстная и дерзкая «Элегия в прозе» по широте охваченных ею вопросов идейной жизни русского общества была своеобразной литературной энциклопедией того времени. Заканчивая «Элегию», Неистовый писал:

«Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедило ли вас в том мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неумение, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мной положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представите-

ли... У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то есть таких, для которых писать и жить, жить и писать — одно и то же, которые уничтожаются вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно меценатов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых не убивают ни деньги, ни отличия, ни несправедливости, которые до последнего вздоха остаются верными своему святому призванию...»

Переполох чрезвычайный! Но Виссарион и ждал его. Он был рад ему. Не из суетной жажды славы, она была чужда ему. Но его природа борца вдохновлялась от сопротивления.

— Друг мой,— сказал он Тимоше,— все живое есть результат борьбы. Все, что является и утверждается без борьбы, все то мертво...

— Но можно ли почесть литературу ристалищем борьбы? — попробовал робко возразить Тимоша.

Виссарион вскричал:

— Литературу надобно очеловечить! Наши лучшие писатели, разумею Пушкина, Крылова, Грибоедова, Гоголя, делают это. Мое назначение критика вижу в том, чтобы звать отечественную литературу к человеку. У Бальзака — непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их личностей. У Марлинского же все герои — родные братцы, которых различить трудно самому их родителю.

— Сами же вы хвалили Марлинского,— сказал Тимоша обиженно.

— Таланта его не отрицаю. Направление — гибельно. А впрочем, и дарования его становятся для меня сомнительными, ибо самая стихия таланта в

том, чтобы показывать жизнь в ее ужасающей наготе и истине...

— Значит...— сказал Тимоша и запнулся. Страшное слово не шло с его языка. Наконец он решился:

— Значит, ваши «Литературные мечтания» можно назвать: «Политические мечтания»?

Виссарион с интересом посмотрел на Всегдаева. Эта мысль не приходила ему в голову. Хотя... Ведь написал же я, что решаюсь быть органом нового общественного мнения. Но может ли одно просвещение решить задачи общественной жизни?

Литературные мечтания... Элегия... И где? Посреди оцепенелой России, в гуще крепостного рабства, среди деревень, охваченных неурожаем, голодными бунтами, среди зарева таинственных пожаров в Москве, под протестующие возгласы студентов, загоняемых в ссылку...

— Политические, говоришь, мечтания?..

А цензура ничего не распознала, восприняла «Литературные мечтания» как безвредное чудачество, не увидела заложенного в элегию заряда.

Цензура-то не распознала. А один из умнейших врагов Белинского, князь Вяземский, сразу распознал. Но, впрочем, от доноса воздержался, а просто сказал в дружеском кругу:

— Этот Белинский, за неимением у нас места бунтовать на площади, бунтует в журналах.

По счастливой особенности натуры Белинского не задевали личные оскорбления, которые его противники вмешивали в литературные споры. Грязные намеки Сенковского его не трогали. А возмущало то, что журнал Сенковского «Библиотека для чтения» из номера в номер возвеличивал Булгарина, Коцебу,

Кукольника, Загоскина и поносил Пушкина, Гоголя, Бальзака, Вальтера Скотта. Но что возьмешь с человека, о котором Герцен сказал, что он так же принадлежит николаевскому времени, как шеф корпуса жандармов!

Слухи шли подлейшие. Что Белинский выгнан из университета якобы за развратное поведение. Что самая наружность его отвратительна — бульдог. Греч уверял всех, что Белинский горький пьяница и «Литературные мечтания» написаны им в состоянии запоя... Это подхватил Строев, объявив, что от критических статей Белинского разит кабаком. Всех превзошла «Библиотека для чтения», опубликовав смрадный памфлет Василия Ушакова «Пьюша», который можно считать родоначальником пасквильно-доносительского направления в отечественной литературе.

Тут уж Виссарион не выдержал и в статье «Ничто о ничем» подверг отталкивающее изделие Ушакова испепеляющей критике.

Ответил Виссарион и в другом случае. В булгаринской «Северной пчеле» некто подписавшийся «Титулярный советник Иван Евдокимов сын Поповский» (и в чьем писании Виссарион без труда угадал руку завистника Загоскина) написал: «Из всех творений г. Белинского заметно, что, по его мнению, тот, кто носит чистое белье, моет лицо и от кого не пахнет ни чесноком, ни водкой,— аристократ».

Оно бы еще ничего — просто хамская выходка, на которую Белинский не обращал внимания. Подоплека в том, что Загоскин был уязвлен отрицательным отзывом о его бездарной пьесе «Недовольные» и восторженной оценкой, которую «Молва» дала комедии Гоголя «Ревизор» (кстати, статья, подписанная «А.Б.В.», вовсе и не Белинского, а Селивановского, но все равно она выражала мнение Белинского о Го-

голе и, в частности, о «Ревизоре»). Это имело уже значение общественное, и Виссарион не смолчал, а ответил уничтожающе язвительной заметкой, извещавшей читателей, что «Северная пчела» поместила свою, как выразился Виссарион, «челобитную» «не столько в обличение статьи г. А. Б. В., помещенной в «Молве», сколько с намерением сделать извет на меня, и, вдобавок еще, не как на литератора, а как на человека».

Удостоился Виссарион также скользких похвал Януария Неверова в «Журнале министерства народного просвещения». Словно бы и похваливал, а по существу выговаривал Белинскому за его «много резкие и даже несправедливые» оценки Бенедиктова, Баратынского, Жуковского, Батюшкова, а также за непомерное увлечение Гоголем. Вот тебе и Янушка Неверов, друг Станкевича! Да, видать, чиновное положение в ведомстве Уварова уже перекосило душевную природу этого отставного любомудра.

— Обо мне уже есть фольклор,— говорил Белинский, посмеиваясь,— и при том злобный.

В конце концов он взорвался и поместил в «Молве» насмешливую отповедь «фольклористам». Всего строк тридцать, но при этой краткости какой меткий удар! Притом — с открытым забралом. Заметка так и была озаглавлена: «От Белинского».

«Недавно вступив на литературное поприще, еще не успев осмотреться на нем, я с удивлением вижу, что редким из наших литераторов удавалось с таким успехом, как мне, обращать на себя внимание, если не публики, то по крайней мере своих собратий по ремеслу. В самом деле, в такое короткое время нажить себе столько врагов... которые в простоте сердечной хлопочут изо всех сил о вашей известности — не есть ли это редкое счастье?..»

Неистовому исполнилось в тот год двадцать пять лет.

Совсем молодыми были и сестры Бакунины.

Но погодите, до Премухинской идиллии еще есть о чем поговорить.

Муха под куполом

Ты черным белое по прихоти зовешь,
Сатиру — пасквилем, поэзию —
развратом,
Глас правды — мятежом.
Куницына — Маратом...

Пушкин. Послание цензору

Михаил Евстафьевич Лобанов готовился к торжественному заседанию в Российской Академии. Ему предстояло сказать речь: «Мнение о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Все десять номеров «Молвы», все десять элегий, лежали перед ним. Он вновь и вновь перечитывал:

«Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе?.. *Литературное идолопоклонство!* Дети, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать? Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ».

И хоть не впервые читал Михаил Евстафьевич эти предерзостные строки, кровь хлынула к его щекам,

повитым склеротическими жилами и подпертым парадным остроугольным воротничком. Высокая кафедра Академии мнилась сейчас Михаилу Евстафьевичу эшафотом, на котором он публично высечет, нет — распнет, колесует, четвертует этого литературного злодея... нет — сожжет его на костре своего красноречия и пепел развеет по конференц-залу... А все-таки глаза Михаила Евстафьевича не могли оторваться от распластанных перед ним «Литературных мечтаний»:

«У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую правду у нас святотатство!»

Нет, он не назовет Белинского. Слишком много чести для этого прощелыги, чтобы плебейское имя его прозвучало под сводами Академии да еще на торжественном заседании, которое почтит своим присутствием его светлость принц Петр Ольденбургский. Да, моя речь беспощадна, обвинения неопровержимы, но без личности, а в духе общего гражданского негодования. Личность здесь неудобна еще и потому, что могут, пожалуй, узреть в моей речи сведе́ние личных счетов — ведь Белинский окатил ушатом грязи мою трагедию «Борис Годунов».

Чтобы распалить покрепче свое мстительное рвение, Михаил Евстафьевич выгреб из вороха журналов июньский, 23-й номер «Молвы» и пробежал глазами строки, которые он, впрочем, знал наизусть:

«...ни страстей, ни характеров, ни стихов, ни интереса... все холодно, поддельно, придумано, нарумянено, все на ходулях...»

Сначала непременный секретарь Академии, Языков Дмитрий Иванович, зачитал краткий очерк истории Академии. Пушкин позевывал, деликатно прикрывая рот рукой. Вслед затем преосвященный Филарет огласил отрывки из рукописи «Изборник», писанной в 1073 году.

Пространные архаические пассажи вызвали некоторое движение из зала в соседние покои, где были расставлены столы с разнообразными закусками и напитками не только прохладительными. Потом на кафедре снова возник Дмитрий Иванович и бормочущим своим голосом принялся читать из главы второй устава Академии, а также из всеподданнейшего доклада при проекте сего устава, и кто-то позади Пушкина прошептал:

— Доклад не столь утешительный, сколь усыпительный...

Наконец взошел Михаил Евстафьевич Лобанов. Начало его доклада, как это издревле повелось, было выдержано в приятных розоватых тонах «наших успехов»:

— Любовь к чтению и желание образования сильно увеличились в нашем отечестве за последние годы. Умножились типографии, умножилось число книг; журналы расходятся в большом количестве; книжная торговля распространяется...

Словом, поначалу — псалом. Так положено для запевки, ничего не поделаешь — этикет.

Однако Михаил Евстафьевич недолго томил аудиторию этими картинами, полными патриотического благолепия:

— Останавливаясь на духе и направлении нашей словесности, всякий просвещенный человек, всякий благомыслящий русский видит в теориях наук — сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос. В пригово-

рах литературных совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство...

Тот же невидимый скептик, расположившийся позади Пушкина, снова вполголоса:

— Быстро это он с «за здравия» на «за упокой».

— Н-да,— ответствовал кто-то,— не выдержал чина...

Пушкин чуть улыбнулся. Ему вспомнилось, что еще лет с десяток назад он назвал перевод Лобанова Расиновой «Федры» гадостью... А все-таки как возвышенно божественная Катерина Семенова сыграла Клитемнестру в «Ифигении в Авлиде» Расина! Ее низкий виолончельный голос сумел облагородить даже дубовые вирши лобановского перевода. Атлетическая память Пушкина тотчас подсказала их:

И небо не гремит, и зрю ее не мертву!
Но где, несчастная, найти мечтаю жертву?..

Шум в зале отвлек его от воспоминаний. Слух о яростном красноречии оратора достиг столов с закусками, и пошло обратное движение в зал.

— Критика, сия кроткая наставница,— говорил Лобанов,— и добросовестная подруга словесности, ныне обратилась в площадное гаерство!..

Голос его рос и утончался:

— ...в литературное пиратство!..

Еще тоньше, еще визгливее:

— ...в способ добывать себе поживу из кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками!..

Голос Лобанова вибрировал где-то под сводами тонко, однообразно, как жужжанье мухи на оконном стекле:

— ...Новейшие писатели безотчетно омрачают ра-

зум неопытной юности и ведут к совершенному упадку и нравственность и словесность...

Пушкин вынул из заднего кармана фрака карне и что-то быстро вписал золотым карандашиком.

Остерегайтесь!

> Судьба никогда не делает мат королю, не объявив ему прежде шах.
>
> *Берне*

Из Петербурга в Москву Пушкин на этот раз ехал удобно. Рессоры покачивают как в люльке. Новое шоссе сбито на славу. А все же непокойно. Уж не от этого ли странного сна нынче ночью в Твери? Да еще Ипполит, камердинер, раздражает своим дурацки напыщенным видом и манерой на станциях величать Пушкина то генералом, то графом, к тому же водкой разит от Ипполита, как из питейной лавки.

Приснился лицей. Будто идут они по старому Елизаветинскому саду, обычная прогулка под присмотром гувернера Чирикова. Бывший певчий придворной капеллы мурлычет себе под нос, но что-то неуловимое. Снег скрипит под ногами, но слишком резко. Деревья, охрусталевшие на морозе, позванивают, но слишком едко.

Вдруг — крик! Жалобный, нечеловеческий, молящий и манящий. И никто ему не внимает, ни косоглазый Броглио, ни франтик Горчаков, ни тощий сельдеобразный Виленька Кюхельбекер, ни маленький пряменький Валховский. И все переглядываются и улыбаются с какой-то жуткой ласковостью. Этот крик только для него одного, для Пушкина.

И вот он уже скатывается с четвертого этажа, из дортуаров, пробегает под аркой туда, к крику, он захватил, сам не зная почему, одеяло со своей кровати. Все бело. Парк странно безлюден. Белизна усиливает ощущение пустынности,— ой, нет! На Чертовом мосту между прудами стоит Сергуня Ломоносов, «крот», как они его называют, пронырa и доносчик, он не смотрит на Пушкина, но чувствуется, что он видит его — не глазами, а кожей, всем своим естеством. И тоже улыбается этой призрачной жуткой улыбкой. А крик все ближе, все неотвратимее.

И вот: кричит ворон.

Он забился под куст, нестерпимо иссиня-черен на снегу. Крыло отвисает, он подбит. Пушкин укрыл его одеялом. И вдруг он открывает свой хищный вороний зев и, покосившись на Пушкина пуговичным глазом, говорит с отличным прононсом:

— Prenez garde à... *

И умолкает.

— A qui? — шепчет умоляюще Пушкин,— à qui? **

А тот все свое:

— Çarde, garde, garde, garde...

Тут Пушкин, верно, проснулся, но, должно быть, не совсем, потому что прикидывает всячески в полусонном уме, как ему скрыть от экзекутора пропажу одеяла...

Фу, какой гадкий сон...

Чем дальше от Петербурга, тем неотвязнее беспокойство о Наталье Николаевне, она ведь на сносях. Стало быть, надо воротиться в Питер не позднее двадцатого. А хватит ли трех недель, чтобы справиться

* Остерегайтесь... *(Франц.)*
** Кого? *(Франц.)*

с московскими делами? Во-первых, раскопки в архивах, необъятные потоки пожелтевших бумаг, откуда он будет отцеживать капля за каплей драгоценные сведения для своей работы о Петре. Докучливо, но увлекательно и требует усидчивости чрезвычайной. Засим свидания с московскими авторами, коих надобно втянуть в «Современник», стало быть с Шевыревым, с Погодиным, ну, словом, со всей этой братией младо-аристократов. Да и с этим пронзительным малым из «Телескопа» с поповским именем... Аввакум?.. Никон?.. Виссарион! — но в строгой тайне от тех да и от своих питерских.

Ох, все это не очень утешительно, вся эта тонкая игра журнализма. Что делать... Во рту жандармский кляп. «Медный всадник» запрещен. В журналистике хоть сквозь зубы, а свое слово все же протолкнуть удается...

Забота еще одна, да немалая: устроить распространение «Современника» в Москве, по этому делу войти в сношения с книгопродавцами. От ссуды из казны на печатание «Истории Пугачева» ничего не осталось, все ушло между пальцами...

В общем, как глянешь вокруг, одна только отрада и есть в Москве: Нащокин...

Широко известно: нужны деньги? Срочно? До зарезу? Вали в Воротниковский переулок в дом Ивановой, что у храма Старого Пимена. Там в этом одноэтажном особняке с мезонином живет добряк Нащокин, друг Пушкина, игрок. Даст взаймы легко, беззаботно. Вексель? Да что вы! Векселя, сударь мой, между дворянами не приняты. И долговые письма тоже. Разве что простая расписка. Да и то... Но это все, конечно, если Павел Войнович в выигрыше. Или

же получил очередное наследство от какой-нибудь из многочисленных тетушек, отдавшей богу душу (предполагается, что от него же она ее и получила — тоже своего рода банковская операция). Тут уж отказа не будет. И Белинский берет. А потом старая экономка нащокинская Настасья Поликарповна ворчит, затирая на паркете грязные следы от порыжелых штиблетов Виссариона:

— Нашел кого ссужать! Разве на том свете угольками ему отдаст. Уж подлинно у нашего барина-дурака разве только кобель на привязи ничего не выклянчит...

Лицо у Павла Войновича рано сделалось усталым. А ведь он никогда не работал. Так, может, именно поэтому? Черты лица мягкие, опущенные, как бы стекающие, волосы — впрочем, выразимся точнее: остатки волос — мысом спускаются на высокий лоб, приличествующий более философу, нежели кутиле. Вялая шкиперская бородка, из шеи растущая, обрамляет лицо (усов нет!). Глаза же вопреки всему ясные, умные, добрые и шальные. Да, мягкость в лице почти женственная, та обманчивая мягкость славянского лица, которая прикрывает вулкан.

Ни один портрет, однако,— ни живописный, ни дагерротип,— не представил бы вам Нащокина так правдиво, как штришок Пушкина, мимоходом начертанный им,— высокий лысеющий лоб, внимательно приподнятая бровь, отечная щека, добрая улыбка — незаконченный профиль друга на том же листе, где написано: «Скупой... Сальери... Д. Г.» (Последнее поясню: «Дон Гуан», то есть «Каменный гость».) Сейчас, конечно, поспокойнее живет Павел Войнович Нащокин, годы не те. А в молодости... Из лицея, не закончив его, пошел в гусары, в лейб-гвардии Измайловский (иные уверяют — в Павловский) полк. На-

следство от матери — огромное. Но и кутежи какие! Не пресеклись они и тогда, когда Нащокин ушел в отставку поручиком. Да только ли кутежи!.. Коляски, скажем, выписываем от каретников из Вены, кровных рысаков — с Дона, биллиардный кий — из Парижа. Заваливаем квартиру шедеврами живописи. На одни бенефисные подарки актрисам ухлопываем состояния.

Вовсе несуразные деньги вдруг выбросил Павел Войнович за остаток свечи, в свете которой репетировала несравненная Асенкова, оправил тот огарок в серебро да кому-то в лихую минуту подарил с той же легкостью, с какой просаживал за зеленым столом в одну ночь очередное наследство.

А к цыганам сколько утекло! В чаровницу из хора Ольгу Андреевну влюбился без памяти, пылал любовью несколько лет, сына прижил. А встретил Веру Нарскую, московскую красавицу, убежал от Ольги, оставил ей изрядный капитал и дом со всем достоянием...

Кстати о доме. Сорок тысяч ухлопал Нащокин на стеклянный макет длиной в два аршина, кропотливо в мельчайших подробностях воспроизводивший его квартиру. О деталях, кои были сделаны по заказу в Лондоне, Париже и Вене, Пушкин со смехом отписал жене:

«...фортепьяно, на котором играть можно будет пауку, и судно, на котором испразнится разве шпанская муха... в домике был пир: подали на стол мышонка в сметане под хреном в виде поросенка».

Так вот этот самодур, погрязший в праздности и беспутстве, обладал умом философа, был добр, образован, талантлив, одарен безупречным вкусом художника и замечательным критическим чутьем. Рассказами его заслушивался Пушкин. Павел Войнович был поклонником Бальзака и издевался над Марлинским.

Он сразу заметил необычайное дарование Белинского и указал на него Пушкину.

Три года назад была в Москве холера. Пушкин писал композитору Алексею Верстовскому из Болдина в Москву, куда в ту осень никого не пускали из-за эпидемии:

«Скажи Нащокину, чтоб он непременно был жив, во-первых, потому что он мне должен; 2) потому что я надеюсь быть ему должен; 3) что если он умрет, не с кем мне будет в Москве молвить слова живого, то есть умного и дружеского...»

А в другом письме прямо к Нащокину:

«...я, несмотря на холеру, непременно буду в Москве на тебя посмотреть, моя радость».

Чаадаев был другом его ума, Нащокин — сердца.

Пушкинские письма Павел Войнович хранил в особой шкатулке. Иногда он давал их читать Белинскому. Все — по-русски. Хотя у Пушкина было два языка, но Нащокину он писал на языке сердца. Ответные письма Павел Войнович начинал так: «Мой славный Пушкин», или: «Утешитель мой, радость моя...»

И вот снова Москва, снова Воротниковский переулок и Старый Пимен, как все называли этот покосившийся храм. У Нащокина была для Пушкина особая комната, она так и называлась: пушкинская. За стеной — кабинет хозяина.

Приехал Пушкин ночью, но весь дом поднялся. Пушкин расцеловал ручки молодой жене Нащокина, Вере Александровне, и взглядом выразил Нащокину одобрение. Ужинать отказался, говоря, что очень устал, мечтает о постели и только повторял:

— Я так рад, я у вас как в доме родном.

Через день отписал жене:

«Я остановился у Нащокина. Il est logé en petite maîtresse *. Жена его очень мила. Он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали бог знает о чем...»

О чем, интересно, проболтали они?

Пушкин обычно воздерживался от восторженных словоизвержений в сентиментальном духе, принятых среди московских любомудров. Был скорее суховат. Клал между собой и собеседником дистанцию. Только с Нащокиным он изменял своей сдержанности.

— Любишь меня только ты один,— заметил он Нащокину с некоторой грустью, когда они с трубками в зубах уединились в кабинете хозяина.

— Я еще не посочувствовал тебе в твоем горе,— сказал Нащокин.

Пушкин склонил голову. Помолчав, сказал:

— Благодарю. Я не знал, что я так привязан к ней. Надежда Осиповна не была нежной матерью. Детство мое было холодным. Мне кажется, что она полюбила меня в последние дни жизни. Взгляд ее был исполнен мольбы. Но что я мог сделать! Она была безнадежна. Я отвез ее тело в Михайловское. Мы похоронили ее под стенами Святогорского монастыря.

Он снова умолк. В глазах его мелькнуло лукавство:

— И для нас с тобой, друг мой, я там присмотрел могилки, сухие, песчаные, рядом ляжем, а?

Он захохотал, блеснув оскалом ослепительно белых крупных зубов.

Нащокину показалось, что этот смех звучит не-

* Квартира у него щегольская. *(Франц.)*

сколько принужденно. Восприимчивая натура Пушкина тотчас уловила настроение друга.

— Однако мы ударились в грустное. Угости-ка меня, милый, какой-нибудь занятной московской сплетней.

— Изволь. Про Киреева слышал?

— Это кто ж?

— Гусарский поручик. Кутил в «Яре». Напился. Чем-то ему не угодил ресторатор. Он закатил ему плюху. Тот оказался с гонором и тоже смазал Киреева. Завязалась драка гусара с лакеем.

— И чья взяла?

— Кажется, гусара. Да не в этом дело.

— В чем же?

— Наша публика в негодовании. В публичном месте учинить скандал! Дворянину ввязаться в драку черт знает с кем!

Пушкин пожал плечами:

— А ты что думаешь?

— Знаешь, Пушкин, эта чопорность не по мне. Что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться? Разве в наше время,— помнишь, Пушкин? — когда мы били немцев в «Красном кабачке» под Питером, разве нам не доставалось, разве немцы получали тычки, сложа руки?

— Умно, Нащокин. И по мне драка Киреева гораздо простительнее, нежели благоразумие нынешних молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платочком, смекая, что если выйдет история, так их во дворец на бал не позовут.

Вздохнул. Откинулся на подушки. Потянулся.

— Славно живешь, Павел Войнович. Мне бы твоя беззаботность.

— А что?

— Нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писанья. Кружусь в свете. Жена моя в большой моде. Все это требует денег. А деньги достаются мне через труды. А труды требуют уединения...

Никто никогда не слышал от Пушкина жалоб. Единственно Нащокину поверял он свои невзгоды. Чтобы отвлечь друга от горестных мыслей, Павел Войнович переключил удар на себя:

— Жизнь моя, Александр, отнюдь не безоблачна.

Пушкин встрепенулся:

— Боюсь за тебя, Павел Войнович! Все мне кажется, что ты гибнешь, что ростовщик Вейер тебя топит... Деньги в руках у тебя не держатся, раздаешь, как на паперти, и ничего к тебе не возвращается. А все твое удивительное добродушие и умная терпеливая снисходительность. Эх, друг мой, даст мне бог зашибить деньгу, тогда авось тебя выручу.

— И всё же, Пушкин, я счастлив.

— Вижу. Рад за тебя. Твоя Вера Александровна прелесть. Я знал тебя всегда под бурей и в качке. А ныне...

Пушкин вдруг умолк. Небольшое смуглое лицо его, почти безбровое, стало задумчивым. Потом продолжал, закинув голову, глядя в потолок, но не видя летящих по нему голеньких амурчиков, а размышляя вслух:

— Знаешь, какое действие имеет на тебя спокойствие? Видал ли лошадей, выгруженных на Петербургской бирже? Они шатаются и не могут ходить. Не то ли и с тобою?

Нащокин от души рассмеялся своим светлым, словно бы детским смехом. Пушкин смотрел на него серьезно. Внезапно вскочил:

— Совсем из головы!

Он раскрыл кофр и вынул оттуда круглую коробку.

— Жена прислала твоей Вере Александровне шляпу. Она заказала ее у знаменитой мадам Зихлер. Жена поручила сказать, что, comme M-me Нащокина est brune et qu'elle a un beau teint *, то выбрала она для нее шляпу красного цвета. Впрочем, это дело дамское.

Нащокин бережно поставил картонку на стол. Глянул на часы. Пушкин перехватил взгляд.

— На работу? В Английский клуб? За зеленый стол? До утра? Не мне читать тебе морали, друг мой, об одном прошу: не садись играть с Николаем Филипповичем Павловым. Литератор он хороший, да картежник еще лучший. Его счастье в игре непостижимо. А ты — vous êtes éminement un homme de passion **, и в страстном состоянии духа ты решишься на то, о чем не осмелился бы подумать в трезвом виде, как тот пьяный, что переплыл реку, не умея плавать. Что улыбаешься?

— Знаешь, Пушкин, откуда пошло название нашего переулка — Воротниковский?

— К чему ты это? А впрочем, происхождение названий меня всегда интересует.

— Здесь в старину стояли ворота. При них были стражники, их называли: воро́тники, они селились в этом переулке.

— Любопытно. Но к чему ты это?

— К тому, что ты рядишься в воро́тники ко мне. Только тебе самому нужен воро́тник.

* Так как мадам Нащокина брюнетка и обладает красивым цветом лица. *(Франц.)*

** Ты по преимуществу человек страстный. *(Франц.)*

Пушкин со смехом бросился на Нащокина и принялся его тузить. Они были почти ровесники, погодки. Но Нащокин грузен, неповоротлив, задышлив, отечен. Пушкин же подвижен, как юноша, мускулист, как атлет. Он разлегся на диване, потянулся, сказал зевая:

— Ой, как нужен мне воро́тник! Да знаешь куда? В мой «Современник».

— Читал добрый отзыв о нем? Пожалуй, не успел, номер только вышел.

Пушкин встрепенулся:

— Где?

— В «Молве», в седьмом номере.

Нащокин протянул руку к полке над диваном, достал «Молву».

Пушкин быстро пробегал строчки, возвращался, снова перечитывал. Нащокин склонился над его плечом, читал вместе с ним:

««Современник» есть явление важное и любопытное, сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одной частью публики, и от страха, ощущаемого от него другою частью публики...»

— Каково! — сказал Нащокин.

Пушкин, не слушая, читал:

««Современник» будет журналом с мнением, характером и деятельностью...»

— А еще говорят, у нас нет критики,— сказал Нащокин, глядя на Пушкина с таким самодовольством, точно строки эти написал он, а не Белинский.

— Ее и нет,— сказал Пушкин.— Ты редко заглядываешь в наши журналы. А то бы ты увидел, что все, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно. Белинский, пожалуй, единственный. Статья его «Литературные мечтания» выдает в нем чело-

века с истинным вкусом и способностью влиять на публику.

— Потому ему и трудно, что он один. Уж очень зарос сорняками ваш сад, Александр.

— Ты имеешь в виду...

— Да, сад русской литературы. Очищать его надо.

Пушкина словно пружиной метнуло с дивана. Он выкрикнул с силой:

— Очищать русскую литературу — это чистить нужники и зависеть от полиции! Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается...

— У тебя теперь свой журнал.

— А что с того? Как вспомню, что я журналист, душа в пятки уходит. Получаю полицейские выговоры, мне говорят: vous avez trompé * и тому подобное. Власти смотрят на меня, как на Булгарина, как на их шпиона. Весело, нечего сказать...

Он схватил Нащокина за руку и сказал, понизив голос и оглядываясь, точно боясь, что его подслушивают:

— Нащокин, надо все менять...

— Что менять? — уже совсем шепотом спросил Нащокин.

Пушкин расхохотался и оттолкнул его:

— Ты уж навоображал себе. Я имею в виду «Современник». Там заговор против меня.

Увидев испуганные глаза Нащокина, он покачал головой.

— Не подумай, что у меня мания преследования.

— Кто же заговорщики?

— Мои ближайшие помощники: князь Одоевский и Андрей Краевский.

— Чем ты им не угодил?

* Вы допустили ошибку. *(Франц.)*

— Князя ты знаешь, у него вечные фантазии, его можно подбить на что угодно. Ну, а Краевский...

— Сия фигура мне неведома.

— Ловок. Деловит. Самодоволен. Циничен. Честолюбив. В маске важной молчаливости. И что ж, домолчался до того, что в свете его принимают за значительное лицо. Притом уязвлен.

— Чем?

— Собственной бездарностью. Но только — в литературе. А в делах оборотлив. Так вот я им помеха. Им видится другой журнал.

— Какой?

— Не знаю... Но чувствую, что я им помеха и в типе журнала, и в направлении его...

— Признаюсь,— сказал Нащокин,— я был об Одоевском другого мнения. Да и ты тоже, помнится.

— Не уличай меня в переменчивости,— живо возразил Пушкин.— Ты знаешь, я стоек в привязанностях. Светские повести князя хороши. Но кроткий наш Одоевский отнюдь не лишен честолюбия и рвется к тому, чтобы иметь собственный журнал, где бы он мог невозбранно печатать свои мистико-фантастические бредни. Да и Краевский в общем стремится к тому же: ему лестно публиковать свои тусклые статьи и вскарабкаться на пьедестал властителя дум. Не говорю уж о чисто торговых его соображениях. Здесь он дока. Чем мне привлекателен твой Белинский, это своим несомненным бескорыстием.

— Да, здесь ты можешь быть уверен в нем. А взгляды его вполне благонамеренные: он за просвещенную монархию. От тебя он без ума.

— Да, я слыхал, что этот молодой чудак почему-то меня любит. Так что, берешься устроить мне встречу с ним?

— Чего же проще? Белинский у меня частый гость.

— У тебя кого не бывает! А впрочем, с Белинским погоди. Я сначала повидаюсь с господами из «Московского наблюдателя».

— На что они тебе? — удивился Нащокин.

В тоне его был оттенок брезгливости.

Пушкин промолчал. Нащокин не настаивал. Им обоим подчас не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Ответом Пушкина была резкая перемена разговора:

— Что твои мемории? Надеюсь, ты их не бросил?

Нащокин молча вынул из стола небольшую кипку исписанных листков.

— Пишу в виде письма к тебе,— сказал он застенчиво,— как ты и советовал.

— Кстати, письмо твое о брате ужас как хорошо! — воскликнул Пушкин и, взвесив листки на руке, прибавил разочарованно: — Только-то?

Нащокин нагнулся, поцеловал Пушкина в лоб, поправил на себе галстух, помахал прощально рукой. В дверях остановился. Нерешительно глянул на Пушкина.

— А все же,— сказал он,— gardez vous à... *

— Что?! — вскричал Пушкин.

Он смертельно побледнел.

— Что ты, милый? — удивился Нащокин.

Пушкин прошептал:

— A qui dois — je me garder? **

— A ces seigneurs de «Московский наблюдатель». Ils sont pas si bêtes, mais de tres mauvais foi ***.

* Остерегайся... *(Франц.)*

** Кого я должен остерегаться? *(Франц.)*

*** Этих господ из... Они не так глупы, но очень недобросовестны. *(Франц.)*

Пушкин провел рукой по лицу.

— Ничего,— сказал он глухо,— иди с богом.

Когда Нащокин отворил дверь, ворвался гул голосов. Гостиная, как всегда, была полна людей. Тихо было только в кабинете у хозяина да в «пушкинской». В прочих покоях — шум, движение, многолюдство. Раскланиваясь, пожимая руки, Нащокин вышел на крыльцо. Обнял жену и, помахивая тростью, пошел на Тверскую в Английский клуб. Во время этого недлинного пути он думал о том, что для него так и осталось неясным, действительно ли его великий друг собирается сменить редакцию «Современника». И прельстился ли он в Белинском его монархическими настроениями или, напротив, его демократизмом? Но в таком случае, зачем он обращается к «наблюдателям», которых он не может уважать? Да еще большой вопрос, уважают ли его эти завистливые и самовлюбленные господа?

Оставшись один, Пушкин тихонько приотворил дверь и, увидев, что никто на него не смотрит, юркнул к себе в «пушкинскую». За столом он склонился над нащокинскими листками. То посмеивался, то морщился, иногда же брал перо, марал и на обороте писал свое. Потом раскрыл свой дорожный бювар и вынул небольшую рукопись. Заглавия на ней не было. Перевернув несколько страниц, исписанных его тонким изящным почерком, приписал на полях: «Il reçoit bonne compagnie en fait d'homme et mauvaise en fait de femmes» *.

Задумался на мгновенье, потом продолжал писать быстро, почти не марая:

«При отъезде моем дал я прощальный пир, на

* Он принимает у себя хорошее общество в мужской части и дурное — в женской. *(Франц.)*

котором поклялся я быть вечно верным дружбе и человечеству...»

Тут Пушкин усмехнулся и приписал:

«...и никогда не принимать должности цензора...»

А сбоку на полях:

«Pelymof devient aux yeux du monde un mauvais sujet».*

Отодвинул рукопись, вынул из бювара начатое утром письмо к жене, пробежал его и принялся дописывать:

«...Домик Нащокина доведен до совершенства — недостает только живых человечков. Орлова, Раевского и Наблюдателей еще не успел видеть. Чаадаева видел всего раз. С Наблюдателями и книгопродавцами намерен я кокетничать и постараюсь как можно лучше распорядиться с «Современником». Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербургу. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно мне нужно иметь 80.000 доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию. Нащокин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня, а вечером идет в клоб, где играет до света. Дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход, всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет — угла нет свободного. Между тем денег у него нет, кредита нет...»

В дверь постучали. Еще раз, сильнее. Пушкин с досадой обернулся. Не дождавшись приглашения, во-

* Пелымов приобретает в глазах света репутацию шалопая. *(Франц.)*

шли двое: опираясь на палку, одноногий немолодой господин, худой, загорелый с несколько надменным выражением лица, и мрачный забулдыга с толстой обтрепанной папкой под мышкой.

Пушкин встал, принужденно улыбнулся, указал рукой на диван и, извинившись, быстро приписал к письму:

«Прощай на минуту: ко мне входят два буффона. Один майор-мистик; другой пьяница-поэт; оставляю тебя для них...»

С одноногим Пушкин расцеловался, молвив:

— Рад видеть тебя, Норов.

— Узнав, что ты в Москве,— отрывисто ответствовал тот,— счел приятным долгом повидать... хоть ты и знака не подал о себе... да...

Пушкин виновато развел руками:

— Веришь ли, Авраамий Сергеевич, ни одного визита еще не отдал. Все в архиве сижу.

— Однако ваятель Вители, от коего я и узнал...

— Да, он хочет лепить мой бюст. Но я не хочу: тут арапское мое безобразие будет предано бессмертию во всей своей мертвой неподвижности.

И Пушкин захохотал так заразительно, что и Норов раздвинул свои постные щеки в непривычной улыбке. Мрачный пьяница-поэт, дремучей волосатостью, неопрятной хламидой и беспокойно шмыгающими глазами схожий с монахом-расстригой, хранил величественное молчание.

— Как твоя библиотека, Норов? Какие новые редкости раздобыл?

— Кое-что есть... Да... Однако хочу похвастать. Вот...

Норов протянул Пушкину книгу. На переплете старорусскими литерами выведено: «Путешествие по семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе».

— Плоды моих скитаний... Палестина, Египет, Нубия, Греция. Да... На заглавном листе найдешь дарственную тебе надпись.

Пьяница-поэт внезапно возбудился и сказал хрипло и игриво:

— Поэмку я набросал, Пушкин...

Он стал разворачивать свою обтрепанную папку.

Пушкин окинул его ледяным взглядом и сказал сквозь сжатые зубы:

— Не имея чести знать вас и не домогаясь оной, прошу оставить мой кабинет. Вы непристойно пьяны, сударь.

Пьяница-поэт что-то неясно пробормотал и, пошатываясь, вышел.

Норов встал.

— Не смею более отрывать тебя... Твой дивный гений оживляет прошлое и прозревает будущее... да...

Но если бы Пушкин действительно прозревал будущее, он увидел бы, что фанатичный ханжа Авраамий Норов через полтора десятка лет станет министром народного просвещения, и жандармское рвение его будет отмечено Герценом, который напишет:

«...оригинально понимал отец Авраамий министерство просвещения,— он, верно, думал, что оно, как пожарное депо, назначено не для увеличения просвещения, а для предупреждения и прекращения его, где оно (чего боже сохрани) нечаянно случится...»

Выпроводив наконец посетителей, Пушкин вернулся к письму и закончил его словами:

«Насилу отделался от буффонов — в том числе от Норова. Все зовут меня обедать, а я всем отказываю. Начинаю думать о выезде. Благословляю тебя, мой ангел. Бог с тобой и с детьми. Будьте здоровы. Прощай. А. П.»

Не для благоразумия рожденные

Я больше всего люблю друга за то, что у него есть недостатки, о которых с ним можно поговорить.

Вильям Гезлитт

Через несколько дней Пушкин объявил Нащокину о своем отъезде. Был при этом спокоен и невесел.

Нащокин огорчился:

— Ты, однако же, не собирался так скоро.

— Наталья Николаевна со дня на день должна родить. Когда я при этом дома, ей покойнее. Да и мне.

Помолчали. Нащокин задумчиво выколачивал пепел из трубки. Посмотрел исподлобья на Пушкина, сказал:

— Да... Разумеется...

Они глянули друг на друга и рассмеялись. Пушкин вскочил, зашагал по комнате.

— Конечно, и это. Последние роды, когда явился на свет Гришка мой, были нелегкие. Но что таиться: мне в Москве больше делать нечего. Это не более чем губернский город, получающий журналы мод.

— Пушкин, я люблю Москву.

— Потому что она тебя любит. А меня она не жалует. Она меня отвергла.

— Не кощунствуй. Тебя обожают.

— Кто? Молодежь? Да, в университете студенты нынче устроили мне овацию.

— И ты об этом мне ни слова!

— Так ли это важно!

— А все же расскажи.

— Изволь. Уваров привез меня в университет. Привел на лекцию по истории русской словесности. Ну, ты ведь знаешь Уварова,— подлец привержен к театральным эффектам. Широким пластичным жестом, достойным Каратыгина, указал на профессора Давыдова и молвил, обращаясь к студентам: «Вот вам теория искусства». Потом такой же балетный выпад в мою сторону: «А вот и само искусство!» Воображаю, сколько раз он репетировал эту сцену дома перед зеркалом.

— Ну, а студенты?

— Ну, а студенты, натурально, уставились на меня глазами идолопоклонников. А что с того? Молодежь всегда в оппозиции. А мне примыкать к оппозиции едва ли не слишком поздно. Нынешнее поколение мне известно плохо. Но скажу только, что в мое время в стихотворцах было больше учености и душевной теплоты, а в историках — менее шарлатанства. Вообрази, что Шевырев с Погодиным да и прочие «наблюдатели» не взяли новую повесть Гоголя «Нос», нашли в ней тривиальности и грязь. Остроумнейшая и прелестнейшая повесть, и я беру ее для «Современника». Впрочем, одного ли Гоголя,— они и меня третируют. Как же! Шевырев противопоставляет мне Бенедиктова. Он, изволите видеть, поэт мысли. А у меня, оказывается, только форма. Стало модным говорить: «Пушкин в упадке», «Пушкин более не выдает ничего высокого». Наши критики не обратили внимания на мою пиесу «Анджело» и считают, что это одно из слабых моих произведений, тогда как ничего лучшего я не написал.

Нащокин покачал головой с явным сомнением, но промолчал.

— А я тебе скажу, друг мой, я пишу много для себя. А печатаю поневоле и единственно для денег:

охота являться перед публикой, которая тебя не понимает, чтобы четыре дурака ругали тебя потом шесть месяцев в своих журналах только что не поматерну! Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок.

— «Наблюдатели» и есть самые аристократы,— решился заметить Нащокин.

— Ай да Павел Войнович, кольнул меня. Что ж, не скрываю, я горжусь своим шестисотлетним дворянством, да и ты — тем, что ведешь свой род от боярина...

Павел Войнович вставил:

— ...Афанасия Лаврентьевича, царственные большие печати и государственных великих дел оберегателя.

— Вот-вот,— подхватил Пушкин.— Мы с тобой этим гордимся, но не чванимся. Литература и аристократические предрассудки — две вещи несовместные. Мне, признаюсь, тесно в замкнутом круге писателей-аристократов. Они из Питера ныне тянут длани в Москву.

— Полно! У тебя разыгралось воображение.

— Не веришь? Так слушай.

Пушкин сел на диван рядом с Нащокиным, по своему обыкновению, подогнув под себя ногу.

— Почувствовав к себе со стороны «наблюдателей» холодность и отчуждение, я стал выведывать у них, в чем дело, обиняками, конечно, ну, они-то народ — остротой ума не блещут, даром что профессора да магистры, все мне и разболтали. Спохватились было, да я сделал вид, что не понял.

— Не тяни, сделай милость.

— Оказалось, что Одоевский и Краевский ведут

 с ними тайком от меня переговоры, чтобы вместе ос-

новать новый журнал. Не далее чем в феврале нынешнего года — слышишь, Нащокин! — Одоевский писал Шевыреву: «Мы вам доставим нашу программу и наши условия».

Нащокин молча смотрел на разгоряченное лицо Пушкина. Потом, выпустив изо рта табачный дым кольцами, молвил:

— Между прочим, подлость.

Пушкин пожал плечами, Нащокин спросил:

— Ну, а князь Петр осведомлен?

— Вяземский? Не поручусь. Но ведь все это в конечном итоге обречено на провал. И вот почему: в замышляемом новом журнале Одоевский и Краевский никак не уживутся. Одоевский разделит власть с Вяземским. Сии два князя, стало быть, станут руководителями. Сильно, однако, сомневаюсь, чтобы язвительный бас Вяземского сумел слиться в унисон с романтическим блеянием Одоевского. Ой, боюсь, что мы будем свидетелями вульгарной потасовки между двумя Рюриковичами... А впрочем, оставим это.

Пушкин прошелся по комнате. Его сопровождал неотступный задумчивый взгляд Нащокина.

— Мемории твои,— сказал Пушкин, внезапно остановившись,— беру с собой. Ты мог бы быть писателем. Но не будешь им. Писатель — это не только качество, но и количество. А ты ленив. Но я знаю, как тебя впрячь в писание. По мемориям твоим слегка пройдусь пером и опубликую с примечанием: «Продолжение в следующем нумере». И уж ты хочешь не хочешь, а вынужден будешь продолжать, чтобы не подвести меня. Голос дружбы сделает тебя писателем.

— Какой из меня писатель!..

— А ведь ты, друг мой Павел Войнович, не только писатель. Ты вдохновитель писателей. Ты уж од-

нажды подсказал мне сюжет моего разбойничьего романа «Дубровский».

— Который так и не напечатан.

— Только ли он! А «Медный всадник»?.. Так вот, Нащокин, задумал я роман. Читал ли ты Бульвера «Пелам, или Приключения джентльмена»? Замыслил я дать нравоописание нашего общества. Этакий русский «Пелам». Герой — назвал его до поры до времени Пелымовым — натура благородная, но в увлечениях своих не гнушается поддерживать отношения с малопочтенными личностями. И все — на фоне столичной жизни с привнесением некоторых сатирических черт. Хочу вывести там карьериста Алешку Орлова, ну, и наших amis de quatorze * — Долгорукова, Трубецкого, Муравьева, кой-кого из театральных, Истомину, ну, и других.

— А я-то как попал в это блестящее общество?

— А разве ты не понимаешь, кто ты?..

Нет, Нащокин этого не понимал. Он начисто лишен был интереса к себе. Он и не подозревал, что он — тема, один из характернейших образов русского общества. Не зря ведь и другой великий писатель жадно прильнул к нему. Узнал он Павла Войновича значительно позже. Нащокин к тому времени промотался окончательно, ну, просто бедствовал. Он восхитил Гоголя, который увидел в нем благородство и распущенность, ум и лень, прямоту и сумасбродство, чистую совесть и легкомыслие почти преступное, образованность и пафос безделья. И, кроме всего,— ореол дружбы с Пушкиным. Гоголь загорелся желанием

* Друзья четырнадцатого. *(Франц.)* (Подразумевается: 14 декабря, т. е. декабристы.)

поднять Нащокина. Поднять? А разве Павел Войнович так низко пал? А вот судите сами:

«...в старом сюртуке и дырявых сапогах, растрепанный и опустившийся, но было что-то доброе в лице...»

Гоголь вставил этот портрет Нащокина во вторую часть «Мертвых душ» и назвал его там Хлобуевым. И дом его описал:

«Вошедши в комнаты дома, они были поражены как бы смешением нищеты с блестящими безделушками позднейшей роскоши. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины. Встретила их хозяйка, одетая со вкусом, по последней моде. Четверо детей, также одетых хорошо, и при них даже гувернантка... Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен; завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать; в другой — хлебосольный прием всех артистов и художников и великодушная подача всем...»

Тут и сам хозяин дома: «...в речах его обнаружилось столько познания людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал немногими словами соседей... так оригинально и смешно умел передавать малейшие их привычки».

Гоголь был обворожен Нащокиным и предложил устроить его у миллионера Бенардаки (в «Мертвых душах» он выведен под именем Констанжогло) воспитателем его сына.

— Вы,— говорил Гоголь со свойственной ему полузастенчивой-полунасмешливой улыбкой,— вы, как человек просвещенный...

Павел Войнович на это только махнул рукой:

— Просветиться-то мы просветились, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности... Мы совсем не для благоразумия рождены. И все так, право: и просвещенные, и непросвещенные. Нет, чего-то другого недостает, а чего — и сам не знаю.

И этот душевный разбор использовал Гоголь в «Мертвых душах». Так бедняк Нащокин обогащал собой своих великих друзей.

Перед отъездом Пушкина из Москвы Нащокин передал ему подарок для Натальи Николаевны: жемчужное ожерелье — одну из немногих драгоценностей, сохранившихся у него. Пушкин обнял его. Так, обнявшись, молча вышли они на крыльцо. Коляску еще не подали. Вечер был прохладный. Тревожная весенняя сырость.

— Если есть какие поручения...

— Есть, мой друг,— сказал Пушкин.— Я оставил у тебя два экземпляра «Современника». Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому.

— Это хорошо, что ты так решил.

— Но,— Пушкин предостерегающе поднял палец,— тихонько от «наблюдателей».

— Понял.

— И вели сказать Белинскому, что очень жалею, что не смог с ним увидеться.

— Да и он, кажется, не то уехал, не то собирается в деревню к друзьям своим Бакуниным. А у тебя что, расчет на Белинского?

— Посмотрим... Мне нужен для «Современника»

не только помощник для его издания, но и союзник в моих литературных стычках...

Недалеко в церкви засветилось окно. В воздухе поплыл колокольный звон.

— Люблю эту медную музыку,— сказал Пушкин мечтательно.

Нащокин глянул на него внимательно из-под своих припухших век. Потом сказал словно невзначай:

— Заглянем к Пимену? Помолимся на дорожку?

Пушкин ласково и насмешливо погладил Павла Войновича по голове, как ребенка:

— Друг мой, я бы охотно, да ведь толкуют, что я автор «Гавриилиады».

Нащокин не подхватил предложенного ему полушутливого тона, а ответствовал серьезно:

— Страсти господни волнуют меня. Поверишь ли, нынче в вечерню великой пятницы при выносе святой плащаницы я не мог унять слез.

Пушкин усмехнулся:

— Так ведь спаситель воскрес,— о чем же тебе плакать?

Нащокин недовольно отвернулся.

Пушкин взял его ласково под руку:

— Не обижайся, Павел Войнович, я ведь с юных лет считаю Иисуса Христа не богом и не сыном бога, а просто умеренным демократом. Пойми меня и не будь глупее самого себя. Я не богоборец, ибо богоборцы тоже суть верующие. Вспомни патриарха Иакова. Я вовсе не считаю бога самым неудачным изобретением человека. Ça dépend * от того, какого бога изобрело то или другое племя — милостивого или мстительного, мудрого или легкомысленного, всепрощающего или жестокого,— словом, каковы его образ и по-

* Это зависит. *(Франц.)*

добие. Это важно вот почему: создание человека, бог, входя в силу, сам начинает создавать человека теперь уже по своему образу и подобию, то есть милостивым или мстительным, мудрым или легкомысленным et cetera, et cetera *.

Где-то в отдалении раздалось цоканье копыт. Оно приближалось со стороны Княж-Настасьевского переулка. Друзья глянули друг на друга, вздохнули. Подкатила карета. Из нее выпрыгнул Ипполит. Он устремился в дом. Пушкин схватил его за руку и потянул носом.

— Хотел бы я знать,— сказал он,— где ты, свинья, успел надраться?

— У его милости Павла Войновича господина Нащокина весьма гостеприимный дом,— сказал Ипполит с поклоном и нырнул в дверь.

Друзья переглянулись и прыснули.

— Находчив, мошенник,— сказал Пушкин с оттенком восхищения.

Нащокин перекрестил его:

— Dieu vons tienne en sa qarde! **

Пушкин вздрогнул.

— Что с тобой? — испугался Нащокин.

Пушкин провел рукой по лицу, как бы стирая наваждение.

— Ничего,— сказал он, улыбнулся, прижал к груди Нащокина и легко прыгнул в коляску.

* И так далее, и так далее. *(Франц.)*

** Да сохранит тебя бог. *(Франц.)*

Премухинская идиллия и пятна на ней

Есть высшая смелость. Смелость изобретения... где план обширный объемлется творческой мыслью.

Пушкин

Ну, вот наконец август, летнее затишье. Хоть Москву и называли большой деревней, но — это питерские злонамеренные остряки. Словом, все влечет в Премухино.

Еще только знакомясь в прошлом году с Мишелем Бакуниным, Неистовый испытал смущение, нечто вроде благоговейного страха, который, впрочем, внушал ему не этот атлет с львиной головой, а сознание, что он брат сладостно-таинственного созвездия четырех сестер. Имена их упоминались в кружке Станкевича как бы окутанные каким-то нимбом, неясно сияющим и оттого еще более заманчивым. И когда Мишель, возвращаясь нынче весной в Премухино, пригласил туда Белинского, тот от радости пошатнулся, ему показалось, что у него земля под ногами загорелась. Но только в середине августа, сбросив на руки Надеждину журнал «Телескоп» и еженедельник при нем «Молву» и поручив студенту Вологжанинову, коего поселил у себя на квартире, заботы о корректуре и прочие типографские хлопоты, Виссарион устремился в Премухино.

Мишель, сероглазый, с лицом необыкновенно живым, преимущественным выражением которого было задорное упорство, принял Белинского как родного. Виссарион первые дни не выходил из состояния восторженности. И этот огромный парк, до того разросшийся, что местами напоминал лес, и этот простор-

ный барский дом с лощеными полами, с фамильными портретами на стенах, с хорошо вышколенной дворней, такой бесшумной, что ее вовсе как бы и не было, и светлая речка Осуга, и — творение славного зодчего Львова — пышная белокаменная церковь в европейском стиле...

А отец Мишеля... Совсем не то, что, может статься, вы думаете: уездный помещик, опустившийся, в засаленном халате, с полупьяными воспоминаниями о лихой гусарской молодости... Что вы, что вы! Европейски образованный человек. Магистр философии, защитивший диссертацию при Падуанском университете. В недавнем прошлом дипломат, а ныне отдающий свои досуги сочинению: «Опыт мифологии русской истории». Джентльмен и щеголь, начиная от прически с напусками на виски по моде начала столетия и кончая бантами на туфлях, как было принято когда-то при дворе матушки Екатерины Великой.

И девушки... Как передать их обаяние? Красавицы? Ах, не в том дело. Крупными чертами лица они походили на брата, но что у Мишеля было выражением силы, у Любови, Татьяны, Варвары и Александры обернулось добротой. Так все-таки красавицы? Не знаю. Но молодость, душевное изящество, наследственная культура делали сестер Бакуниных необыкновенно привлекательными. Станкевич называл семейство Бакуниных «премухинской гармонией», приравнивал его к некоей нравственно-возвышающей школе...

Поначалу все четыре девушки слились в глазах Белинского в один сияющий образ. Он испытывал влюбленность,— да, это бесспорно, он влюблен. Но в которую? Он не мог бы ответить на этот вопрос. Во всех четырех. Танюше он диктовал свою статью о

 книге Дроздова «Опыт системы нравственной фило-

софии» и любовался тем, как она, мило склонив головку, старательно нижет строки своим ровным почерком, из которого еще не совсем выветрилось что-то детское. Любе и Вареньке он представлял в лицах сцены из «Ромео и Джульетты», поражая девушек не столько декламаторским пылом, сколько изумительной памятью своей. Александре он рассказывал о Гоголе, заражая ее своей страстной к нему любовью. Он вписывал девушкам в альбомы потаенные стихи Пушкина, коего обожал, и, пока бесшумная и словно бы невидимая челядь разносила чай и затейливые пирожные, произведение искусника повара, приобретенного за немалые деньги, четыре женских головки, сгрудившись вокруг Белинского и следя за его рукой, с трепетом повторяли: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря?..» В эти минуты Виссарион забывал, что Любаша — невеста его друга Станкевича, а Варенька замужем за неким Дьяковым. Он любил их всех.

Только постепенно он стал отдавать предпочтение одной. И все увидели это. Разумеется, и она.

— Внешний мир — продукт нашего мышления. Реально только наше Я. Объективной действительности нет,— говорил Мишель, взволнованно ероша свои каштановые кудри, растрепывая их (и вообще в нем была некая растрепанность, не только в одежде, на которую он не обращал никакого внимания, но в обилии и щедрости его талантов, в этих львиных бросках из живописи в музыку, из музыки в философию, из дружбы во вражду),— ты пойми, Виссарион, внешний мир призрачен...

Виссарион не читал по-немецки. Это делал за него Мишель. С исступленной страстью искал он «всеобъемлющую идею» — некую универсальную отмычку, долженствующую отворить все проблемы духа. Он нашел ее в философии Фихте. И с той же страстью принялся посвящать в нее Белинского. Ибо в этом и была сущность самого Бакунина — разъяснять, пропагандировать, увлекать, штурмовать, опрокидывать баррикады, вести за собой, предводительствовать, властвовать. Он ощущал в себе мессию. С восторгом неофита окунался Виссарион вслед за Мишелем в фихтеанскую отвлеченность.

— А сестрицы мои,— с сожалением сказал Мишель,— в отчаянии, что они так глупы, что, как ни бьются, никак не войдут во всеобъемлющую идею.

Белинский не поверил этому. Он сам взял на себя роль учителя. Он увел Александру в парк, усадил на ствол поваленной сосны, сам сел рядом и, испытывая наслаждение от этой близости, сказал:

— Идеальная жизнь и есть жизнь действительная, положительная, конкретная...

— Но что же он такое — этот идеал?

— Он незрим. Ибо зримое, то есть действительная жизнь,— отражение, призрак, ничтожество, пустота.

— А идеал? Что же он такое, в конце концов? Может быть, бог?

— Что такое бог, если не понятие о нем!

— То понятие, то идеал... Вас не поймешь! Какой вы смешной, Белинский! Поймите, это понятие мне непонятно...

Она запуталась в словах и засмеялась, но взглянув на строгое лицо Виссариона, присмирела и сказала почти робко, как школьница:

— Так есть бог или нет?

Неистовый нахмурился:

— Спрашивать, есть ли бог или нет, нелепо. Есть в мире нравственный порядок — вот это и есть бог. И никакой другой бог нам не нужен, да и невозможен. Ведь разум человека не в состоянии выйти из пределов этого мирового порядка, он не в состоянии вообразить еще какое-то особое существо как причину этого порядка. Ибо если вы придаете этому воображаемому существу личность и сознание, вы делаете его существом конечным. Понятно?

Она упрямо мотнула головой:

— Ну, а этот ваш идеал?

— Он — разум. Безличный мировой разум. Он порождает в своем поступательном шествии всю действительность. Поймите, Шурочка, действительность — это великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии.

Она морщила лоб. Потом засмеялась и махнула рукой.

— Допустим,— сказала она,— ну, и что же?

Она смотрела на него с интересом, но и чуть лукаво, чуть насмешливо. Ему показалось, что и чуть нежно. Ветер шевельнул кленовые листья над ними, и солнечный блик пробежал по ее лицу, и от этого оно сделалось, как почудилось Виссариону, еще нежнее.

— Ну и что же? — повторила она тихо.

Им вдруг овладел гибельный припадок застенчивости. Он ненавидел себя в эти минуты. Словно какой-то панцирь сковывал все его существо. Надо было разбить его, высвободиться, вернуться к самому себе. Но ведь это застенчивое, этот мгновенный паралич души — это ведь тоже я. Значит, мое я — это несколько я. И когда они расползаются, тогда-то и наступает это нравственное онемение. Я знаю, есть единственный способ мгновенного излечения — порыв в дейст-

вие! Да, смелый, решительный поступок! Виссарион решился. Пусть она узнает, кто она мне. А там будь что будет. Волна безумной отваги накатилась на него.

Он резко повернулся к ней. Ее не было.

Только в конце аллеи мелькнуло розовое платье с белым корсажем...

Даже в этот период ухода в фихтеанство были минуты, когда дремавшая где-то в душевном подполье революционная сущность Белинского с вулканической яростью вырывалась наружу.

Однажды это случилось в Премухине за семейным столом во время обеда, который всегда носил там такой мирный характер.

Работа неслась как буря. Иначе Виссарион не мог. Живи он в наше время, ему вместо пера больше подошел бы диктофон. Для обдумывания оставалось то мгновенье, когда он нес перо от бумаги к чернильнице и обратно. Этого было достаточно, ибо мысль обгоняла свое начертание на бумаге. Он не тратил времени на посыпание написанного песком, он просто швырял написанные листы на пол, и мысли его белыми пластами приземлялись по всей комнате, подобно буревестникам, присевшим отдохнуть после большого полета. Он почти не марал.

Над столом окно, ель доверчиво положила на подоконник свою добрую мохнатую лапу, ветер успокоительно шумит в дебрях старого парка. Виссарион писал о книге магистра Алексея Дроздова. Рецензия? Да, как будто рецензия. Притом вполне благонамеренная. Но в сущности это небольшой трактат о лич-

ности и обществе. Ой-ой-ой, тут надо бы поосторожнее!

Не далее чем вчера Мишель сказал Виссариону, что напрасно он устремляет энергию своего духа на занятие литературой. «Литературные мечтания»? Да, эта знаменитая статья талантлива. Но ведь настоящее призвание возвышенных умов — философия. И Виссарион с этим безоговорочно соглашался, но восклицал с фихтеанским жаром, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа. Именно так! А посему мы должны создать такие условия, в которых народ сможет выразить существо своего духа. Стало быть, народу потребно просвещение. Это задача правительства и критики. Да, да, никакой политики!

— Критика в России,— уверял Виссарион, как всегда, опережая на голову того, кто его вел,— не имеет смысла. Вся надежда России на просвещение, а не на революции и не на конституции...

Да, так он говорил. И считал, что так он пишет свою статью о труде магистра Дроздова. В самом деле, разве он не толкует в ней о добродетели? Да, но какой? Действенной! Гм, гм... А для чего? А для того, видите ли, чтобы преобразовать несовершенное общество. Ах, вот как! И пошло, и пошло... Ибо идеал идеалом, мировой разум мировым разумом, но под этим шлаком философской нирваны в душе Виссариона пылала жажда активного действия. Он отметал политику, не замечая, что вся его литературная работа была работой политической. И эта статья о сочинении магистра Дроздова, обряженная в саван рядовой журнальной рецензии, была статьей политической, и только дурак мог не заметить в ней стремления к расшатыванию несправедливого общественного устройства.

Он до того увлекся писанием, с необыкновенной быстротой покрывая бумагу своим четким почерком, что не услышал протяжных звуков гонга. И только когда настойчиво постучали в дверь и позвали к обеду, он с сожалением положил перо и вышел, осторожно ступая, чтобы не спугнуть белых птиц, разметавшихся по всей комнате.

Когда он пришел в столовую, уже приступали к супу. Он буркнул: «Прошу прощения, трудился»,— и сел на свое место между Мишелем и его братом Николаем. Здесь были все сестры и братья Бакунины, их мать, Варвара Александровна, поражавшая своей молодостью,— она была на двадцать с лишним лет моложе мужа.

Сам Александр Михайлович сидел во главе стола. Как всегда тщательно одет, спокоен, благожелателен. Приветливо кивнул Виссариону и продолжал речь, видимо начатую раньше:

— ...Простоволосые, в лохмотьях, полуголые... Ну, чисто — ведьмы! Мегеры!

— И что же дальше? — робко спросила Татьяна.

Варвара Александровна замахала руками:

— Не хочу слушать! Что за предмет для разговора! И не застольно это вовсе!

— А дальше что же...— невозмутимо продолжал Александр Михайлович,— дотащили они его до фонаря... Тут я отвернулся.

Николай шепнул Виссариону:

— О французской революции. Отец в те дни был в Париже при нашем посольстве.

— Но когда я оборотился, несчастный уже болтался в петле. И таких монструозных сцен сотни. «И чернь»...— я цитирую свою поэму «Осуга»,— с любезным поклоном обратился он к Белинскому и продолжал:

...И чернь, озляся, завопила
Осиплым хором: «Ca ira!» *
Я на яву все это видел
В стране драчливых петухов
И с той поры возненавидел
Музыку тигров и ослов...

— Да, дорогие мои,— сказал Александр Михайлович среди всеобщего молчания,— тогда-то я и преисполнился отвращением к французской революции с ее лживыми выкриками — liberté, egalité, fraternité! ** Какое liberté, когда на Гревской площади кровь лилась рекой, палачи у гильотины сменяли друг друга.

— Это там, папа, казнили французского короля? — спросил любознательный Илюша.

Отец нахмурился:

— Нет, подлое убийство Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты произошло на площади Согласия. Кстати, она называлась тогда площадь Людовика Пятнадцатого. Убийцей был кровавый палач Максимилиан Робеспьер.

Нож звякнул о тарелку так громко, что все вздрогнули и посмотрели на Белинского. Бледный, с горящими глазами, он выкрикнул:

— И правильно сделал! Я б на месте Робеспьера казнил бы Людовика и его семью трижды!

С грохотом Неистовый отодвинул стул и вышел из столовой.

Вернувшись к себе в комнату, он снова ринулся в статью о Дроздове. Он писал:

«Верно, всякому случалось называть кого-нибудь вслух пустым малым и слышать в защищение его ты-

* Это пойдет. *(Франц.)*
** Свобода, равенство, братство. *(Франц.)*

сячу голосов, которые кричат: «Да он добрый человек!» Конечно, такой «добрый человек» точно добрый человек, но только в смысле французского выражения «bon homme» * и очень хорошо напоминает собою верную собаку и послушную лошадь».

Он работал всю ночь и утром отослал статью в «Телескоп». Через несколько дней он получил письмо из «Телескопа» от Надеждина:

«Я выпустил больше половины собственных Ваших мнений, которые напечатать нет никакой возможности. Вы, почтеннейший, удалясь в царство идей, совсем забыли об условиях действительности. Притом же и время теперь неблагоприятное...»

Гроза миновала. Виссарион принес извинения Александру Михайловичу. Они были милостиво приняты этим просвещенным крепостником. Все потекло по-прежнему, хотя, несомненно, в отношения Александра Михайловича с Белинским вкралась холодность. Только ли? Не берусь сказать. Во всяком случае Виссарион стал чувствовать себя в Премухине не столь уютно. И если бы не дружба с Мишелем... а впрочем...

— Я люблю тебя рикошетом от Александры,— сказал ему Виссарион. Мишель засмеялся. Ему было, в сущности, все равно. В ту пору Мишель любил только идеи. Это о нем Грановский впоследствии скажет: «Для него нет субъектов, а все объекты».

Тем не менее философские штудии по Фихте продолжались. Друзья пришли к заключению, что им уже известен путь к абсолютной истине и что нужно только некоторое усилие, чтобы переселиться в жизнь

* Простак. *(Франц.)*

абсолютную. Впрочем, Мишель давал понять, что он уже переселился...

Я хотел бы встретить Белинского. Я спросил бы его:

— Действительно ли вы любили Шуру Бакунину? Или это был плод раздраженного воображения, может быть, потребность пылкой натуры? Я ведь знаю, у вас были и другие увлечения. Например, сватовство к дочери Михаила Семеновича Щепкина. Или то, что вы сами называли: «роман с гризеткою». Я, между прочим, еще буду о нем писать... И вот еще,— пользуясь этой счастливой встречей с вами, позвольте спросить, как вы относитесь к известной истории с Чаадаевым?..

По-видимому, мое свидание с Белинским могло происходить еще до его переезда в Петербург. Где именно? Не у меня, конечно, ибо, будучи тогда призраком, я ютился в таких неудобных для приема гостей пристанищах, как сон, домысел, воображение. И не у Виссариона Григорьевича,— он не пустил бы меня в свою смрадную конуру на Рахмановом переулке (вход со двора) между ядовитыми испарениями из прачешной и оглушительным грохотом из кузницы. Несравненно удобнее нам было свидеться, вероятно, в кофейне у Театральной площади. Здесь (кофейню прозвали «Литературной») можно было встретить громогласного Кетчера, как всегда — с бутылкой шампанского в руках, Васю Боткина, прибежавшего прямо из амбаров своего отца, Грановского — обычно, вместе с женой,— иногда Мишеля Бакунина, иногда славянофила Самарина, заходили туда и актеры — Мочалов, Щепкин. Молодые студенты, забегавшие в кофейню, чтобы просмотреть свежие номера

журналов, с благоговением прислушивались к шуму их споров. Здесь среди табачного дыма и хлопанья пробок ниспровергались авторитеты литературные, театральные. Но и воздвигались также. Обсуждались политические злобы дня и даже критиковались действия правительства,— ну, это, конечно, на эзоповском языке, с отнесением их якобы к Китаю или к Персии, чтобы не питать настороженных ушей практических сердцеведов, которые не обходили своим вниманием «Литературную кофейню», как, впрочем, и салон Авдотьи Елагиной, и лекции Грановского, и любое другое публичное место. Вспоминая этот маленький московский форум, Мишель Бакунин напишет впоследствии из Цюриха своему брату Павлуше:

«Что Москва? Что Елагина, Грановский? Болтают, чай, не на живот, а на смерть, констатируют от нечего делать, братец ты мой! Эх, народец!»

Мишель сможет так писать, ибо к тому времени он уже променяет свою философскую нирвану на революционное действие и возымеет нравственное право делить людей на тех, кто борются открыто, и тех, кто только «констатируют» втихомолку.

— Но вернемся, Виссарион Григорьевич, к Шуре Бакуниной. Представьте себе, что вы женились бы на ней...

Белинскому в ту пору было между двадцатью и тридцатью. Был он росточку невеликого, с впалой грудью, с лопатками, остро выдававшимися даже под сюртуком, застегнутом, увы, криво. Скажем прямо, скуластое, продолговатое лицо его с нездоровым румянцем некрасиво, волосы тускло-белокурые падали мочалистыми, по-крестьянски прямыми прядями. Хорош был лоб, чистый, отлично вылепленный. И глаза. Голубые, они темнели, становились серо-стальными в возбуждении восторга или гнева. А это случалось ча-



сто и заканчивалось нередко изнурительным припадком кашля. Да и в спокойные минуты Белинский покашливал и вообще говорил с одышечкой.

— Конечно, Виссарион Григорьевич, вы можете возразить, что боролись с этой любовью.

— Я не мог любоваться Александрой объективно. Я цепенел и тосковал. Я вторично приехал в Премухино. Во мне не умирала надежда на взаимность. Тогда здесь был и Вася Боткин. И вот я узнал, что между ними роман. Притом давнишний, начавшийся еще в Москве, когда они только познакомились. Но, как каждый влюбленный, я был слеп... Однако самое удивительное не в этом.

— А в чем?

— После нескольких лет обожания, безумств, тоски, унижений и упований я понял, что, в сущности, я никогда не любил Шуру. Я придумал эту любовь. Она была головная. Я любил не Шуру, я любил любовь...

— И вы ей это...

— О, она сама давно это знала. Гораздо раньше меня. Она умная. Она сказала подруге, когда кончились мои безумства: «Теперь он покоен. Его фантазия ко мне пропала...» Что же касается Петра Яковлевича...

И я записал то, что Неистовый рассказал мне о Чаадаеве.

Но об этом особо впоследствии.

Зимние грозы

Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом... Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрина был на посылках. Об нем сказали, что он был... нянькой и попал в президенты Академии наук... Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11.000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу.

Пушкин. Дневник.

Нет, небо не было безоблачным. Оно только казалось таким. Беспечные люди не хотели замечать грозовых туч, хотя они ходили низко над землей.

Вот из этого неба и грянул гром. Крах наступил внезапно. «Телескоп», часть XXXV, № 15 с «Философическими письмами к госпоже ***. Письмо 1-ое» вышел 3 октября. Подписи не было. Только обозначение: «Некрополис, 1829 г. декабря 17».

Вот так.

Но позвольте! Некрополис — это что же? В переводе: город мертвых. О чем это, собственно? Уж не о Москве ли? Э-ге-ге...

Поначалу — ничего. Предгрозовая тишина. Только ветерок пошел по низу, как всегда перед бурей. Пыль поднялась. Московские дамы-трещотки взволнованно забегали из гостиной в гостиную. Возмущенно зашумели о чести России хапуги-чинушки, выстроившие себе особняки на наворованные деньги.

Ханжи, погрязшие в разврате, подняли негодующий глас об оскорблении нравственности. Затрубили продажные литераторы, отчизнолюбцы на жалованьи. Посыпались доносы в самые разнообразные места, даже к петербургскому митрополиту Серафиму. Старый интриган Филипп Филиппыч Вигель писал ему:

«...многочисленнейший народ в мире, в течение веков существовавший, препрославленный, к коему, по уверению автора статьи, он сам принадлежит, поруган им, унижен до невероятности».

Увидев под доносом имя Вигеля, митрополит брезгливо поморщился. Возможно, что ему вспомнилась эпиграмма петербургского остроумца Соболевского:

Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
Как жалка судьба твоя:
По-немецки ты Schweinigel *,
А по-русски ты свинья.

Но дело есть дело, и митрополит, натурально, препроводил донос к шефу жандармов Бенкендорфу. Кроме этого доброхотного доноса было и официальное донесение о том же к министру народного просвещения Сергею Семеновичу Уварову от тезки его Сергея Григорьевича Строганова, попечителя Московского учебного округа. Питерский Сергей присовокупил к донесению московского Сергея свой доклад на имя царя. И все стеклось, как всегда, во всероссийскую сточную яму — к графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу.

Тут профессор Надеждин что-то учуял, забеспокоился. Повел толстым носиком туда-сюда. Послал своих людей разведать в Английский клуб, в университетские круги, особенно в гнездо официальной народности — редакцию «Московского наблюдателя».

* Похабник. *(Немецк.)*

Потом кинулся писать письмо Белинскому в блаженное Премухино:

«Я нахожусь в большом страхе. «Письмо» возбудило ужасный гвалт в Москве благодаря подлецам-наблюдателям. Эти добрые люди с первого раза затрубили о нем, как о неслыханном преступлении, и все гостиные им завторили. Андросов бился об заклад, что к 20 октября «Телескоп» будет запрещен, я посажен в крепость, а цензор отставлен. Строганов хранит глубочайшее молчание».

А посмотреть на самого Петра Яковлевича Чаадаева — такой же, как всегда: невозмутим, строг, чуть ироничен, чуть высокомерен. По-прежнему каждый вечер его голый конический череп матово и вполне благопристойно отсвечивает под люстрами Английского клуба. Словно и не замечает Чаадаев, как от него сторонятся. К толкам не прислушивается. Отметает их. Что ему пошлые суждения толпы! Лишь одного человека мнение интересует его — ближайшего друга. Того, кто сказал о нем: «Всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель». Он ждал от друга отклика. Ждал нетерпеливо, страстно. Правда, «Философические письма» не были для друга новинкой. Ему первому посылал свои рукописи Петр Яковлевич. И всегда получал ответ с точным разбором, с одобрением, но и с серьезной критикой, с упреками даже. А вот сейчас письма от него нет. Что это? Пренебрежение? Осторожность придворного человека?

Петр Яковлевич не знал, что письмо ему было другом написано. Да, было! Покусывая, как всегда, хвостик пера и пометив дату, 19 октября, Пушкин писал:

«...Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами... Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании

глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили»...

Ах, как много дал бы Петр Яковлевич за то, чтобы прочесть письмо это! Особенно за слова: «Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Ибо что рукопись? Кукиш в кармане. Нет — выйти из подполья наружу, как те на Сенатскую площадь. «Философические письма» — это моя Сенатская площадь. Я не зову с собою Пушкина. Но оценить мое действие он мог бы. Так думал с тоской Чаадаев. С тоской и надеждой. Ибо все еще надеялся, что письмо написано. А раз написано, значит, и отослано. Пусть не почтой, пусть — из осторожности — оказией.

В том-то и дело, что не отослано. Потому что в это время как раз грянул гром из нечистого неба. Пушкин вздохнул и положил письмо в ящик стола.

Сергей Семенович Уваров заперся в кабинете. Доступа к нему не было. Он трудился.

Перед ним лежал «Телескоп» с «Философическим письмом». Сергей Семенович делал из него выписки. Он готовил доклад. Запоздалый несколько. Более прыткие доносчики опередили его. Придется взять обстоятельностью и энергией комментариев. Разумеется, Сергей Семенович ознакомился с изделиями своих конкурентов. Но ни Вигель, ни митрополит Серафим, ни Строганов, ни все прочие не осведомляли

власти с достаточной отчетливостью о содержании «Философического письма», подчеркивая главным образом свое благонамеренно-патриотическое негодование.

Синим карандашом Сергей Семенович ставил цифру возле каждого из антиправительственных утверждений Чаадаева. Красным подчеркивал особо кощунственные. Иногда откидывался на спинку кресла и любовался. Донос приобретал вид солидный и вместе с тем нарядный.

1. Русский народ *повторяет зады* европейской истории.

2. Столетиями там складывались идеи долга, закона, правды, порядка: *У нас нет этих начал.*

3. Это *сделало нас неспособными* к серьезной мысли и систематической работе, развило равнодушие к добру и злу, истине и лжи.

4. ...Мы должны бы соединить в себе два великие начала разумения: воображение и рассудок.

5. Причина изоляции России в связи ее судьбы с Византией. Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения *у растленной,* презираемой всеми Византии.

6. Руководящим принципом истории, всемирно-исторического прогресса является провидение, или мудрый разум, управляющий событиями и влияющий на ум человека.

7. В этом смысле и надо понимать христианство, религиозное единство.

8. Главная движущая сила новой истории — христианство.

9. Его наиболее созидательная часть — *католичество.*

22 октября 1836 года Сергей Семенович Уваров получил высочайшее повеление. Не прямо, конечно, из рук самодержца, а через графа Бенкендорфа. Люди постарше помнили волнообразный жизненный путь Сергея Семеновича. Он ведь когда-то разделял свободолюбивые порывы императора Александра I. (Разделять увлечения своего повелителя, даже самые дерзостные, совсем не опасно.) И в те времена Сергей Семенович, как человек просвещенный в дидеротско-руссоистско-вольтеровском духе, был поставлен во главе Академии наук. Как президент этого славного учреждения в том же вольнолюбивом 1818 году произнес речь, где превознес политическую свободу как «прекрасный дар бога»! Подумайте только! Да, да, так говорил Сергей Семенович Уваров, тогда участник знаменитого литературного общества «Арзамас», сентиментальный друг Жуковского.

Но все это было «до».

А «после» Сергей Семенович с проворством оборотня переменил свои такие, мнилось, исконные убеждения. Теперь другое. Субординация! Русификация! Незыблемость крепостного права! Жаль, что в те времена не существовало бюро патентов. Уваров мог бы запатентовать свое изобретение — триединую формулу, на многие десятилетия ставшую заповедью мракобесов и даже вошедшую в герб Уварова: самодержавие, православие, народность. Зато Сергей Семенович не только остался президентом Академии наук, но и прибавил к этому высокому званию пост министра народного просвещения. Таков Уваров. Таковы Уваровы, обаятельные, грубые, циничные, лгуны и стяжатели. Как, еще и стяжатели? Ого! Когда помирал от скарлатины молодой граф Шереметев (впоследствии выздоровевший), муж его двоюродной сестры, Сергей Семенович, ближайший наследник, уже поти-

рал руки в чаянии наследства и даже начал опечатывать сургучом... впрочем, об этом лучше всего написал Пушкин, зашифровав сатиру на Уварова в оде «На выздоровление Лукулла»:

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

Высочайший гриф на донесении Уварова повелевал: первое — журнал «Телескоп», напечатавший «Философическое письмо» Чаадаева, запретить. Второе — виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу... Редактора бывшего профессора Надеждина выслать в Усть-Сысольск, цензора Болдырева от должности отставить за нерадение по службе.

Ну, а как же быть с виновником всего этого переполоха в стране? Как быть с автором? В тюрьму? За что? Такой статьи нет, чтобы сажать за произведение, опубликованное с дозволения цензуры. Оставить автора на свободе? Тоже не дело. Тут нужно изобрести что-то такое, что позволило бы властям в тюрьму автора не запирать, но в то же время на свободе не оставлять.

И соединенная бюрократически-царедворческая

мысль нашла выход из положения. Разве «Философи-

ческое письмо» мог написать нормальный человек? Ведь это типичный бред, плод свихнувшегося ума, бессвязный лепет безумца! Так родился третий пункт высочайшего повеления: «за сочинителем статьи «Философическое письмо» Чаадаевым П. Я. иметь медико-полицейский надзор». Вот до чего дошла забота государства о добром здравии своих подданных. Так оно и было выражено в официальном отношении:

«...появившаяся в журнале «Телескоп» № 15 статья «Философическое письмо» выраженными в ней мыслями возбудила во всех без исключения русских чувства гнева, отвращения и ужаса, в скором времени, впрочем, сменившиеся на чувства сострадания, когда узнали, что достойный сожаления соотечественник страдает расстройством и помешательством рассудка. Принимая в соображение болезненное состояние несчастного, правительство в своей заботливости и отеческой попечительности предписывает ему не выходить из дому и снабдить его даровым медицинским пособием, для чего местное начальство имеет назначить особого из подведомственных ему врача».

Так один из умнейших, образованнейших и отважнейших мыслителей России, «всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель», был официально объявлен сумасшедшим. До гробовой доски.

Разумеется, Сергей Семенович Уваров, получив из рук графа Александра Христофоровича Бенкендорфа высочайшее повеление, изобразил на своем лице восхищение не только мудростью оного, но и бесконечной гуманностью его: подумайте только, вместо того чтобы сгноить Чаадаева в одном из бесчисленных казематов Российской империи — облагодетельствовать его бесплатной медицинской помощью! И все-таки среди боязливого молчания, охватившего русское об-

щество, нашелся один человек, который поднял голос в оправдание Чаадаева, используя свои старые придворные связи. То был некогда влиятельный, а ныне опальный Михаил Федорович Орлов, декабрист, пощаженный ради его могущественного брата. Бенкендорф глянул искоса на Орлова и заметил с обычной своей величественной вежливостью:

— Прошлое России поразительно, настоящее более чем великолепно, а будущее превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. Именно с этой точки зрения надлежит понимать русскую историю и писать о ней.

Арестовали Николая Огарева. Герцен кинулся к Михаилу Орлову. Тот бессильно развел руками — сам едва уцелел. Он оставлял Герцена у себя обедать. Тот отговаривался, им владело нервное нетерпение, хотелось действовать, хлопотать за Николая, выручать его. Орлов доказывал, что это невозможно. Добавил:

— К обеду жду Чаадаева.

Это решило. Герцен остался. Он не был знаком с опальной знаменитостью.

Обед прошел как-то невесело. Орлов и Герцен были удручены. Чаадаев больше помалкивал и был, как потом рассказывал Герцен, холоден, серьезен, умен и зол. Теща Орлова, Раевская, тщетно пыталась оживить общество. В конце концов она сказала с досадой:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

Чаадаев кинул на нее взгляд и сказал с непередаваемой иронией:

— А вы думаете, что нынче еще есть молодые люди?

Московские друзья Белинского волновались. Как быть с ним? Ведь он ближайший помощник Надеждина по журналу. Да что говорить, именно он, а не Николай Иванович сейчас является душой «Телескопа». Не будет ему пощады. Так, может быть, лучше оставаться Виссариону в Премухине, не подавать духу, авось забудут о нем, и переждать в захолустье, пока разойдутся тучи? Так предлагал Костя Аксаков.

Но после того как стало известно, что на квартире у Белинского произведен обыск и изъяты какие-то бумаги, друзья решили иначе.

— У Уварова рука длинна,— сказал Клюшников,— он всюду достанет его. Нет, надо другое: отправить Виссариона за границу. Официально. В Берлин для изучения современной немецкой философии. Нынче это в моде, Берлин — философская Мекка, туда едут учиться со всего мира.

— А разрешат ли?

— Попробуем добиться.

— Не поднять Виссариону такую поездку. Он бедняк.

— Поможем,— сказал Вася Боткин.

А в Премухине обо всем этом еще ничего не знали. Идиллия длилась. Получен III том пушкинского «Современника». Там к радости Белинского помещен отклик на памятную речь Михаила Евстафьевича Лобанова в Российской Академии:

«Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века; но должны признаться, что науки сделали шаг вперед. Германская философия особенно в Москве нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей... их влияние было благотворно и час от часу становится более

ощутительно... Где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное. Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна *проникать все ухищрения* пишущих... Всякое слово может быть перетолковано в дурную сторону...»

Оба лагеря, и Лобанов, и «Современник», соблюдали правила игры: не называли имени Белинского, хотя речь шла главным образом о нем и в речи Лобанова, и в полных ума и такта строках «Современника». Они были не подписаны. Но кто же не знал, что редакционные статьи в «Современнике» пишет их издатель: Пушкин.

Нащокин не сразу принялся за поручение Пушкина связаться с Белинским. То дела игорные закрутят Павла Войновича, то он закатится на дачу, а то и Белинского не застанешь,— у Виссариона в это время разгар романа с незнакомкой, которую он называл «гризетка». А когда в августе Нащокин заехал к нему на квартиру во дворе Московского университета на Моховой и поднялся на второй этаж ректорского домика, то вышедший из комнаты Белинского молодой человек, отрекомендовавшийся: «действительный студент Вологжанинов», объявил Нащокину, что Виссарион Григорьевич ныне гостит в имении Бакуниных в Тверской губернии близ Торжка на речке Осуга.

Испытывая некоторые угрызения совести, Нащокин кинулся к ближайшим друзьям Неистового, все досконально разузнал и, гордый своей деловитостью, отписал Пушкину:

«Белинский получал от Надеждина, чей журнал уже запрещен, три тысячи рублей ассигнациями. «Наблюдатель» предлагал ему пять. Греч тоже его звал. Теперь, если хочешь, он к твоим услугам. Я его не видал, но его друзья, в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Ты мне отпиши, и я его к тебе пришлю».

Каждодневно осведомлялся Нащокин, нет ли ответа от Пушкина. Удивлялся. Сердился. Наконец написал вторично:

«...Отпиши мне хоть строчку, жив ли ты и каковы твои делишки. Не знаю, получил ли ты мое письмо или нет. Ждал я тебя в Москву по твоему обещанию; не знаю, почему ты не приехал...»

Политическая наивность добрейшего Павла Войновича безгранична. Сам же написал в первом письме «чей журнал уже запрещен» и не заметил зловещего смысла собственных слов, не понял, что началась расправа с сотрудниками «Телескопа» и что в этом причина молчания Пушкина, ибо на Белинского, как на ближайшего сотрудника закрытого журнала, уже наложено клеймо отверженного. Когда же тучи над Белинским несколько истаяли — это произошло в конце того же тридцать шестого года,— Пушкину уже стало не до Белинского, не до «Современника», не до литературы. Он стремительно шагал сквозь грозы своей личной жизни к роковому январю тридцать седьмого года.

Без Пушкина

Что за черная немочь напала на нашу литературу? Кого убьют, кто умрет, кто изнеможет преждевременно.

Вяземский. Из письма к Жуковскому.

В Премухине, конечно, ни о чем об этом не подозревали. Идиллия длилась. Правда, все явственнее проступали на ней пятна противоречий. Доходило до ссор.

Ссор? Может быть, это через меру пышно сказано? Столкновений между Виссарионом и Мишелем было немало. Два страстных характера, две нетерпимости. В конце концов это была вражда посреди дружбы. Кто начинал? По-разному. Но справедливость повелевает сказать, что все же чаще повод подавал Мишель. Сейчас я расскажу о ссоре одной из первых по времени. Она была не самой крупной. О, далеко не самой крупной! Просто стычка. Разведка боем, сказали бы в наши дни. Но в ней обозначился рубеж между страстями и та ничейная земля, на которую потом оба осторожно двинулись, чтобы не потерять друг друга.

— Мишель, ты изменяешь собственному символу веры.

— Вздумал учить меня? Забавно!

— А почему бы и нет? Авторитет должен действовать естественно, бессознательно. Когда же с ним лезут, то становятся несносны и смешны. Я повторяю: ты забыл свой символ веры, ты непостоянен.

— Выражайся яснее, Виссарион, у тебя разброд в мыслях. Что еще за «символ веры»?

— Мишель, твое легкомыслие меня ужасает. Не ты ли клялся на каждом шагу, что путь к постиже-

нию абсолюта лежит через нравственное самоусовершенствование, что внешнее существует только внутри нас?

— Не надо понимать это буквально, вернее буквоедски. Ты зря тратишь свои силы и способности, пытаясь втиснуть свою деятельность в узкую рамку литературы. Ты, как беспутный мот, расточаешь свое духовное богатство без пользы. Ты променял философию на словесность.

— А тебе, Мишель,— ты уж прости меня,— природа отказала в эстетическом чувстве. Ты понимаешь искусство головой, без участия сердца, а это не многим больше, как если бы понимать его ногами. Ты мертвый логический скелет!

— Да ты не кипятись, Виссарион. Я понимаю, твои «Литературные мечтания» вскружили тебе голову. Ты стал падок на успех, ты завяз в нем, как оса в патоке. Тебе нравится, когда восторженные барышни вьются вокруг тебя, как жены-мироносицы. А вернее, ты вьешься вокруг них.

— Мишель! Откуда этот тон! Опомнись! Ты уже не в армии! Ты как будто руководишься в отношении ко мне словами знакомого тебе офицеришки: «Бью тебя, когда мне угодно и сколько мне угодно!» Забудь, Мишель, свои офицерские замашки!

— А что, Висяша, ты, пожалуй, воображаешь, что никто не видит твоего донжуанства. А я и не представлял себе, брат, что ты такой влюбчивый, а вернее сказать — въюбчивый. От слова «юбка».

И Мишель захохотал во все свое львиное горло.

— Мишель! — сказал Белинский, страшно побледнев.— После этого...

— Знаю, знаю! Наутек, да? Что ж, Виссарион, расстанемся — так расстанемся!

— О, я знаю, Мишель: человек для тебя ничто. Ты душевно жесткий. Ты дружбой не дорожишь. Ты можешь бросить человека, как изношенный сапог или истасканный галстук. Если бы ты не был брат Александры... Да все равно, скажу: знай, что и Николай Станкевич тобой тяготится, он назвал тебя Хлестаковым...

Этого Мишель не вынес. Выпуклые глаза его налились гневом. Он хотел что-то сказать, но от возбуждения задохся. Махнул рукой и выбежал.

Он быстро шел по парку, как всегда не разбирая дороги. Гнев испарился из него быстро. Он уже забыл о ссоре с Белинским. Мысли его обратились к философии. Идея постижения мира чистым разумом гипнотизировала его. С ним это случалось часто. Опьянев от философии, Мишель выбегал в парк и бродил здесь, поводя по сторонам своими крупными глазами, полными философского экстаза. Беда встретиться с ним в такую минуту: он набрасывался на случайного встречного, все равно на кого, и изливал на него весь свой фихтеанский жар.

Вот так и случилось и в этот раз. Он наткнулся в аллее на Тимошу Всегдаева. Тот быстро шел, размахивая чемоданом. Мишель нисколько не удивился неожиданному появлению Тимоши. Схватив его за отвороты сюртука, он сказал:

— Что такое человечество? Это бог, заключенный в материи, это...

Тимоша робко перебил его:

— Простите, Михаил Александрович... Я со срочным поручением к господину Белинскому Виссариону Григорьевичу. Он у вас?

Тут только Мишель увидел, что у Тимоши в руках чемодан, а сам он покрыт дорожной пылью.

 Всегдаев рассказал Мишелю о событиях в Москве.

Мишель помрачнел. Подхватив Тимошу под руку, он повлек его за собой.

Когда они вошли в беседку, Белинский бросился к Мишелю. В ту пору в среде молодых московских любомудров были в ходу возвышенно сентиментальные изъявления чувств (в отличие от петербургских литераторов из аристократического кружка Вяземский — Пушкин — Плетнев, выражавшихся просто и иронически).

— Мишель! — воскликнул Белинский.— Ты стремишься к высокому, я — тоже, следовательно, мы друзья. Не говори мне, что мы разошлись. Наша связь неразрывна. Мы будем расходиться только в болезнях наших индивидуальностей.

— Виссарион, люблю тебя, ты человек духа. Я хочу, чтобы бог в тебе победил материю. А что такое бог? Это добро к людям. Но послушай, дела плохи.

Тут из-за широкой спины Бакунина выдвинулся Всегдаев.

— Здравствуйте, Виссарион Григорьевич. Я к вам нарочным из Москвы от Вологжанинова. Почте нельзя доверять...

— «Телескоп»?..

Белинский выхватил из рук Тимоши письмо.

— Он пишет,— сказал он глухо, преодолевая кашель,— что на квартире у меня был обыск, изъяли бумаги, и чтобы ничего недозволенного я с собой не вез. Меня ждет, возможно, арест, а уж во всяком случае личный обыск...

На семейном совете было решено, что Бакунины поддержат ходатайство о поездке Белинского за границу, может быть в качестве домашнего учителя при какой-нибудь семье. Все-таки попечитель Московского учебного округа родственник Бакуниным.

— Жаль Надеждина,— сказал Мишель.— Но думаю, он и в ссылке будет работать.

Белинский покачал головой:

— Из ссылки он вернется другой. Вот увидите. Помяните мое слово. Уже не будет он более ратовать за торжество истины, за стремление к справедливости. О, искаженный хороший русский человек! Разумеется, прямых каверз, подобно Булгарину, делать не будет, не станет одним из сочинителей доносительской литературы. А просто превратится в покорное колесико этой огромной чиновнической машины подлости и насилия. Словом, совершит то же движение слева направо, которое совершают в поисках удобной жизни разные люди, начиная от Уварова и кончая...

Все слушали это странное пророчество. Но Виссарион молчал. Он вдруг впал в задумчивость.

— И кончая...— сказал Мишель,— уж договаривай.

Белинский очнулся:

— Поверишь ли, я с печалью смотрю на будущее Полевого, Неверова, Каткова...

Всю ночь Белинский жег бумаги, а рано утром вместе с Всегдаевым выехал из Премухина. В дождливый ноябрьский день он достиг московской заставы. Офицер, проверявший его подорожную, внимательно посмотрел на него и молвил:

— Вам придется, господин Белинский, не заезжая домой, немедля проследовать к его высокоблагородию господину обер-полицеймейстеру. Не извольте беспокоиться, я вас отвезу.

Допрос был краток. Тут же вскрыт чемодан. Бумаги унесены на просмотр в соседнюю комнату. Неистовый с трудом сдерживался, наблюдая, как чужие

руки роются в его вещах, перетряхивают скудную одежку и худое бельишко. Впрочем, все кончилось благополучно. В рапорте по начальству, который оберполицеймейстер благосклонно дозволил Виссариону просмотреть, сказано было, что «в имуществе Белинского не оказалось ничего сумнительного».

Было поздно, когда все это кончилось. Возок с Белинским поплелся, подпрыгивая на булыжной мостовой, по темным, словно притихшим улицам Москвы.

Несколько дней Виссарион сидел дома, ожидая ареста. Работал над своей «Грамматикой». Денег не было. Пришлось перехватывать у Ефремова, у Иванова. Зашел за тем же к Нащокину. Тот, конечно, не отказал и тут же принялся жаловаться на Пушкина:

— От Пушкина ни строчки. Толки самые пестрые. Говорят, он хотел стреляться с кем-то, но это отменилось, потому что противник якобы сватался к его свояченице. Есть и такой слух, что царь якобы принимал Пушкина. Не знаю, чему верить. Главное, не пишет. Признак недобрый. Как только обстоятельства позволят, поеду в Питер. Вот и ваше дело тогда разъяснится. Он ведь вас хочет...

Судьбы своей Пушкин не предвидел. Даже в ярости гнева, ревности, мести он рассуждал хладнокровно:

«Все преимущества на моей стороне. В тридцати шагах я не даю промаха в туза. Но я его не убью. Только подраню. За участие в дуэли его вышлют из России, как нежелательного иностранца. А заодно и этого старого павиана Геккерна. Большего мне не нужно. Я же отделаюсь выговором, самое большое — домашним арестом...»

Даже накануне самой дуэли он был совершенно

спокоен. Ровное рабочее настроение. Он составлял очередной том «Современника». Написал деловое письмо переводчице Ишимовой:

«Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Барри Корнуэлла. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше...»

Между тем судьба его была решена. Ему вынесен смертный приговор. Палачом назначен иностранец Дантес.

Узнав о гибели Пушкина, Нащокин помчался в Петербург, швыряя на станциях взятки, загоняя лошадей. Не раздеваясь, он вбежал в кабинет Пушкина. Тело еще не было вынесено. Над ним стояли двое. Теперь их стало трое: тишайший бесцветнейший Плетнев, выдохшийся либерал Вяземский и потухший вулкан Нащокин. Простреленный фрак Пушкина висел на стуле. Вяземский вынул оттуда бумажник. Там ничего не было, кроме трех 25-рублевых ассигнаций.

— Возьмем их на память,— сказал Вяземский.— У него не было друзей ближе, чем мы трое. Напишем на них дату и будем хранить их всю жизнь.

И каждый написал на своей ассигнации: «1837 года 29 дня января в 2 часа 45 минут пополудни умер Пушкин», и каждый бережно спрятал ее, чтобы хранить всю жизнь. И хранили. Всю жизнь. Все трое. Кроме одного. Того, кого Пушкин любил более всех. И кто Пушкина любил более всех: Нащокин. В худую минуту сбыл он драгоценную ассигнацию процентщику Павлу Петровичу, у которого был по уши в долгу. И сокрушался об этой утрате. Не очень, но сокрушался.

Отпевали Пушкина в придворной Конюшенной церкви. Горше всех рыдала Лизанька Хитрово. Ей казалось, что окружающие мало горюют. Особенно эти официанты во фраках с пучками разноцветных лент на плечах, бесстрастно стоящие вокруг гроба. Она сказала возмущенно соседке своей Шурочке Каратыгиной, указывая на этих бесчувственных оболтусов:

— Voyez vous, je vous prie, ces gens-sont ils insesibles? * Хоть бы слезинку проронили!

И тронула одного за локоть:

— Что ж ты не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?

Тот, полуобернув свое деревянное лицо с лакейскими бакенбардами, откашлялся и отбарабанил:

— Никак нет-с. Мы, значица, от гробовщика, по наряду.

Не от гробовщика ли работал и министр народного просвещения Сергей Уваров, когда разослал циркуляр, предписывая органам печати соблюдать в откликах на смерть Пушкина, как выразился министр, «надлежащую умеренность и тон приличия»...

— Я не верю! Ложь! Он не должен умереть! — кричал Белинский.

Через несколько дней он получил «Северную пчелу» с некроголом. Конечно, жизнь есть жизнь. И в те же дни Белинский договаривался с Краевским о сотрудничестве в его изданиях, и правил свою статью о Павлове, и готовился к отъезду на Кавказ. Но боль не проходила. Она усилилась, когда он открыл посмертный номер «Современника». Он словно заново

* Посмотрите, прошу вас, на этих людей, ну не бесчувственные ли они. *(Франц.)*

открыл Пушкина. Там были вещи дотоле неизвестные, запрещенные. Смерть писателя смягчает цензуру. Появились «Египетские ночи», «Тазит», «Русалка», «История села Горюхина», «Медный всадник».

Особенно поразил Белинского «Медный всадник». Он не знал, что перед ним был текст, искаженный домашней цензурой Жуковского. Поэт-царедворец, воспитатель императорских детей, живший в «Шепелевском доме» (так называлась та часть Зимнего дворца, где обитали лица царской свиты) испугался бунтарских начал этой великой поэмы. Под редакторской рукой Жуковского исчез заложенный в поэму символ восстания декабристов, образ единоборства личности с деспотизмом.

Через некоторое время Белинский писал Гоголю:

«Я не заношусь слишком высоко, но признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестней — имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников...»

Философическая глава

Все действительное разумно.

Гегель

Когда Станкевич, сопровождаемый Бакуниным и Белинским, вошел к себе, он увидел на полу посреди комнаты тючок, обшитый рогожей. Он подумал, что родители, как всегда, прислали ему из Воронежской

глуши, из имения Удеревка, домашних колбас, варенья, медовых коврижек, пампушек с груздями и еще какой-нибудь вкусной деревенской снеди. Однако, распоров посылку, он ахнул от радостного удивления: оттуда вывалились книги. Тут и «Логика», и «Феноменология духа», и «Эстетика», и «Гимназические речи», и «Энциклопедия» — словом, все тринадцать томов Гегеля. Спасибо Яшеньке Неверову! Это он постарался там в Питере. Что бы ни говорили о нем и сколь ни засушивает его служба в «министерстве погашения и помрачения просвещения в России», как прозвал насмешник Белинский ведомство Уварова, а Станкевичу Неверов оставался верен (да простится автору эта непроизвольная игра слов) и комиссию его выполнил с истинно дружеским рвением.

Вот когда можно будет, наконец, прильнуть к гегелевской мудрости в ее натуральной подлинности, а не через посредничество Ретшера, Вильма, Гёшеля и прочих истолкователей и исказителей. Белинский с грустью листал книги. Хорошо Мишелю и Николаю, оба досконально владеют немецким языком, вплоть до тончайших хитросплетений философической мысли. Впрочем, тут же Виссарион утешился,— Мишель заверил, что самолично проконспектирует в первую голову «Феноменологию духа», а затем и все прочее. Положили встречаться втроем у Станкевича ежевечерне и от восьми часов до одиннадцати погружаться в Гегеля по макушку.

Бакунин первый вырвался на гегельянский простор. Ну и разгулялась же там его молодецкая силушка! Он перевел «Гимназические речи», где великий философ, между прочим, настаивает на введении в преподавание воинских упражнений и религии. Ученики должны, заявляет философ, явить «пример

неизменной приверженности королю». Что ж, может быть, Бакунин опроверг это, или хотя бы поспорил с Гегелем, или просто высмеял его монархические призывы? Какое там! Благоговейно повторил их в том предисловии, которым он предварил «Гимназические речи», и все тиснул в «Московском наблюдателе», где к тому времени необъявленным редактором стал Белинский.

«Будем надеяться,— писал там Бакунин,— что новое поколение сроднится, наконец, с нашей прекрасной Русской Действительностью» и станет образцом «действительно русского человека, преданного царю и отечеству».

Нового бога водрузил Мишель на алтаре кружка Станкевича: Действительность. Она, дескать, выше жалкой и бесславной личности человека. Все в нашей жизни разумно. А вот французская революция была цепью неразумных кровавых сцен. И так далее, и все в том же ниспровергательски-благонамеренном тоне.

Сразу ли принял Мишель гегельянскую схиму?

Нет. Этому предшествовала борьба. Ибо для того чтобы убедить других, Мишелю недостаточно собственного магического красноречия. Ему надобно прежде всего убедить самого себя. А это серьезный противник. Да, это самое трудное, потому что изощренный ум Бакунина мгновенно воздвигал крепостные стены, которые он же должен разрушить.

Так случилось прежде всего с этим проклятым тезисом Гегеля, опубликованным впервые в его «Введении к философии права» и вторично во «Введении к «Энциклопедии»»: «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно». Мишель ощущал в себе борьбу двух гигантов. Силы их были равны.

Он не мог идти к Николаю и Виссариону со своими сомнениями. Он должен был вторгнуться в их

мозг как завоеватель. Но прежде надо было покорить то непокорное, что сидело в его собственном мозгу.

Различал ли Гегель, спрашивал себя Мишель, действительное и существующее? И является ли все существующее действительным? Или только такое, которое существует лишь потому, что не может не существовать? И как быть в таком случае с тем, что иные исторические события в потоке времени выясняются как неразумные? Остаются ли они действительными? И, напротив, можно ли допустить, что всё, признанное сознанием человека истинно разумным, неизбежно станет действительным?

Проклятый тезис! Он не давался. В нем было что-то неуловимое. В последний момент он выскальзывал из рук, как живое существо. Мишелю казалось, что он сходит с ума. Он действительно воображал это философское утверждение каким-то маленьким юрким зверьком, необычайно мускулистым и поросшим мягким, волнистым и скользким ворсом, который не давал возможности удержать его в руках.

Тогда Мишель приготовил ему хитрую западню. Все-таки Мишель артиллерист, а оружие артиллериста не только пушки, но и математика. Он пустил в ход прием приведения ad absurdum. Западня захлопнулась. Действительное оказалось разумным. Но в самый последний момент гегелевский тезис ускользнул сквозь прутья математической ловушки.

Мишель возмутился. Он шагал по улицам, не разбирая дороги, расталкивая прохожих, натыкаясь на стены, отдавливая кому-то ноги, провожаемый подозрительными взглядами будочников. Вся его натура борца негодовала.

А что если Гегель в этом проклятом тезисе зашифровал мысль о предопределенности исторических событий? А? Что если это был со стороны старика свое-

го рода протест против оказионализма, утверждающего, что всё существующее — плод случая? Вот Гегель и метнул в оказионалистов свой смертоносный тезис — нет, исторические события не случайны, они закономерны, они вытекают одно из другого, как следствие из причины. Именно этот процесс, то есть действительность, Гегель и называл разумным, то есть не случайным.

В натуре Мишеля не только тонкость мыслителя, но и сила борца. В критические минуты она всегда берет верх. Мишель не стал больше рыться в механизме тезиса, подобно ребенку, ломающему игрушку, чтобы узнать, как она устроена. Все действительно разумно — с этим он пришел к Виссариону.

Он не застал его. Белинский ушел в лес. Тимоша Всегдаев пытался увязаться за ним.

— Прости, друг, мне надобно походить одному,— сказал Белинский извиняющимся голосом.

Тимоша понимающе кивнул головой:

— Ясно, Виссарион Григорьевич, хотите подумать наедине с собой.

Белинский вдруг взорвался, словно вторглись в его самое потаенное:

— Ересь мелешь! Наоборот: я не хочу думать. Да-с! Обрыдли мне литературные дрязги... Все эти Полевые, да Гречи, да Межевичи и прочая плесень отечественной словесности. Жажду отдохнуть от моего беспокойства за искусство, за Россию, за человечество. Устал я — притом не только от врагов, но — уж ты меня прости — и от друзей. Все досаждает мне — и философия, и преферанс. Я ухожу, чтобы не думать. Вот именно: я ухожу в бездумье... Я, друг мой, сам себе надоел...

В ту пору лес в Москве — рукой подать, за любой заставой. Белинский шел напролом. Утопал по щиколотку в снегу. Снег лукавый, предательский, он продавливается при каждом шаге, а там — лед. Виссариону вправду сейчас не думалось. С елями да с соснами не разговоришься. Приятно спотыкаться о честные пни, а не о цензурные придирки, приятно, когда тебя хлещут по щекам не бездарные злопыхатели из «Северной пчелы», а еловые ветви, сахарно изукрашенные морозом, и снег ласково валится на шапку и воротник. Он счастливо засмеялся. Никого кругом. Тишина... Иззубренная верхушка бора...

Он огляделся. Почему, собственно, деревья не имеют личных имен, как люди или некоторые животные? Иное дерево до того особенно, так резко в нем выражена личность, что оно безусловно заслуживает имени. Вот, например, эта сосна у дороги. Она бесспорно господствует здесь. Одну ветвь она властно, с царственной бесцеремонностью вдвинула в чей-то сад за дорогой. И будьте уверены, хозяин польщен оказанной ему честью. Другую простерла высоко над дорогой, милостиво благословляя прохожих.

Да, она повелитель. Может быть, даже божество этих мест. Да, многорукое божество, как некоторые буддийские небожители, изображения которых привез из Китая монах Иоакинф Бичурин, с которым Виссарион познакомился на рауте у князя Одоевского. Не правда ли, могучие руки этой сосны, расходясь и вновь сплетаясь, вдруг напоминают то лиру, то кольцо, то тетиву? Но именно только напоминают, а не рабски уподобляются им, потому что в очертаниях ветвей есть то прелестное пренебрежение симметрией, которое всегда радостно глазу.

А эти тоненькие березки, которые, как фрейлины, почтительно окружили сосну! И даже фонарный

столб, по-солдатски прямой, похож на дворцового гвардейца на посту у царских покоев.

Никого кругом. Молчание леса. Ворчание леса. Рычание леса. У деревьев нет к Виссариону претензий, ни жалоб, ни требований, ни ожиданий. Они дружелюбно протягивают к нему свои сусальные ветви. Им все равно — Белинский он или кто иной...

Снег падает неохотно, словно его упросили или — под чьим-то нажимом: «Ну ладно, посыплюсь немного, черт с вами!»

Виссарион идет, взрыхляя снег глубокими галошами. Он погружается в прекрасное равнодушие природы. Вот это и есть действительность. Подлинная, разумная, гегелевская... Ему вспомнились слова Гегеля: «Все люди разумны; форма этой разумности — свободная воля; вот ее натура...» Незаметно для себя Виссарион снова обратился мыслями к философии и, как всегда в состоянии задумчивости, перестал замечать окружающее...

— Кончилась моя опека над родом человеческим,— заявил он, вернувшись к Станкевичу (там были Красов, Клюшников, Костя Аксаков — словом, все свои).— Нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола случайности. Значение моего отечества предстало мне в новом виде...

Так воцарился в этой кучке философствующих культ действительности. Так «Феноменология» и «Логика» Гегеля стали их библией. Так знаменитый тезис стал их символом веры.

— Основой мира является мировой дух,— проповедовал Виссарион яростно, как новый Савонарола.— И во всем мы видим самодвижение мирового духа в замкнутом круге.

Тимоша Всегдаев морщил лоб, стараясь понять.

Валера Разнорядов радостно кивал головой, хоть и ничего не понимал.

— Но кто же он, этот мировой дух? — решился спросить Тимоша.

— Ну как ты не понимаешь,— с важным видом вмешался Валера.— Он трансцендентная и непостижимая сущность.

— Да,— с удовольствием подтвердил Виссарион Григорьевич.— Мировой дух, Weltgeist, это абсолютная идея в чистом виде. Да! Идея! Дух! Кто не живет беспрерывно в духе, в абсолюте, тот живет в падении, тот — призрак.

Тимоша опасливо покосился на себя в зеркало...

Люди страстные даже в своих заблуждениях, Белинский и Бакунин восприняли тезис Гегеля как обожествление окружающей действительности. Виссарион шагал по этому пути в ногу с Мишелем. Он примирился с самодержавной властью, считая, что для России она закономерна. Он примирился с отсутствием в России гражданских свобод, считая, что это соответствует политической неразвитости русского народа. Он считал, что задача, стоящая перед Россией,— это нравственное совершенствование личности путем просвещения. Будущий революционер, впоследствии социалист, ниспровергатель устоев самодержавия, надежда и знамя молодой России, он стал на некоторое время бардом самодержавия, защитником его подлостей.

Да! Своим именем, которое тогда уже значило немало, Белинский поддерживал культ личности Николая Палкина, его гнусный кровавый режим. Он заявил, что «все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно». Он словно ослеп. Он не видел, что пренебрежение элементарными правами человека вело к беззаконию и произволу, а следовательно, к

упадку культуры в России, к застою в ее хозяйстве, к искажению нравственной природы людей — и рабов, и господ, к порче нравов, которая будет сказываться еще многие годы. Неужели все это вытекло из увлечения Белинским одним философским утверждением Гегеля? Неужели жизненное поведение человека — да еще такого темпераментного, как Белинский,— может порождаться каким-то туманным тезисом из сочинения о философских отвлеченностях?

В кружке Станкевича гегельянство приняло форму фанатической религии. Московские гегелисты решили, что сознание проходит три стадии в своем развитии. Оно движется от чувственной достоверности к познанию разумной действительности. Здесь преобладает инстинктивная жизнь разума.

— Этот период мы со Станкевичем называли «периодом пошлости»,— сказал Белинский.

— Что ж,— сказал Бакунин,— пожалуй. Инстинктивная природа разума действительно побуждает человека к таким поступкам, которые справедливо окрестить «пошлостью», ибо сознание тогда не знает ни своей природы, ни существа предмета.

Бакунин говорил непререкаемым тоном. В этом гегельянском монастыре, где установилась своего рода монашеская иерархия в развитии личности, где каждая философская обедня получала свой жаргонный титул, Мишель Бакунин стал чем-то вроде настоятеля.

Услышав, что следующую ступень сознания, его второй, или средний, период — господство чувств, в кружке нарекли «прекраснодушием», Мишель неодобрительно покачал своей львиной головой:

— Это мне кажется не очень удачным.

— Почему? В этом периоде жизнь сознания питают чувства.

— Пусть так. Но обратимся к истории. Характеристика духа здесь определяется искусством античной Греции, войнами Рима, событиями французской революции.

— То есть, ты хочешь сказать, Мишель, что сознание, наконец, постигает свою природу и поднимается до понимания смысла истории?

— Так говорю не я, а Гегель.

— В таком случае, что такое третий период, высший в развитии сознания? Гегель относит сюда создание религии.

— Не только. И науки. Наступает период самосознания интеллекта.

— Да! Через «падение» и «просветление». Так называли это мы со Станкевичем.

— Это неточно, это запутывает. Я настаиваю, Виссарион, чтобы ты прислушался к тому, что говорю я. В этом периоде дух упорядочивает все моменты познания — и религию, и философию, и науку, и искусства. Это есть момент постижения абсолюта.

Он говорил это с такой вескостью, что не оставалось сомнений: уж его-то, Мишеля Бакунина, сознание во всяком случае достигло третьего периода, тогда как все прочие, рукоположенные в гегельянский сан (включая Виссариона), еще барахтаются в болоте «пошлости» или в лучшем случае «прекраснодушия».

Да, Белинский неотступно шел за Бакуниным, иногда даже обгоняя его в философской ярости, безжалостно растаптывая свои прежние привязанности. Что-то истово-аввакумовское было в этой беспощадности. Так он сбросил с пьедестала своего бывшего (а кстати, и будущего) кумира — Шиллера, заявив, что его герои субъективны, что они безнравственны в отношении к абсолютной истине. Правда, не все дру-

зья согласились с Неистовым, трещинка пошла по кружку. Костя Аксаков, например, прямо заявил:

— Нет, Виссарион, ты сказал вздор. Шиллера я люблю именно субъективно, как друга. Когда ты дружишься с кем-нибудь, ты не станешь спрашивать наперед: вышел ли он и ты из субъективности, возвысились ли вы оба до конкретности? Не это основание дружбы...

Пройдет время, и Шиллер снова вернет себе любовь Белинского, который провозгласит его «благородным адвокатом человечества, яркой звездой спасения».

Но сейчас над всем властвовали философские схемы. В них друзья нашли единство и цельность миросозерцания, некий волшебный ключ, отворяющий все двери мироздания, притом ключ небольшой, удобный, помещающийся в жилетном кармане. Ключ назывался: абсолютный дух.

Язык друзей преисполнился философской терминологией. Они совали ее всюду — в свои письма, статьи, в повседневную речь. Показаться в обществе без знания Гегеля считалось в этой среде таким же срамным, как выйти на люди без штанов.

Появились шутки, пародии. Литератор Воейков писал литератору Краевскому:

«...Говоря языком Белинского, объективная причина действует на нас субъективно, то есть всеобщий мировой дух невидимо действует...» и т. д.

Пародийную фразу сочинил и Герцен:

«Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте».

 Издевательства над московскими гегельянцами



проникли даже на сцену (питерскую, правда). В. А. Каратыгин в свой бенефис поставил водевиль «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». Там в списке персонажей значился «Виссарион Григорьевич Глупинский (выдумка, как видите, не блещет остроумием), всё толкующий о гегелевской философии, об объективной индивидуальности и пр.».

У Каратыгина была особая причина злобствовать против Белинского. Он был уязвлен предпочтением, которое Неистовый отдавал таланту и искусству Мочалова перед его игрой. Каратыгины — Василий и брат его Петр — обстреливали Белинского со сцены. В другом водевиле, «Авось, или Сцены в книжной лавке», был исполнен такой не очень складный (и не очень грамотный) куплет:

Читать нет средства этих вздоров!
Крапивина прошу понять:
Его критических разборов
Сам черт не мог бы разобрать.
Весь образом каким-то дивным
Он бесконечно просветлел
И субъективно-объективным
Всем абсолютно надоел.

Кружок Станкевича, впрочем, не обращал внимания на эту водевильную шумиху. Люди веселые, талантливые, свободные от предрассудков, гордые своей дружбой, глубоко убежденные, они и сами порой подшучивали над своими святынями. Не только Георга Теодора Гегеля Белинский называл фамильярно: Егор Федорович. Он и Пьера Леру, переводя с французского, окрестил: «Петр Рыжий». Самое слово «философия» Станкевич произносил с издевочкой: «хвилософия». Смешливый по природе, он говаривал:

— Вот прочту всего Гегеля и получшею.

По поводу же гегелевского утверждения «in Aufheben seiner selbst sich selbst finden» * замечал:

— Отчего же это sich selbst finden не дается? Ведь когда хочется есть и щи стоят перед тобою, ты просто нальешь их себе и съешь. Отчего тут не так?

Да и сам Белинский не прочь был впоследствии подшутить над вульгаризаторами Гегеля, а заодно и над философским жаргоном. Прочтя статью Васи Боткина о немецкой литературе, он похвалил его:

— Славно откатал ты эту гнилую филистерскую сосиску — Гуцкова. Вот так бы хотелось отделать свиную колбасу — Рётшера. Тургенев сказал, что статьи Рётшера отзываются процессом пищеварения, а я возразил: нет, испражнения. Не было человека пишущего, который бы так глубоко оскорбил меня своей пошлостью, как этот немецкий Шевырев. Если бы Рётшер нашел у Шекспира или Гёте драму, состоящую в том, что проститутки прибили честную женщину, а полиция передрала бы за это проституток, он так бы написал о ней: субстанциональное право проституток, оскорбленное субстанциональной стихией честности, разрешилось в коллизию драки, которая, оскорбив субстанциональную власть полиции, была наказана розгами, после чего все пришло в гармонию примирения...

Но даже и в этот внутренне страшный для Белинского период многие положения, оценки и требования в его статьях были передовыми, вольнолюбивыми, плодотворными. Они вопиюще противоречили его же общей порочной философской, политической и эстетической позиции.

Но Неистовый не замечал этого противоречия. Он продолжал с прежним пылом проповедовать прими-

* В самоотречении обрести себя. *(Немецк.)*

рение с действительностью, стремление к мировому духу и прочие увлечения московского гегельянства. Он проповедовал их даже людям, никак не восприимчивым к постижению абсолюта, например молодой женщине, которую он сам называл «гризетка».

И в то же время с прежней страстью отстаивал он положение, что для искусства важней всего правда, как это делал и раньше в своей знаменитой статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»:

«Удивительно ли, что отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом. Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что в поэтическом представлении она равно прекрасна в том и другом случае потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия...»

Молодые люди

> Молодые птенцы не водятся в прошлогодних гнездах.
>
> *Сервантес*

Придя домой, Белинский застал у себя Тимофея Всегдаева. На столе лежала записка:

«Приходи ко мне, пофантазируем. Николай».

Белинский хлопнул себя по лбу:

— Совсем из головы: сегодня суббота. Пошли!

— Куда?

— К Станкевичу на ежесубботнее сходбище. Да ты что медлишь?

— Я, Виссарион Григорьевич, подумал: не захватить ли нам Валеру Разнорядова? Он давно стремится...

— Сейчас некогда. Надо поспеть к Николаю пораньше. Видать, у него дело ко мне.

Станкевич в ту пору жил на Дмитровке в пансионе Михаила Григорьевича Павлова, профессора физики, минералогии и сельского хозяйства. Впрочем, о физике с минералогией да о сельском хозяйстве из лекций его вряд ли чего почерпнешь. Вместо этих наук внедрял он в студентов начала философии. Станкевич снимал у него большую квартиру. Должно быть, влетала она ему в копеечку. Да что ему, не бедняк ведь...

Комнаты хоть и с низкими потолками, да просторные. Над диваном собрание трубок, одна даже с кальяном. Неистребимый запах табачного дыма. Шкафы с книгами, фортепьяно. Николай недурно бренчит на нем, аккомпанируя хоровым песням, до которых охоч весь кружок его. Чаще всего певали «За туманной горою» или из трагедии Хомякова «Ермак».

Белинский сразу заметил, что Станкевич сегодня непривычно серьезен. Тимоша с жадностью вглядывался в Станкевича. Блестящие черные кудри его, почти женские, спадают до плеч. По худому удлиненному лицу изредка пробегает мягкая улыбка. Но взгляд карих, широко расставленных глаз серьезен. Высокий лоб уходит назад — признак мечтательной натуры. Одет тщательно, сюртук сидит как влитый, светлый жилет, шелковый черный бант вокруг воротничка немыслимой белизны. Вся высокая ладная фигура Станкевича, его движения, повадки полны при-
 рожденного изящества. Да, он мягок, деликатен, добр,

доверчив. И все же, несмотря на то, что в созерцательной душе его нет тех бойцовских качеств, какими обладает Неистовый, ни властности, свойственной Мишелю Бакунину, именно он, Николай Станкевич, является главой кружка, и это только благодаря своей честности, прямоте и строгости воззрений. Станкевич отворачивается от действительности — и весь его кружок, как по команде, делает налево — кругом от действительности. Станкевич цитирует Шиллера: «Два цветка манят человека: надежда и наслаждение; кто сорвал один из них, тот не получит другого».

— Я,— решает Станкевич,— сорвал надежду.

И весь кружок строем срывает надежду. Не следует забывать, что все они очень молоды, и Станкевич, и ближайший друг его Красов, и Белинский, и все прочие. И много есть чисто юношеского в их экзальтации, романах, дурашливости.

Скоро выяснилась цель записки, оставленной Станкевичем у Белинского.

— Я с тобой совершенно согласен, Висяша,— сказал Станкевич, видимо продолжая, как догадался Тимоша, начатый давеча разговор,— выражать себя очень трудно. Человек, с которым говоришь, как-то самым видом своим сбивает на то, чтобы сказать не то, что чувствуешь... Ты понял меня?

— Отлично понял. Тогда не говорить, а писать надо.

— Я и пишу.

— Знаю, хоть никогда не говорил с тобой об этом.

Они словно забыли о Тимоше. Он сидел тихо, боялся шевельнуться, боялся — заметят его и прервут разговор, а он такой интересный.

— От кого знаешь, Висяша?

— От Яши Неверова. Но что́ пишешь, не знаю.

— Стихоблудствую.

— Верно, вспомнил. Яков видит в тебе второго Пушкина.

— Шутит! Перо плохо повинуется мне.

— Прочти, Николай.

Станкевич не стал чиниться. Прикрыл ладонью глаза, припоминая. Начал:

Пускай гоненье света взыдет
Звездой злосчастья над тобой,
И мир тебя возненавидит:
Отринь, попри его стопой!
Он для тебя погибнет дольный;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия...

Поднял глаза на Белинского и, что-то поняв в его взгляде, вдруг оборвал чтение.

— Нет, Белинский, я не поэт.

— Но все же пишешь.

— Пишу. Пишу потому, что хоть мало мое дарование, но стихи мои — это мой разговор с самим собой. Так я спасаю мои духовные сокровища от грубого вмешательства жизни с ее суетой и заботами.

«Да, легко тебе спасать духовные сокровища, имея сокровища земные...» — подумал Виссарион, оглядывая барскую обстановку.

Он не сказал этого вслух, потому что любил Николая и не хотел ранить эту чувствительную душу. Виссарион понимал, что вот и только что своим неодобрением, хоть и молчаливым, стихов Николая больно задел его. Что делать! Да, Николай не поэт, хоть пишет стихи, не философ, хоть комментирует Гегеля, не музыкант, хоть музицирует. Он просвещенный любитель. Просвещенный и просвещающий. Один из каменщиков, закладывающих по кирпичам фундамент русской культуры.

Вдруг заметив Тимошу, боязливо съежившегося в темном углу дивана, Виссарион сказал:

— Чую, ты там, Тимофей, уже чего себе навоображал. Знай же, что мы со Станкевичем согласны во многом. Мы оба обожаем Гоголя, а Кукольника считаем чушью. Каратыгин и мне, и ему — правда ведь, Николай? — кажется холодным. Стихи Бенедиктова мы почитаем бессмысленным набором слов...

Потом, обратившись к Станкевичу:

— Публиковать не намерен?

Станкевич пожал плечами:

— Да если бы даже и хотел, цензура все равно прихлопнет.

— Ты прав,— задумчиво молвил Белинский.

Всегдаев удивился и, осмелев, решился вставить слово:

— Да ведь в ваших стихах, Николай Владимирович, ничего предосудительного узреть нельзя.

— Узрят,— засмеялся Станкевич.— Уж если узрели в «Красавице» Гюго...

— Опростоволосился Сенковский,— усмехнулся Белинский.

— А что? — продолжал недоумевать Тимоша.

— Декабрьскую книжку «Библиотеки для чтения» смотрел?

— Смотрел.

— Смотрел, да не видел.

Белинский взял со стола журнал и быстро отыскал нужную страницу.

— Вот!

Всегдаев прочел:

— Виктор Гюго. «Красавица».

— Читай!

Бесшумно шевеля губами, тот прочел. Потом поднял на Белинского недоумевающие глаза.

— Эх ты, несмышленыш! Тебя надо лицом ткнуть в книгу.

И он отчеркнул ногтем строки:

И если б богом был, селеньями святыми
Клянусь,— я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!

— Соображаешь?

— Ничего в этом не вижу.

— Ты не видишь, а петербургский митрополит Серафим увидел да лично прочитал это стихотворение царю: посрамление церкви!

— Ну и...

— Царь повелел книгу изъять, цензора посадить на гауптвахту.

Квартира меж тем наполнялась народом. Историк Строев и востоковед Петров затеяли разговор о Гегеле, к которому большинство в кружке относилось со школьническим преклонением.

— Для познания жизни,— заметил Строев, отражая нападки на свою науку,— исторические факты имеют не меньше значения, чем умозрительные построения.

Это вызвало негодующие возгласы.

— Ты неправ, Строев,— мягко сказал Станкевич.— Ты уткнулся носом в исторические фактики и не видишь того, что выше опыта, то есть ты отдалился от перехватывающего духа. Нет, нет, Строев, философия выше истории, выше естествознания, выше поэзии. Я, например, не понимаю естествоиспытателя, который считает ножки у козявок. Я не пони-

маю поэта, отдающегося на волю своих субъективных поэтических грез. Я не понимаю вашего брата историка, который, начав с Ромула, за целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия. Нет, Строев, все эти ученые не абсолютные личности. Только через философию ты сможешь достигнуть объективного наполнения и ощутить свое единство с субстанцией конкретной жизни.

Тимоша уважительно хлопал глазами и ничего не понимал, ибо все эти «объективные наполнения», да «абсолютные личности», да «перехватывающие духи» — из того философского жаргона, которым щеголяли в этом кружке.

Разговор продолжался за столом. Ужин простой — чай да хлеб с маслом. Ни вина, вообще ничего хмельного. Опьянение — чисто умственное. Во время этой пастушеской трапезы встал Костя Аксаков, высокий юноша атлетического сложения с несколько татарским лицом.

— Господа,— сказал он.— Гоголь написал новую повесть: «Коляска».

Восторженные восклицания. Белинский крикнул:

— Наконец-то! Когда Гоголь молчит, это сущее разорение для нашей литературы!

Отовсюду вопросы:

— Где можно ее прочесть?

— Господа, она еще не напечатана, она только имеет появиться в «Современнике».

Вздохи разочарования.

Аксаков подымает руку:

— Но, господа, эта повесть здесь.

— Где?!..

— У Николая...

Все взгляды обращаются на Станкевича.

Он, улыбаясь, извлекает из кармана тонкий сви-

ток и потрясает им в воздухе. Благоговейная тишина. Развернув, он начал читать:

«Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять *** кавалерийский полк»...

Дружный смех. Белинский слушал восторженно. Станкевич читал хорошо. У него вообще были актерские наклонности. Он умел искусно разыгрывать фарс в знакомых лицах. Вот и сейчас, закончив чтение и подойдя к окну, он с уморительным сходством изобразил адъюнкта греческой словесности Василия Ивановича Оболенского: как-то уменьшился ростом, скроил лицо в похоронно-торжественную мину и, мешая бас и дискант, запел из Гомера: «Муза, поведай о том многоопытном муже...» Все так и покатились со смеху. Но тут Саша Ефремов крикнул:

— Осторожно, вот он!

Действительно — дьявольское совпадение! — на улице, как раз против окна, проезжал в коляске Оболенский.

Станкевич смущенно:

— А вдруг заметил?

Среди наступившей тишины застенчивый Вася Красов неожиданно сказал:

— А ничего, он подумал, что здесь зеркало стоит.

Все так и грохнули смехом. Но Станкевич все же предпочел задернуть шторы,— оно полезно и в том отношении, дабы многолюдством собравшихся не воспалять подозрительности полиции и добровольных соглядатаев. Тем более, что вольность суждений возникала в разговорах этих молодых людей поминутно и непроизвольно. Услышав, как Станкевич вдалбливает юному Тимоше Всегдаеву свою всепримиряющую философию: «В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего»,— Алеша Марков, живописец, воскликнул:

— Существования одного голодного нищего довольно для меня, чтобы разрушить гармонию природы!

Разговор этот, между прочим, передал Герцену Яша Почека, посещавший и его кружок. Герцен пожал плечами и сказал:

— Мы можем холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться с ним не можем. Их кружок философский, наш политический. Мы не противоположны, мы просто различны. Они там себе вычерчивают философские системы. Мы же мечтаем о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов...

Правда, под конец своей короткой жизни Станкевич разочаруется в «примиренности», окрестит ее «летаргией духа», увлечется социальными вопросами, и Бакунин назовет его «идеалистом, который сам проклял свой идеализм».

Умозрительные отвлеченности постепенно расшатали кружок Станкевича. Он угасал. Слишком велико было противоречие между гладкими, ухоженными философскими аллеями, по которым степенно прогуливались молодые московские любомудры, и грязным кровавым хаосом жизненной действительности.

Бакунин упрекал Белинского в пренебрежении кружком.

— Неужели, Мишель,— ответил Белинский,— ты не видишь, что очарование нашего круга исчезло. Мы стали смотреть друг на друга, как на больных, и, сходясь, боимся расшевелить раны один другого.

Опустел престол кружка. Станкевич уехал за границу. Тотчас объявился претендент — Бакунин. С отъездом Станкевича он воспарил. Он считал, что призван возродить кружок. Он импонировал окру-

жающим диалектической мощью своего ума. Самая его наружность впечатляла неотразимо. Все в нем было велико — рост, голова с гривой вьющихся волос, и весь он был, по выражению Белинского, львообразен. Взгляд его, проницательный и отважный, покорял и очаровывал. Он ел, как герои Рабле, он не знал меры в работе, пот струился с него ручьями, припадки его лени были так же велики, как и его титаническая усидчивость.

Белинский то негодовал на него, то им восхищался.

— Мишель во многом виноват и грешен,— говорил Виссарион друзьям,— но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки,— это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа...

Свое завоевание кружка Бакунин начал с того, что подверг жесточайшей критике своих ближайших друзей.

— Я люблю Станкевича,— заявил он,— но он не на верном пути. Он ищет в философии начало познавательное. А я — душевное совершенствование. Люблю и тебя, Виссарион. Ты человек духа. Но и ты на неверном пути. Ты слишком влезаешь в житейскую суету, в жалкий здравый смысл, борешься с ветряными мельницами и пренебрегаешь стремлением к высокому целому.

Никаких возражений Мишель не признавал. И вот эти-то его черты — властность, душевная сухость, догматизм мышления, раздутое самомнение, диктаторское навязывание своей воли, при всем блеске его дарований,— только ускорили распад кружка.

В ту пору случилась минута, когда стойкость духа покинула Белинского. Минута, не более. Она мино-

вала молниеносно, но она была и оставила след в виде нескольких строк к Косте Аксакову.

Это совпало с крайне бедственным положением Белинского.

Немолчный гул нужды звучал сейчас в его жизни с особенной пронзительностью. Друзья помогали. Не раз перехватывал Виссарион у Нащокина. Все это угнетало его крайне. Существование его нельзя было назвать только бедностью. Это была нищета иссушающая, унизительная, подкашивающая здоровье. И подкосившая. Белинский дошел до отчаяния. Накатилась минута слабости. Тогда-то он и поделился своим отчаянием с Костей Аксаковым.

Почему именно с ним? Почему не с Боткиным, не с Бакуниным, не с Клюшниковым, не со Станкевичем, наконец, с которыми он был связан теснее, интимнее? Почему Белинский избрал самого юного из всех «станкевичистов», самого житейски неопытного, еще не оперившегося, не сложившегося, для того чтобы доверить ему свою потаеннейшую исповедь, от которой, впрочем, он сам тут же с негодованием отказался?

Вся дружная семья Аксаковых была мила Белинскому. Он часто бывал в их обширном деревянном доме. Там все дышало гостеприимной приветливостью, патриархальным хлебосольством, старомосковским широким радушием. Белинский почти влюбился в Костю. «Благороднейший, чистейший юноша»,— говорил он о Косте. И именно эти качества Виссарион и в дальнейшем подчеркивал в нем, даже когда разорвал с ним. «Восторженный, беспредельно благородный, чистый сердцем»,— говорил о Косте Аксакове Герцен со свойственной ему трезвостью и меткостью в характеристиках. Все сходились на том, что в этом огромном, богатырского сложения юноше

было и всегда оставалось что-то детское, непорочно девственное.

В кружке Станкевича Костя был самым молодым. Когда там возникали споры (а когда они там не возникали!), Станкевич, Белинский, Боткин, Красов были заодно против язвительного скептика Клюшникова. Костя держался в стороне. У него была особая позиция. Какая? Как это ни странно в таком юном существе, Костю отталкивало неудержимое свободомыслие его старших товарищей, их критика окружающей обстановки.

Вот тогда-то Белинский впервые заговорил о фанатической ограниченности в характере и воззрениях Константина.

— Благороднейший, чистейший юноша,— продолжал он по-прежнему отзываться о Косте,— но...

И стал прибавлять сокрушенно:

— ...но в голове его какая-то узкость, несмотря на глубокость духа, а в характере неподвижность и упрямство.

Но все же Виссарион любил Костю и даже в пору наступавшего между ними охлаждения обратился к нему с шутливым посланием в стиле «Илиады», которой он тогда восторгался:

«О Константин вероломный, коварный друзей забыватель!
Зевса молю: да Кронион, могучий перунов метатель,
Молний браздами тучное тело твое избичует!
...Древнего старца Омира я *чту* — и мне, благодарный,
Оный божественный старец гекзаметр — дар сребролукого Феба,
Мне завещал — и оным цыдулку к тебе написал я...

Несмотря на сердечное тяготение с обеих сторон, расхождение между ними ширилось. И не могло не шириться. Белинский делился со Станкевичем своими наблюдениями над грустными переменами в натуре

Кости Аксакова. А впрочем, переменами ли? А не справедливее ли сказать: наоборот — закреплением и развитием того, что в зародыше давно жило в этой прямодушной натуре.

— Ты его знаешь,— с огорчением сообщал Белинский Станкевичу,— он, коли хочешь, много переменился, но, впрочем, все тот же. В нем есть и сила, и глубокость, и энергия, он человек даровитый, теплый, в высшей степени благородный, но...

Опять это «но», неизменно появляющееся, когда речь заходит о добродетелях Константина Аксакова!

— ...но благодаря своему фанатизму, лишающему его движения вперед путем отрицаний, он все еще обретается в мире призраков и фантазий и даже и не понюхал еще действительности...

Стороны равномерно отдалялись друг от друга. Возможно, страдали от этого, но отдалялись. Одновременно с тем, как Белинский оповещал об этом Станкевича, Костя Аксаков признавался в том же своим братьям. С удивительной симметричностью шли эти два потока признаний.

— Белинский лучше всех моих приятелей,— делился Константин со своими братьями,— в нем есть истинное достоинство, но я с ним уже не в прежних отношениях, хотя люблю его больше всех остальных.

Костя сблизился с Хомяковым, с Киреевскими. Но пошел дальше них по пути внешнего, так называемого квасного патриотизма. В конце концов Белинский окончательно разорвал с ним.

Но в ту пору, когда ничто еще не омрачало их дружбы, именно на широкую грудь Кости Аксакова излил Виссарион свои горести с потрясающей откровенностью:

«Честная бедность не есть несчастье, может быть, для меня она даже счастье; но нищета, но необходи-

мость жить на чужой счет — слуга покорный,— или конец такой жизни, или черт возьми все, пожалуй, хотя и меня самого с руками и ногами. Если грамматика решительно не пойдет, то обращаюсь к черту, как Громобой, и продаю мою душу с аукциона Сенковскому, Гречу или Плюшару, что все равно, кто больше даст. Буду писать по совести, но предоставлю покупщику души моей марать и править мои статьи как угодно... В Москве кроме голодной смерти и бесчестия ожидать нечего... Мне надо выплатить мои долги, а их на мне много, очень много...»

Однако, придя в себя, Белинский сам отшатывается, негодуя, от этих своих слов:

«Все, что я писал тебе... все это было плодом минуты отчаяния и ожесточения. Теперь, когда я несколько спокойнее... не хочу продавать себя с аукциона...»

Виссарион прервал письмо. В комнату вошел без стука мальчик из кухмистерской. Он поставил на стол кастрюлю, обернутую в салфетку сомнительной чистоты, и вопросительно посмотрел на Белинского. Пошарив в кармане, Виссарион вынул несколько монет и дал их мальчику. Тот все не уходил.

— Чего тебе?

— Кастрюлю-с...

Белинский снял с полки миску и перелил туда содержимое кастрюли. Мальчик взял ее, сунул в карман салфетку и вышел.

Суп пахнул дурно несвежим мясом. Белинский густо его наперчил. Разделавшись с супом, он принялся за кусок говядины размером с детскую ладонь. Его пришлось также поперчить.

Пообедав, Белинский закурил и вернулся к письму:

«...не решусь ни за что в мире, ни за какие блага видеть мои статьи искаженными и переделанными не только рукой какого-нибудь негодяя Сенковского, но и самого почтенного и доброго Жуковского, или, сказать яснее, никого в мире...»

Субботы Селивановского

...просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы, не стесняясь... тут и факты, и слезы, и хохот, и теория...

Герцен

Гостей еще в прихожей встречал самолично Николай Семенович. Отстранял лакея Прошку и сам рвался снять с гостя пальто. В последующей затем борьбе деликатностей хозяин заявлял:

— Я член общества взаимного раздевания и надевания пальто.

Штаб-лекарь Кетчер Николай Христофорович в конце концов рявкнул:

— Пора бы тебе, Николаша, сменить наконец дежурную остроту. Эта уже истлела и от старости сыплется.

Сам оглушительно захохотал и сбросил на руки хозяину свой черный плащ на красной подкладке. Николай Семенович кисло улыбнулся, а в душе решил больше этого грубияна на свои субботы не звать. Но тут же признался себе, что ведь мера эта ни к чему не приведет, ибо Кетчер не из тех людей, которые, собираясь в гости, придают значение такой мелочи, как отсутствие приглашения. Однако насмешку его хозяин из головы не выбросил, а упря-

тал в то досье памяти, на котором значилось «Расчеты к расплате».

Уж до того осторожен Николай Селивановский, что не только имени своего, но даже и псевдонима не ставит под своими писаниями в «Молве», изложенными, кстати сказать, языком суховатым и неряшливым. Правда, пишет он мало, а больше занимается делами типографии, которую унаследовал от отца.

Вот типография-то и возбудила в нем честолюбие. А я-то чем хуже всех этих Надеждиных, да Клюшниковых, да Красовых и как их там еще звать? Белинского, например, выгнали со второго курса, а я универсант, кончал вместе с известным поэтом Полежаевым, не к ночи будь это имя упомянуто. Блистать в литературе страсть как хочется! А дарованьице с гулькин нос. Вот то-то и оно! Ведь Николай Семенович начисто лишен даже такой первоначальной черты, необходимой таланту, как непосредственность. Нет у него естественных ответов на внешние раздражители. Но чтобы не отличаться от других, он прикидывается то возбужденным, то растроганным, то разгневанным и так далее, оставаясь в то же время совершенно холодным. Он просто включает внутри себя различные кнопки, на которых значится: «волнение», или «негодование», или «умиленность», или «восхищение», или «справедливый гнев» и т. п. В конце концов, единственное сколько-нибудь сильное чувство его — зависть. И литературные субботы свои, пожалуй, завел он больше из надежды придать себе некую значительность в мире искусства, которое он несомненно любил. Но, заметил как-то Белинский, хоть Николай Семенович — эгоист, сплетник, трус и вообще протоканалья, однако при всей мелочности не чужд иногда, представьте, отзывчивости и однажды даже по записке Виссариона, нахо-

дившегося в совершенной крайности, ссудил ему двести пятьдесят рублей, которые тот просил на срок не менее пяти месяцев. Белинский, как все широкие и горячие натуры, был чувствителен к благородным движениям сердца, как бы случайны они ни были.

Николай Семенович дружески подхватил Кетчера под руку и ввел в гостиную. Оба рослые и очень разные. Кетчер — взлохмаченный, мешковатый, с блистающими глазами, с крупными ртом и носом, как бы рвущимися из его лица, чрезмерно прямолинейный, безгранично обидчивый, в дружбе доходящий до самозабвения, назойливый моралист и большой мастер к месту и не к месту резать в глаза правду-матку.

А рядом Селивановский — элегантный, сдержанно любезный, слегка позер, не очень разговорчивый, но дока по части неглупых реплик, никогда не теряющийся, но почему-то с беспокойными глазами под высоким лысеющим лбом.

Появление Кетчера было встречено приветственными криками:

— А, упсальский барон!

Так называли Николая Христофоровича за его полушведское происхождение. Он набил трубку крепчайшим табаком и, зловонно дымя, пошел пожимать руки гостям, которых уже изрядно понабралось в обширной гостиной. Было тут несколько артистов, преимущественно из Малого театра, Щепкин Михаил Семенович, славный наш комик, а впрочем, блиставший и в чувствительных ролях. И Петр Гаврилович Степанов, артист, а сверх того еще и художник-гример, но наиболее отличавшийся в комическом подражании нашим известным артистам. Мочалова, правда, еще не было, но Катерина Федоровна, жена Селивановского, шепнула Кетчеру, что после спектакля к ужину Павел Степанович обязательно будет.

Был тут композитор Варламов Александр Егорыч, заглянул, но вскоре исчез издатель «Московского наблюдателя» Андросов. И оба брата Полевые пришли, Ксенофонт и Николай,— этот нервически сжимал в руке объемистую рукопись. Прибежал легкой походкой своей Вася Боткин с цветной шапочкой на облысевшей голове и тотчас бочком завертелся среди гостей. Явился несколько запоздавший Белинский, смущенно поглаживая недавно отпущенные усы — предмет изощренных шуток Селивановского. Был здесь и друг наш Тимоша Всегдаев, коему удалось наконец ввести Валеру Разнорядова в этот московский дом, не отличавшийся, впрочем, большой разборчивостью, в противоположность, например, салону Екатерины Левашевой на Ново-Басманной, где царствовал Чаадаев и куда проникнуть не своему было много труднее.

Надо полагать, что Валерка был малый любознательный, он подсаживался всюду, где закипал разговор. А главным образом, к Белинскому. Он, можно сказать, не отставал от Виссариона Григорьевича, впивал каждое его слово. Такой интересант до всего выдающегося, этот Валерка Разнорядов! Услышав имя Станкевича, он тотчас прильнул к Белинскому.

— А зачем вам Станкевич? — удивился Неистовый, вглядываясь в круглое, умильно добродушное лицо Валеры.

— Влечет меня, Виссарион Григорьевич, его необыкновенность.

— А в чем она, собственно?

— Как же-с! Скопище талантов! Он и музицирует, он и стихи слагает, он и философию штудирует.

— Да у него есть только один талант.

— Какой?

— Доброта.

— Доброта...— протянул Валера вроде как и восхищенно.— Так чем же, позвольте полюбопытствовать, Виссарион Григорьевич, он занимается? Каков его фах? Я разумею — занятие? Или же можно предположить, что, так сказать, ничем особенно?

— Отчего же, у него есть ремесло.

— Какое?

— Доброта.

— Ну... Доброта... Так, значит, он, как я и чувствовал, совершенство во плоти, идеальный человек!

— Не скажите. У него есть порок. И крупный.

— Какой же?!

— Доброта.

Белинский встал и, несколько иронически глянув на Валерку, пошел в угол, где Боткин, поводя рукой с дымящей сигарой, разглагольствовал о самой современной, самой нынче модной поэзии.

— Не говорите мне о Лермонтове. Много шумят ныне об этом молодом гусаре. Поэт мысли и так далее. Но ведь этот «гусар мысли» отнюдь не старается, чтобы мысль его была выражена изящно. Его занимает только мысль и боле ничего. А от этого у него какая-то металлическая прозаичность в выражениях.

— Так это ж хорошо! — сказал Белинский.

— Ну, у тебя, Висяша, вечно антиподические мнения,— отмахнулся Боткин.— В тебе демон противоречий.

— Нисколько. Я просто считаю, что для того, чтобы в другом чувствовать изящное, надо самому обладать чувством изящного. Не каждому это дано.

— Это что же,— вскинулся Боткин,— выползень против меня? Личность? Я уж не имею права заявить о том, что мне не нравится ваш Лермонтов!

— Ах, тебе не нравится? — сказал Белинский голосом, не предвещавшим ничего хорошего.— Что ж,

это неизлечимо. Поэтическое чувство, восприимчивость к изящному — это ведь тоже своего рода талант. Человек, лишенный эстетического чувства, стоит на степени животного.

— Ну, знаешь, брат...— начал Боткин задыхающимся от раздражения голосом.

Но Белинский перебил его:

— Ты, Васенька,— сказал он мягко,— сибарит, сластена. Тебе, вишь, давай красоты да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами.

Все засмеялись и Боткин тоже, может быть несколько принужденно, а Виссарион уже далеко, он подсел к Михаилу Семеновичу Щепкину. Тот допрашивает хозяина дома. Сквозь говорок его, мягкий, округлый, как и все его существо, пробивается некая досадливость:

— А время-то идет, Николай Семенович. Скажите честно, дождусь я в этом сезоне вашей пьесы?

Белинский поражен:

— Вот уж не предполагал, Николай Семенович, что вы пробуете себя для театра.

Селивановский скромно улыбнулся:

— Не столько для театра, сколько готовлю специально для Михаила Семеновича «Виндзорских кумушек» Шекспира.

— Многого жду от вашей работы, Николай Семенович,— сказал Щепкин ласково,— там роль Фальстафа — пальчики оближешь.

Он взглянул на задумавшегося Белинского и спросил обеспокоенно:

— Разве не так, Виссарион Григорьевич?

Тот пожал плечами:

— Совершенно справедливо, Михаил Семенович. Просто я не знал, что вы, Николай Семенович, в таком совершенстве знаете английский.

— Я с французского.

Белинский развел руками:

— Перевод с перевода... Да еще посредственного — Гизо. Это, простите, совсем никуда...

— Шекспир всегда Шекспир,— сказал Селивановский сухо.

Белинский молчал. Николай Полевой, сидевший тут же, тонко улыбался и тоже молчал. Даже Кетчер опустил глаза и усиленно раскуривал трубку.

Неловкое молчание прервал, как ни странно, Валера Разнорядов, совершенно уверенный в том, что его юность и непосредственность дают ему право задавать наивно бесцеремонные вопросы:

— Как, по-вашему, Виссарион Григорьевич, разве Фальстаф для нас фигура живая? И вообще, разве в нашем русском обществе есть шекспировские типы? Леди Макбет, например? Или Ричард III? Или Гамлет?

— Успокойтесь, молодой человек,— сказал Белинский,— в вас нет ни капли Гамлета.

Все засмеялись. Атмосфера разрядилась. Валера помотал головой и заметил добродушно:

— Уж очень вы язвительны, Виссарион Григорьевич.

— Это у меня от отца,— усмехнулся Белинский.

— Но, правда, и отходчивы.

— А это у меня от матери.

И, как ни в чем не бывало, продолжал, ни на кого не глядя, словно обращаясь к самому себе:

— Когда кто-нибудь — все равно, русский или англичанин — встает перед необходимостью пойти на подвиг сквозь лишения и страдания, тогда в нем рождается Гамлет. Перед ним выбор: или поступить по своим убеждениям, или пожалеть себя. И нет человека, который был бы чужд такой борьбы, хоть вре-

менной. И те, кто в декабре вышли на Сенатскую площадь...

Селивановский тотчас резко:

— Прошу не о политике.

— Полно! — вскричал Кетчер.— Отец твой, Николаша, был другого пошиба. Далеконько откатилось яблоко от яблони.

Полевой Николай остановил его:

— Я сам, Николай Христофорович, старый забияка. Но есть предметы, которых в большом кругу лучше не касаться.

— И потому «Гамлет» пьеса современная,— продолжал Белинский, словно и не заметив этой короткой перепалки.— Это о нас с вами, это о нашем поколении, о наших порывах от того, что есть, к тому, что должно бы быть. Но разумеется, есть у Шекспира тип, противостоящий Гамлету: Полоний. Этот ловко умеет править своей ладьей по грязному болоту мелочных интересов. Он умеет кланяться низко и говорить сладко с сильнейшими его и свысока уничтожить своим величием тех, кого он считает ниже себя.

— Как же понимать,— не унимался Валера.— Гамлет — это вопрос политический или нравственный?

— А есть, друг мой,— сказал Белинский спокойно,— разные нравственности. Одна, скажем, зовет делать добро людям, даже жертвуя собой. Другая, к примеру, делать добро самому себе, угнетая для этого людей. О них-то и сказал поэт:

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

— Это какой же поэт? — затараторил Валера, который семенил за Белинским.— Неужто Шекспир?

Это где же напечатано? А может,— он понизил голос,— а может, Полежаев?

Белинский остановился:

— Не стыдно, юноша? А еще студент-словесник. Срезался, брат, наелся грязи! Пушкин! «Цыганы»!

За фортепьяно сидел Варламов, тучный, круглолицый, несколько смахивающий на портрет славного писателя де Бальзака. Он напевал, сам себе аккомпанируя:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня.
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла.

— Нет, ты что-нибудь настоящее цыганское! — закричал Кетчер.

Александр Егорыч нахмурился, потом ударил по клавишам и запел слегка в нос по-таборски:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми глазами моя душечка...

Остальные подхватили, хлопая в такт ладошами. Подпевал и Виссарион. А потом вдруг запел неожиданно чисто и верно:

— Allons, enfants, de la patrie! *

Кое-кто подхватил, кое-кто быстро отошел от фортепьяно. Селивановский ворвался в круг поющих и поспешно закричал, покрывая их голоса:

— Прошу к столу, господа!

Все повалили в столовую. Стол был накрыт.

— Где же шампанское? Опять зажал? — заорал Кетчер.

* Вперед, ребята, за родину. *(Франц.)* (начало «Марсельезы».)

На столе, как каждую субботу, стояли графины с красным вином. Перед Кетчером, впрочем, поставили две бутылки «клико», и он успокоился. И не столько он любил пить, сколько потчевать. Вот и сейчас он пошел с бутылками вокруг стола, наливая каждому и приговаривая:

— Ну же, братец, пей!

Со всеми он на «ты», даже с теми, кого увидел впервые. Юный Валера Разнорядов этим весьма польщен.

Эту субботу Николай Семенович счел поначалу удачной. Николай Полевой прочел за ужином два акта своей драмы «Граф Уголино». Белинский слушал с непроницаемым лицом, а впрочем, похвалил, хоть и сдержанно.

Все развеселились, когда Петр Гаврилович Степанов спародировал напыщенную декламацию Каратыгина.

Пришел Мочалов в сопровождении поэта Клюшникова.

Иван Петрович Клюшников, весельчак и меланхолик, то мертвенно вялый, то перевозбужденный, стал в позу и, простерев руку к Белинскому, выкрикнул с пафосом:

Аполлон мой, Аполлон,
Аполлон мой Бельведерский!
Виссарьон мой, Виссарьон,
Виссарьон мой, вельми дерзкий!

Белинский радостно захохотал и поманил его к себе. Тут же познакомился с Мочаловым, усадил его рядом с собой, принялся угощать. Наслышанный о пристрастии артиста к вину, внимательно всмотрелся в него — нет, ничего, в порядке. Наложил ему да и себе жареной говядины, приговаривая:

— Она более всего полезна для людей, ведущих сидячий образ жизни.

— Ну, ты известный блинохват! — закричал Кетчер и подскочил с бутылкой шампанского, но Виссарион отстранил его, говоря:

— Уж лучше позволю я себе малую толику очищенной.

Мочалов же одним духом осушил бокал шампанского, что, впрочем, не помешало ему тотчас согласиться на просьбы окружающих изобразить что-нибудь из своего репертуара. Он встал и ничего особенного, казалось бы, не сделал со своей наружностью, просто взбил на лбу клок волос да утопил подбородок глубоко в воротник,— а ведь мгновенно перенес всех в моды за десятилетия назад. И начал:

— Французик из Бордо, надсаживая грудь...— ну, и так далее, и дивный голос его придавал грибоедовской страсти новую силу.

После этого взгляды всех естественно обратились к Щепкину. Михаил Семенович не стал чиниться и, подрагивая полными розовыми мясами своего лица, ответствовал монологом Фамусова. Сел под рукоплескания и утер слезы, которые в последнее время стали часто накатываться на его глаза в минуты волнения.

Селивановский прямо расцвел и обменивался с женой торжествующими взглядами — вот де как хороша наша нынешняя суббота!

На этом, впрочем, чтения не кончились. Снова упросили Мочалова. Правда, к этому времени он уже выпил несколько фужеров не без деятельного участия Кетчера. Но вино еще не действовало на него, или, быть может, он трезвел, когда прикасался к поэзии. Во всяком случае, козловское стихотворение,—

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили.

И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили...—

— показалось слушателям словно отлитым из бронзы.

Читал и Иван Петрович Клюшников свое столь любимое всеми «Половодье»:

Я люблю с простонародьем
Позевать на божий мир;
Я плебей — и половодье
Для меня богатый пир...

И всюду мелькал Валерка. Он как-то прилеплялся к собеседнику и не отходил, пока не насасывался занимавшими его сведениями. К Мочалову, например, он пристал с вопросом, какую пьесу тот выбрал для своего бенефиса.

— «Маскарад» Михаила Юрьевича Лермонтова,— ответил наконец Мочалов.

Казалось, этот ответ глубоко удовлетворил Валеру. Он сказал почти радостно:

— Так ведь она же запрещена!

— Хлопочу,— буркнул Мочалов.

Любознательный Валера стал выспрашивать, кем запрещена, да когда, да почему. У него был свой способ спрашивать — не в лоб, нет, боже упаси! Немного погодя расскажу — как.

— Не хлопочите, Павел Степанович, ничего не выйдет,— сказал Белинский.

— А я дойду до самых высоких персон! — уже кричал возбужденно Мочалов.— Помилуйте, увидели в «Маскараде» критику современных нравов. А «Ревизор», позвольте спросить? Куда уж критичнее! А ведь идет невозбранно!

— Там, я слышал, до царя дошло,— вставил Валера.— Жуковский предстательствовал. Да ведь в «Ревизоре» ничего такого. А цензура ведь гоняется,

как я понимаю, за либерализмом. Не так ли, Виссарион Григорьевич?

— Совершенно справедливо,— охотно подтвердил Белинский.— Вымарывают большей частью либеральные мысли. А что это за мысли? А вот что: дважды два четыре, зимой холодно, а летом жарко, в неделе семь дней, а в году двенадцать месяцев.

Валера уставился на Белинского, но тот сохранял полную серьезность.

Валера тотчас изобразил на подвижном лице своем скорбное сожаление по поводу такого горестного состояния нашей цензуры.

Теперь — о его способе спрашивать, так сказать о тоне, который он задавал разговору с собеседником. Уже прощаясь с хозяином, вдруг взял Николая Семеновича за пуговицу и затараторил:

— Чувствую, как я духовно вырос сегодня в вашем обществе, глубокоуважаемый Николай Семенович. Ваши субботы — это как бы университет... да нет, что я! Академия! Какие таланты! Какие речи! Что за стихи!

И понес, и понес. И вдруг, не меняя тона:

— А нет ли у вас потаенных стихов Полежаева? Ведь он был вам другом...

Вот в этом и состоял способ В. Разнорядова. Для начала, пришвартовавшись к пуговице собеседника, он заводил длинную речь. Это давалось ему легко благодаря его врожденной болтливости. Посреди этого словоизвержения он ввертывал свой вопросик. Сладко убаюканный его колыбельным красноречием, собеседник машинально отвечал. Если же уклонялся от ответа, Валера после паузы небольшой и выверенной так точно, что она не казалась собеседнику нарочитой, продолжал как ни в чем не бывало плести свою речь. Да и самый вопросик отнюдь не звучал у него

вопросительно, а скорее — как некое размышление вслух, после которого эта пауза воспринималась как естественное молчание задумавшегося человека. Вот этим-то способом В. Разнорядов обычно извлекал из собеседника то, что ему хотелось узнать, не вызывая в нем никаких подозрений. Это была красивая работа, и если только она не была природной потребностью В. Разнорядова, то должна была бы удостоиться высокой оценки у пославших его.

Услышав вопросик Валеры, Селивановский затрепетал от ужаса, хотя внешне оставался каменно неподвижным. Две мысли сейчас мучили его, в то время как Валера, выдержав положенную паузу и не получив ответа, продолжал нести свою льстивую околесицу. Первая мысль: как он дознался, что у меня хранятся запрещенные стихи Полежаева? Вторая: как сделать так, чтобы он ко мне больше не приходил? Попросту приказать швейцару Тишке не пускать его? Так ведь разве можно быть уверенным в преданности Тишки? Возможно, и моя дворня, и этот субъект вознаграждаются из одного источника...

Да, Николай Семенович не был политически безгрешным. Да, на своих субботах он вольнодумничал, задирал аристократов и кой-кому из-под полы показывал недозволенные стихи Полежаева. Это так. Но и он же написал донос на Белинского. Однако это относится к будущему. Если предположить, что мне посчастливилось вторично встретиться с Белинским, уж я не преминул бы задать ему целый ряд вопросов. Вообразим, что свидание это происходит в кофейне Бажанова, известной также под именем «Печкинской». Она помещалась на нынешней площади Революции. Тогда она называлась Воскресенской.

Мы устроились бы в одном из темных углов кофейни. Белинский, возможно, заказал бы себе молоко

и немецкий хлебец пуперникель. Я из солидарности с ним тоже. Разговор был обширный и разбросанный. О Вольтере:

— В Вольтере есть величие,— сказал Виссарион Григорьевич.— Сатанинское, но величие.

О славянофилах:

— Я вижу народность не в обрисовке сарафанов и братин, не в умилении перед березой и древними церквушками. Березы и сарафаны, кубки и древности вы найдете в любой стране. Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Я, например, вижу подлинную народность в изображении самого сгиба русского ума, русского взгляда на вещи. Да, именно в этом я вижу своеобычность русского гения.

О Жуковском: Жуковский талантлив, и Пушкин любил его. Но он же и сказал о Жуковском: «Жуковского перевели бы на все языки, если бы он сам менее переводил».

О «Гамлете»:

— Клавдий — это общечеловеческий тип политического выскочки.

О предпочтениях:

— Мой любимый герой — Прометей.

О своих повадках:

— Я люблю писать стоя. Гоголь — тоже.

Я, вероятно, еле удержался бы, чтобы не сказать: и Хемингуэй.

О нужде:

— Да, осенью 1837 года я очень нуждался. Квартира, овощная лавка, сюртуки, штаны убивали меня. В моей комнате хоть волков морозь, а в кармане хоть выспись. Ходил я тогда в оборванном тулупе, под ним — бессменная синяя рубаха. Шапки не было —

ермолка. Да и сейчас... Что делать, я человек необоротливый. Мое имение — это мое перо.

О себе:

— Вы хотите назвать свой роман «Неистовый»? Что ж... Кличку эту придумал Станкевич. Он называл меня Bissarione Furioso *.

О любви:

— О любви говорить не хочу. Да уж как-то мы с вами толковали. Вообще это предмет не для жизнеописания. Одно скажу — я всегда любил страдальчески. Помните, в моих любимых «Цыганах» Пушкина: «Ты любишь горестно и трудно»... Словно обо мне...

О цветах:

— Более всего люблю резеду и рододендроны. А в общем, все цветы мне милы. А левкой, а гвоздика! Где бы ни жил, на последние гроши покупал цветы и тащил в свою лачугу. А гераниум в цвету какая прелесть! А волькамерия!

О литературе:

— Я всегда считал, что литература должна быть не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером.

Тут я позволил себе заметить:

— Ваши письма поражают своей величиной. Это письма-трактаты, письма-дневники.

Белинский удивился:

— А как они к вам?

И если бы я уклонился от ответа, он подозрительно покосился бы на меня, пожал плечами и сказал:

— А мы все так. Письма — это жанр. Хорошо сказал Герцен: «Между словом живым и мертвой книгой есть среднее — это письма».

* Неистовый Виссарион. *(Итальянск.)*

О Гегеле:

— Этот подлец Сенковский иногда удивительно остер. Знаете, как он отозвался о немецкой философии? «Готический бред». Право, недурно. Было время, я сам клялся Гегелем. Много он отнял у меня душевных сил. Зря... И все же он велик. Помните его гениальное определение поэта: «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина». Каково!

Мне кажется, что я успел записать все, что говорил мне Виссарион Григорьевич. Правда, под вечер в кофейне стало шумно, и кое-чего я недослышал, но постеснялся переспрашивать. В частности, о той субботе у Селивановского.

С другой стороны, я знал и то, чего еще не знал и сам Белинский, потому что это еще не случилось, а именно: Селивановский, укрывшись за псевдонимом, опубликует статейку против Белинского, весьма дурно пахнущую.

Отнюдь необязательно самолично являться в полицейскую часть с кляузой в руках. Фи! Зачем? Это дурной тон. Вполне достаточно вставить донос в критическую статью да приписать ее некоему анониму, уязвленному в своих якобы патриотических чувствах.

Вот в этом жанре полицейской литературы и выступит в недалеком будущем Николай Семенович Селивановский в № 2 питерского журнала «Сын отечества» за 1838 год. Заглавие этого публичного доноса: «Письмо из Москвы». Подпись под ним — А. М. Этот А. М. обвинит Белинского в том, что в своей статье о «Гамлете» он клевещет на русское общество и оплевывает прошлое русской литературы. Кроме того, А. М., видимо вдохновленный расправой с Чаадаевым, про-

зрачно намекает на умственное расстройство автора статьи о «Гамлете». То есть — неприкрытый совет объявить его, подобно Чаадаеву, психопатом и отстранить от работы в печати.

Очень скоро тайна псевдонима А. М. раскроется: это не кто иной, как Селивановский, обуреваемый жаждой мести Белинскому за его отрицательное отношение к невежественному переводу «Виндзорских кумушек». Все это вызовет среди друзей Белинского бурное негодование против Селивановского. Субботы его поредеют. Однако хорош и Николай Полевой, гостеприимно распахивающий для доноса на Белинского страницы редактируемого им журнала, хотя именно он, Полевой, за месяц до того опубликует его статью о «Гамлете».

Как же это случилось, что русская литература, еще такая юная, уже стала использоваться завистниками как средство подлого политического навета? Это было, конечно, следствием непомерного развития в царской России полицейского аппарата. И хотя письма Полевого к москвичам полны мольбами о прощении, он никогда уже не сможет вернуть себе их прежнего расположения. Первое время иные еще отвечают ему на поклоны, кое-кто даже перебрасывается с ним незначительными репликами. Но на деле между Полевым и его прежними друзьями образуется пропасть. Она непроходима. Отныне Белинский не пропустит ни одного случая разоблачить мракобесов от литературы — Булгарина, Греча, Сенковского и перебежавшего к ним Николая Полевого.

Тимоша и Валера распрощались с хозяевами. Валера даже галантно поцеловал руку Катеньке Селивановской.

Но на улице он сразу посерел, осунулся, и сейчас это был уже не тот ликующий, жизнерадостный юнец, а старая рухлядь, вымоченная в жизненных ненастьях.

— Ну, как тебе было? — спросил Тимоша, близоруко щурясь.— Правда, интересно?

Разнорядов ответил не сразу.

— Все напуганы,— сказал он.— Боятся друг друга. Боятся наветов, боятся полиции, знакомых, соседей, друзей. Селивановский боится Кетчера. Полевой — Боткина, Клюшников — Селивановского.

Он помолчал и заключил со злостью:

— Один Белинский не боится никого и ничего.

Журнал и музыка

> — Почему я преходяща, о Зевс? — так спросила Красота.
> — Так ведь только преходящее я и сотворил прекрасным,— отвечал бог.
>
> *Гете*

Не так уж много оставалось Белинскому до переезда в Петербург. Однако он еще об этом не помышлял. Будущее заволокнуто настоящим. А настоящее складывается бурно и невесело. А ведь начиналось счастливо!

Журнал «Московский наблюдатель», доведенный младо-аристократами Погодиным и Шевыревым до последнего издыхания, был ими покинут. Они замыслили новое издание, пропитанное казенным национализмом, журнал «Москвитянин», о котором впоследствии Герцен скажет: «В Москве один журнал, и тот «Москвитянин»».

А «Московский наблюдатель» был подхвачен Николаем Степановичем Степановым, владельцем типографии (Трубниковский переулок, собственный дом). Это был мужик с головой, и вместе с другим владельцем, Андросовым Василием Петровичем, он привлек в качестве редактора (фактического, но необъявленного) Белинского. Предполагалось, что талант, темперамент и популярность Белинского вдохнут в журнал-доходягу душу живу. А помогут Неистовому в этом его молодые друзья — это созвездие дарований, душевной свежести и наисовременнейших взглядов на литературу и науку.

Итак, начало было окрашено самыми радужными надеждами.

— Теперь мне во что бы то ни стало, хоть из кожи вылезть,— заявил Виссарион,— а надо постараться не ударить лицом в грязь и показать, чем должен быть журнал в наше время.

А в самом деле, чем он должен быть? Он должен, очевидно, ратовать за истину в освещении жизни, за правду в искусстве, он должен давать образцы высокой литературы, он должен бороться за просвещение, за достоинство человека, он должен клеймить злоупотребления, ложь, беззаконие, он должен воспитывать общество.

Что получилось на деле?

Если говорить о поэзии, отдел ее в новом «Московском наблюдателе» стал превосходным: недавно открытый Кольцов, музыкальный Красов, трагический Клюшников, страдалец Полежаев с потрясающими стихами:

И погружен в преступные сомненья
О цели бытия, судьбу кляня,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья...

Правда, цензор изъял во второй строке слова: «судьбу кляня». Ибо отечественным стихам, по мнению цензора, надлежит быть оптимистичными. Впрочем, об отношении к журналу Белинского цензора Снегирева Ивана Михайловича, или, как называли в литературных кругах этого, между прочим, профессора Московского университета, Совестдрала, мы еще в дальнейшем скажем.

Ну, а проза? Здесь было похуже. Где ее достанешь? Отыгрывались на переводной. Музыкальные рецензии — и очень недурные — писал Вася Боткин. Критика литературная и театральные рецензии уж тем были хороши, что ими занимался сам Белинский. Его блестящие статьи о «Гамлете» как бы вырвались из пределов журнала и прошумели на всю образованную Россию.

Но главное, во что ударился журнал,— философия. Вот куда устремился неудержимый поток московского гегельянства, подгоняемый мощной дланью Мишеля Бакунина. Он жаждал властвовать в журнале. Снова столкнулись старинные друзья-враги. Мишель яростно доказывал:

— Ты, Виссарион, не можешь быть дельным редактором. У тебя просто нет для этого достаточных знаний. Ты не можешь обнять и искусство, и историю, и религию, и прочее...

Тут Мишель делал паузу столь красноречивую, что всем становилось ясно, КТО тот единственный, кто может объять необъятное.

— Все, на что ты способен,— продолжал он снисходительно,— это сказать несколько верных замечаний. Но, не обладая познаниями, а выводя все из своих непосредственных ощущений, ты не в состоянии возвысить свои мнения до достоверности понятой мысли. Пойми, что журнал, не заключающий в себе

ничего, кроме нескольких верных замечаний, не может иметь большого достоинства. Ты не имеешь права писать и печататься по недостатку объективного наполнения действительностью.

— Нет, Мишель, моя сила, моя мощь именно в моем непосредственном чувстве, и потому я никогда не откажусь от него. Я не имею охоты отказаться от самого себя и объявить себя призраком. Чувства — огонь, мысль — масло. Мишель, ты чудесный человек, ты глубокая, самобытная, львиная порода. Но ты любишь идеи, а не людей. Ты хочешь властвовать своим авторитетом, а не любить. О боге, об искусстве можно рассуждать с философской точки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто.

— Виссарион! — взревел Мишель голосом громовержца,— это бунт! Это бунт против идеальности, против бога! Ты гибнешь, Виссарион! Ты делаешься добрым малым в смысле bon vivant et bon camarade *, то есть пошляком!

— Мишель,— спокойно и несколько устало сказал Белинский,— я не хочу быть великим человеком, я хочу со всеми быть как все. Ты забыл, что такое простое живое чувство, задушевность, преданность человеческим интересам. Мне надоело моральное и идеальное резонерство.

Не было в ту пору в России Станкевича, который единственно мог обуздать Мишеля. Но из своего берлинского далека он остро интересовался, как его друзья ведут свой журнал, и Вася Боткин с плохо скрытым разочарованием писал ему:

«Виссарион пишет тебе большое письмо... «Наблюдатель» что-то сух... Мишель хотел услужить «Наблюдателю» и написал для № 1 прошлого года вве-

* Здесь: обыватель, пошляк. *(Франц.)*

дение к «Гимназическим речам» Гегеля. Да и удружил, как медведь пустыннику. Нет, такие вводители в философию Гегеля хуже врагов его!..»

Белинский понял это не сразу. А поняв, признался с горечью:

— Статья Бакунина погубила «Наблюдатель» не тем, что она была слишком дурна, а тем, что увлекла нас (особенно меня, за что я и зол на нее), дала дурное направление журналу и на первых порах оттолкнула от него публику и погубила его безвозвратно в ее мнении... Вместо представлений в статье одни понятия, вместо живого изложения одна сухая и крикливая отвлеченность. Вот почему эта статья возбудила в публике не холодность, а ненависть и презрение, как будто бы она была личным оскорблением каждому читателю...

Но не от этого одного начал чахнуть «Московский наблюдатель». Его издатель Николай Степанов сам подпиливал сук, на котором было расселся так уютно. Его прижимистость, да просто скупость, и эксплуататорские замашки вели журнал к гибели. Белинский получал гроши. Его огромный редакторский труд оплачивался нищенски: он получал в месяц около 80 рублей ассигнациями. Он говорил с горечью:

— Степанову хочется издавать пакостный журналишко, который бы ничего ему не стоил, а давал бы работу его типографии. А меня хочет сделать как дурачка своим орудием в этом «честном» деле. По его милости «Наблюдатель» отстает не днями, а месяцами и трехмесячиями...

Однако,— чтобы быть справедливым,— не только по его милости. Над «Московским наблюдателем», как только туда пришел Белинский, был занесен нож цензуры. Это было предопределено свыше. Цензурная политика была сознательно направлена на постепен-

ное удушение журнала и уж во всяком случае на изгнание оттуда Белинского. Делалось это беззастенчиво, грубо. Сергей Тимофеевич Аксаков писал сыну своему Косте, приятелю в ту пору Белинского:

«Ему дали другого цензора — Совестдрала... Вероятно, с приказанием давить медленностью и всякими прижимками. Оттого книжки выходят медленно, и подписка почти не прибавилась...»

Между тем немолчный вой нужды не прекращался. С головы до ног был обвешан Неистовый должишками, долгами, должищами. Процентщик-кровопийца требует немедленно тридцать рублей ассигнациями за взятые пятьсот. Обносился Виссарион так, что скоро на улицу не в чем выйти. Он посылает записку Ефремову:

«Любезный Ефремов, благодарю за окончание перевода, титул *деятельного* принадлежит теперь тебе по праву. Нет ли, брат, лишних сапог? Завтра жду своих от сапожника, а нынче не в чем выйти. Одолжи также и фрак. Твой В. Б.»

В этот день Белинский собирался на концерт. И не столько его привлекала музыка, сколько приехавшие в Москву сестры Бакунины. Концерт состоялся на квартире композитора Леопольда Лангера. Это была камерная музыка, секстет Бетховена. И хотя Белинский заранее во всеуслышание объявил о себе, что в музыке он профан и варвар,— и это не было ни бравадой, ни кокетством, он действительно так считал,— несмотря на всю искренность этого заявления, он явно себя недооценивал. Натура его, чуткая ко всему прекрасному, не могла остаться бесчувственной к музыке.

Слушая, он волновался, временами на глазах у не-

го выступали слезы восторга. И все же он не доверял себе, он считал собственное постижение музыки слишком личным, не общим, не похожим на то, как это происходит у других, у «понимающих», и потому неправильным. Он слышал в музыке мысль, он почти видел, как мысль продирается сквозь чащу музыки, спотыкаясь о звуки. И хотя эта музыка была для него воплощением мысли, Виссариону казалось, что она же, музыка, мешает выражению мысли, и мысль мечется и досадует, и ищет чего-то другого для своего выражения. И эти метания ее и есть искусство. Но не так ли происходит и со словом?

Он сидел в углу комнаты, маленький, съежившийся, в чужом мешковатом фраке, и чувства, возбужденные прекрасным, отражались живой сменой выражений на его лице, и оно тоже становилось прекрасным.

Он вздохнул освобожденно, обвел окружающих счастливым взглядом, и вдруг увидел, что Шурочка Бакунина смотрит на него понимающе и сочувственно. Он густо покраснел и в смущении заерзал ногами в ефремовских сапогах, в которых, кстати сказать, ему было тесно. На скрип недовольно оглянулись. Он смутился еще более, очарование музыки пропало...

Он мог быть жив!

Что будет со мной в старости? По чести говоря, я не решаюсь об этом думать! Вероятно, я умножу собой число тех благородных и великих мужей Германии, которые сходят в могилу с разбитым сердцем и в изодранном сюртуке.

Гейне. Письмо к брату

В назначенный час Белинский пришел к Чаадаеву. Петр Яковлевич принял его стоя. И почему-то долго не садился. Так они стояли друг против друга — Чаадаев, стройный все еще, хоть уже давно разменял пятый десяток, с неподвижным лицом и немигающим взглядом серо-голубых глаз, ясных и печальных. Седая бахромка окружала его блистающий цилиндрический череп. Наконец опустился в кресла, откинув фалды щегольского фрака. А Виссарион все еще стоял, сутулый, неловкий, а ведь ему не было еще и тридцати, в поношенном, криво застегнутом сюртуке. Из-за привычки держать голову наклонно казалось, что он смотрит исподлобья. Он не отводил глаз от Чаадаева, поражаясь скульптурной застылости этого прекрасного лица. «Он в Риме был бы Брут...» — вспомнились ему стихи Пушкина о Чаадаеве.

Он совсем недавно познакомился с Петром Яковлевичем в этом же доме Левашевых на Ново-Басманной, только в другом флигеле, там, в гостиной Екатерины Левашевой, детям которой он, оставшись после закрытия «Телескопа» без заработков, давал уроки. Екатерина Гавриловна — «чистая, самоотверженная»,— сказал о ней Герцен. «Добрая, но пустая, неспособная возвыситься до ощущения мировой исти-

ны»,— сказал о ней Белинский в своем фихтеанском высокомерии. Кто прав? Может быть, оба? Во всяком случае, Екатерина Гавриловна привлекала сердца и умы. В ее салоне бывали все — писатели, религиозные проповедники, славянофильские фанатики, уцелевшие декабристы, Пушкин, Михаил Орлов, Кетчер, Бакунин, Огарев, даже Тимоша Всегдаев. Вот только подопечного друга своего Валерку Разнорядова он никак не мог втащить к Екатерине Гавриловне. Валера, разумеется, и вида не подавал, что его раздражают постоянные отговорки Тимоши, ибо жизненным приспособлением Валеры Разнорядова была ласковость, растроганность, даже умиленность.

Постояв, Виссарион сел, подчиняясь пригласительному жесту хозяина, и обвел взглядом комнату. «Монастырь на одного монаха»,— подумал он. А «басманный философ», как называли некоторые Петра Яковлевича, сказал:

— Пушкин интересовался вами, Виссарион Григорьевич.

Белинский подался вперед:

— Он говорил вам?

— Оглянитесь... Видите? Вглядитесь попристальнее.

Но Виссарион ничего не видел, кроме смутного пятна, темневшего на обоях.

— Это любимое место Пушкина. Пятно — след его головы.

Вещи не имеют ценности сами по себе. Все зависит от нашего отношения к ним. Старая Лукерья, прислуживавшая Петру Яковлевичу, не раз подбиралась к пятну на стене с мокрой тряпкой в руке. Но Чаадаев оберегал его, как драгоценность.

— Знаете ли вы, что «А. Б.» это и был Пушкин?

Белинский поднялся взволнованный:

— Простите, Петр Яковлевич, это наверное?

«Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учености, более осмотрительности,— словом, более зрелости, то мы имели бы в нем критика весьма замечательного...»

До сих пор Виссарион не придавал большого значения этим нескольким лестным строкам о себе в III томе «Современника», к тому же окруженным оговорками. Но сейчас, когда он узнал, что их написал Пушкин... Вещи приобретают ценность только в зависимости от нашего отношения к ним.

Чаадаев взял со стола книгу и протянул ее Белинскому.

— «Борис Годунов»?

— С дарственной надписью мне «Voici, mon ami, celui de mes ouvrages»... Я вам переведу.

Виссарион хотел сказать, что понимает по-французски, да постеснялся. Петр Яковлевич читал мерным голосом:

«Вот, мой друг, мое любимое сочинение. Вы прочтете его, так как оно написано мною,— и скажете свое мнение о нем. Покамест обнимаю вас и поздравляю с Новым Годом. А. Пушкин. 2 января 1831 г. В Москве».

— Одного не пойму,— сказал Виссарион.— Зачем он сделал эту надпись не по-русски? «Борис Годунов» — такая русская вещь!

— Французским он владел лучше.

— Да нет, что вы!

— Он сам признал это. Вот письмо его ко мне.

Петр Яковлевич отомкнул ящик стола и из небольшого сафьянового бумажника вынул письмо. Виссарион жадно схватил его.

— Здесь по-французски.

— Я понимаю,— на этот раз признался Белинский.

«Mon ami,— читал он,— je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la nôtre...»

Петр Яковлевич тянул у него из рук письмо, а Виссарион не отдавал и быстро пробегал строки:

«Votre manière de concevoir l'histoire m'étant tout à fait nouvelle, je ne puis toujours être de votre avis...»

Письмо затрещало, и Неистовый испуганно выпустил его из рук. Видимо, не очень доверяя познаниям Виссариона во французском, Петр Яковлевич перевел:

«Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего... Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами...»

— Это когда писано?

— В том же тридцать первом. Летом. Это о шестом и седьмом из моих «Философических писем». Я ему все посылал. Я не скрываю от вас наших с ним разногласий. Я не имел большего друга, чем Пушкин. Кроме разве Вани Якушкина. Но мы с Александром Сергеевичем сходились далеко не во всем. Его ум был обширен, но поэтический гений не всегда совпадает с политическим разумом.

Чаадаев помолчал немного. Потом сказал, словно решившись:

— Мне недавно доставили из Петербурга — есть еще верные души! — письмо, писанное Пушкиным в тот роковой тридцать шестой год и оставшееся в его бумагах. Он его не отослал из-за всего, что произошло с «Телескопом». Я прочту вам из него...

Из того же сафьянового бумажника Петр Яковле-

вич вынул лист и, уже не показывая его Белинскому, прочел:

«...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератор — je suis aigri»,— то есть «меня раздражают, как человек с préjugés»... ну, словом, «с предвзятостями» или, вернее сказать, «с предрассудками, je suis froissé», то есть, я... я...

— Оскорблен,— подсказал Белинский.

— Оскорблен. Благодарю вас... «Но,— пишет он далее,— клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...»

Чаадаев замолчал и бережно упрятал письмо в бумажник.

— А разве так стоял вопрос?

Петр Яковлевич строго взглянул на Белинского. В немигающем взгляде его не было гнева, ни даже раздражения. Было упорство, сила убеждения, доходящая до одержимости. Он сказал, не повышая голоса:

— Я ведь мог остаться за границей. Но я вернулся. Да еще в тяжкую годину расправы над моими друзьями. Я люблю Россию. Но мой патриотизм другого рода.

Он спрятал бумажник в ящик стола, повернул ключ и положил его в карман. Все движения его, даже самые мелкие, были размеренны и удивительно отчетливы. Вдруг в мраморном лице его что-то смягчилось, появилась нежность, жалость, он сказал:

— Живи я в Петербурге в то время, Пушкин никогда не дрался бы с Дантесом.

Белинский чуть не вскрикнул,— так поразили его эти простые слова. Пушкин мог быть жив! Виссарион поверил ему. Да и кто бы не поверил, глядя на Чаадаева. Его душевная сила, его ум, страстный и бесстрашный, волшебство его красноречия, наконец са-

мая дружба с Пушкиным, которой тот гордился... Ведь скорбь о Пушкине не утихла, и мы плачем о нем до сих пор. Пушкин мог быть жив! Насколько богаче была бы духовная жизнь России, были бы спасены Гоголь и Лермонтов, и, может быть,— подумал Белинский,— сложилась бы иначе самая судьба русского образованного общества, такая драматическая...

Виссарион хотел еще сказать, что он согласен с Пушкиным, когда тот не разделяет взглядов Чаадаева на характер русского народа, так же как и симпатии Петра Яковлевича к католицизму, но что вместе с Пушкиным он горячо поддерживает Чаадаева в его возмущении безобразным режимом николаевской империи. И что вообще есть правота ума, но есть и правота сердца,— мысль, не чуждая и самому Чаадаеву.

Но не сказал — опять накатился на него припадок застенчивости. Голос его прервался, на шее какая-то мышца противно билась. Он даже боялся долго смотреть на Петра Яковлевича, только взглядывал урывками и зажмурившись, как на солнце. Собственные мысли казались ему куцыми, обесцвеченными. На какое-то время он даже перестал слышать Чаадаева. Но сделал над собой усилие, вслушался:

— О себе не говорю. С меня ведь взята подписка ничего не публиковать. Но ведь Уваров вообще запретил всей российской печати заниматься крепостным правом.

— Знаю,— сказал Белинский, прорвавшись наконец сквозь свою немоту.— Уваров сказал Михаилу Петровичу Погодину, что нарушение крепостного права вызовет неудовольствие дворянского сословия. «Кто поручится,— сказал Уваров,— что тотчас не возникнет какой-то тамбовский Мирабо или костромской Лафайет».

Можно было поручиться, что Чаадаев не слушает.

Он помолчал просто из вежливости. Ему не нужен был собеседник. Только — слушатель. Он был монологист. Убедившись, что Виссарион не продолжает, Петр Яковлевич повел речь как бы с того слова, на котором его прервали:

— А ведь все зло от крепостного права. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли рабы, разве это не почва, которая вас питает? Насилие и ложь пропитали всю нашу жизнь. Взгляните на свободного человека в России, и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И потому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных интересах заставить ее перейти на новые пути.

Поколебавшись, Виссарион решился возразить:

— Однажды я попробовал изобразить свободного духом человека...

— Где?

Виссарион уже пожалел о сделанном признании, но сказанного не возвратишь.

— В своей трагедии,— сказал он неохотно.

Чаадаев поднял брови:

— Я не знаю вашей трагедии.

— Никто не знает ее.

— Задушена цензурой в колыбели? Дайте почитать.

Белинский покачал головой:

— Это произведение девятнадцатилетнего юноши. Много благих порывов, но художественно немощно.

— Тогда расскажите...

Виссарион потупился, руки зажал между колен.

— Не знаю, право... Многое из собственной судьбы вложил я в образ Дмитрия Калинина. Его именем я и назвал пьесу. Это образованный крепостной. Я вам вкратце... Он сирота. И помещик Лесинский воспитал его вместе со своими детьми. Дмитрий влюбился в дочь помещика Софью. Ну, и она в него...

Виссарион остановился. Он чувствовал, что рассказом своим огрубляет пьесу, лишает ее остроты, волнения. Голос его делался деревянным, слова костенели, не вязались друг с другом. Но уже невозможно было остановиться под внимательным взглядом Чаадаева, и он продолжал с отчаянием утопающего:

— Вдруг помещик умер, а сыновья порвали вольную Дмитрия и сделали его дворовым, прислуживающим за столом. Я это не выдумал. Я брал из жизни. Это была в наших краях такая семья Мосоловых. Я их взял за модель. Самодуры! Буйные какие-то! Развратники! Истязатели! Их мать, например, говорит о себе... То есть это в моей пьесе: «Во всю обедню, грешница, продумала про житейское. То надобно послать в город купить что-нибудь; то нужно достать хорошую плетку для девок; то надо отпороть когонибудь из лакеев; то — как бы поскорее чайку напиться»...

— Это совсем недурно,— сказал Чаадаев.

Несколько ободрившись, Виссарион продолжал:

— И вот такие-то люди сделали Дмитрия челядью, лакеем. Я приведу несколько слов из его монолога. Знаю, это ходульно, выспренно, но это его душевное состояние.

Виссарион выпрямился, слегка приподнялся даже и воскликнул:

— Я буду прислуживать при столе... и кому же?

Андрею и Петру Лесинским... Я расщеплю на части их тела!..

Голос его осекся. Он махнул рукой, сгорбился.

— Что же вы?

— Не стоит дальше. Плохо очень.

— Прошу вас продолжать. Не думайте, что я из вежливости. Мне интересно.

Белинский вспыхнул. Потом театрально нахмурился и вскричал:

— Я высосу по капле кровь из жил их! О, тщетны будут мольбы их! Тщетно будут обнимать колени мои!.. О, какое сладостное зрелище!.. Какое веселое пиршество!..

Он посмотрел на Чаадаева.

Тот сказал только:

— Однако память у вас завидная. Так вы уж расскажите, чем кончилось.

— Запретили.

— Это понятно. Нет, пьеса чем кончается.

— После всех перипетий — не стану вам всего рассказывать, это скучно — Андрей Лесинский велит связать Дмитрия. И тот убивает Андрея. Убийцу заключают в тюрьму, а Софью прочат замуж за князя Кизяева. Дмитрию удается бежать из тюрьмы. Он приходит к Софье. Она предлагает Дмитрию совместное самоубийство, иначе ей не избежать брака с Кизяевым. Дмитрий убивает ее. И прежде чем он убил себя, он узнает из предсмертного письма старика Лесинского, что он, Дмитрий, его незаконный сын, и, следственно, Софья — его сестра. Входят солдаты, чтобы схватить его, но он закалывает себя. Впрочем, перед этим — это, может быть, не очень ловко сделано — он успевает произнести маленький монолог. Он говорит, потрясая кандалами: «Символ позорного рабства, прочь с глаз моих, не обременяй

рук моих, не бесчесть их!» Он срывает с себя кандалы и восклицает: «Свободным жил я, свободным и умру!» Ну, вот, собственно, и все.

Он замолк обессиленно.

— И вы решились представить это в цензуру?

— Я читал это товарищам... В ту пору, осенью тридцатого года, в Москве, если помните, случилась холера. Университет закрыли. Мы, студенты, оказались как в тюрьме. И тогда-то у нас в 11-м нумере общежития составился литературный кружок. Мы назвали его: «Литературные вечера». Мы читали друг другу свое, обсуждали журнальные статьи, лекции профессоров. Там я и прочел свою трагедию. Аплодисменты товарищей воспламенили меня. И хоть меня предупреждали, что пьесу мою запретят...

— Кто предупреждал?

— Родные, еще в Чембаре я им читал. Ну, и писатель Иван Иванович Лажечников. Он точно предсказал мне судьбу пьесы и то печальное влияние, какое она возымеет на мою личную жизнь.

— А вы не верили. Натурально. Юность — это возраст преувеличений.

— Да, я никого не слушал. Я знал о несовершенстве моей пьесы, о слабости композиционной, о переизбытке действующих лиц, о подражательности Шиллеру. Я даже не посмел назвать ее трагедией или просто пьесой.

— А как же?

— Я назвал ее драматической повестью.

Чаадаев кивнул головой, словно это название его вполне удовлетворяло.

— Но я считал,— продолжал Виссарион,— что цель оправдывает средства. А цель моя была — борьба за человеческое достоинство, за свободу личности.

И я был уверен, что благородство этой цели дойдет и до цензоров. Не может не дойти, люди же они все-таки. Пусть пьеса по выходе в свет наделает шуму. Я шел на это.

— Что же дальше?

— Студенты, товарищи мои по нумеру 11-му, переписали пьесу, я отнес ее в цензурный комитет, он помещался там же в университете и состоял из наших же профессоров. Однажды в комнату вошел служитель и сказал, что меня требуют в комитет. Как сейчас вижу этот момент. Я лежал на кровати, покрытой желтым байковым одеялом, и что-то читал, закинув ноги на спинку кровати. Я тотчас вскочил и побежал, полный радостных предчувствий. Цензоры со мной даже не поздоровались. Докладчик профессор Цветаев заявил гробовым голосом: «В пьесе г. Белинского множество противного религии, нравственности и российским законам. Дмитрий Калинин декларирует против рабства возмутительным образом для существующего в России крепостного состояния». В общем, они изругали меня мало что не матерно, топали ногами, стучали кулаками. «Вы на что замахнулись! — кричали.— На основные законы империи! Да как вы смели сунуться к нам с этакой дрянью! Да вас в Сибирь!»

— Это было в каком, говорите, году?

— В тридцатом.

— Страх их понятен. Всего пять лет прошло после восстания декабристов.

— Тогда я этого не понимал. Не понимал и того, что пьеса, при всем благородстве намерений, плоха.

Чаадаев улыбнулся.

— А знаете,— сказал он,— жаль, что она не опубликована. Цензоров испугало не столько, что она протест против угнетения, сколько, что она протест

против общества, рождающего это угнетение. Будь ваша пьеса поставлена или напечатана, она при всей своей юношеской незрелости принесла бы общественную пользу. Ведь быть апостолами просвещения — в этом и есть наше назначение. Колокольный звон не всегда зовет к молитве. Порой он собирает людей тушить пожар. А в иные минуты призывает их к оружию.

Чаадаев взял со стола маленький колокольчик.

Серебряный звон пролился по комнате. Виссарион с изумлением посмотрел на Петра Яковлевича. Неужто этим нежным звоночком он воспроизводит бунтарский гром революционного набата?

Словно в ответ на его мысли скрипнула дверь, вошла Лукерья, поставила на маленький столик две чашки кофе и, шаркая, удалилась.

Виссарион вдруг заметил, что швы на щегольском фраке Чаадаева кое-где побелели, а высокие уголки отлично накрахмаленного воротничка отдают желтизною. Устыдившись этих открытий, Виссарион виновато перевел взгляд на стену, но и тут заметил, что обои, хоть и штофные, изрядно поблекли и местами пузырятся. Окончательно смутившись, он потупил глаза.

Петр Яковлевич отпил глоток и сказал:

— История России — это бесплодные метанья между деспотизмом Востока и свободомыслием Запада.

Снова глоток. Снова молчание. Потом:

— Сейчас явилась новая политическая школа: славянофилы. Их ретроспективная Россия мне чужда. Запад ими более не признается, дело Петра Великого отрицается. Славянофилы говорят: почто нам искать света на Западе? Разве мы не имеем у себя дома всех зародышей социального строя бесконечно

лучшего, чем их социальный строй? Вы понимаете теперь, Белинский, происхождение разразившейся надо мной бури и видите, какая у нас происходит страшная реакция против просвещения, против западных идей, то есть того просвещения и тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых явилась даже сама реакция!

«Он не только блестящ,— думал Белинский, глядя на Чаадаева.— Он рожден быть реформатором русской общественной жизни. Но ему связали руки. На него повесили замок. Его заживо погребли. А ведь он любит Россию гораздо сильнее, чем эти молодцы из «Московского наблюдателя», которые ходят в кафтанах, подпоясываются кушаком да пьют боярский квас...»

Не раз в жизни Виссариона бывало так, что мысль, только родившись, еще не успев вылиться в слова, каким-то сверх-путем проникает в мозг к собеседнику.

Чаадаев подошел к Белинскому. В иные минуты взгляд Петра Яковлевича мог делаться удивительно мягким. Он положил руку на плечо Виссариона и сказал:

— У меня есть глубокое убеждение, что мы, русские, призваны решить большую часть социальных задач, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил, Белинский, и охотно повторяю: мы, русские, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, кои ведутся перед великим трибуналом человеческого духа и человеческого общества.

В коридоре, уже прощаясь, Петр Яковлевич взял Виссариона дружески под руку и сказал:

— Я внимательно слежу за вами. С оценкой Пушкина согласен: вы сейчас самое талантливое и честное перо нашей критики. Но слушайте, Белинский, что у вас за страсть нападать на вздорные книжки, на невежественных и лживых писак? Никто ведь их не принимает всерьез. Зачем же на них тратить огонь своего ума и душевные силы?

Неистовый встрепенулся. Наконец-то к нему пришло свободное дыхание. Дружеское прикосновение Чаадаева расколдовало его. Белинский почувствовал его человеком, а не полубогом, да, человеком, с которым можно не соглашаться, даже опровергать его.

— Нет, вы не правы, Петр Яковлевич. Такие книги, как «Танька-разбойница» или «Стрела и якорь», или «Черная женщина», или «Куда ты идешь?» — большое зло. Они искажают правду жизни, они портят вкус у читателей и внушают им ложное представление о действительности. Это язва, это чума, против которой надо вооружаться!

И, не оставляя Чаадаеву времени для ответа, Виссарион сказал то, что собирался сказать весь вечер, ради чего он, главным образом, и пришел сюда:

— Смею ли спросить, Петр Яковлевич, что было истинной причиной вашей отставки и отказа от блестящей карьеры при дворе? И второе: каково было содержание вашего разговора с Александром Первым, предшествовавшего этому?

Сказал и сам устрашился своей смелости. Он знал, что никогда и ни с кем Чаадаев об этом не говорил. Это была тайна, которую он никому не поверял. Так, по крайней мере, говорят. Может быть, одному Пушкину. Но и это неизвестно. Белинский

ждал с трепетом. Чего? Гнева? Хуже: ледяного презрительного молчания. Сказанное Виссарион проговорил быстро, чтобы Петр Яковлевич не успел перебить его.

Но Чаадаев, видимо, и не собирался перебивать. Слушал, слегка наклонив голову, с выражением учтивого внимания. И сказал совершенно спокойно:

— Вы задали мне два вопроса. Но в сущности это один вопрос. Ибо моя отставка и была следствием моего разговора с покойным императором. Еще не время оглашать его. Скажу только, что я питал некоторые иллюзии о силе моей убедительности и о воспринимающей. способности противной стороны. Речь шла, как вы понимаете, о России. Я надеялся, что открою глаза моему собеседнику. Однако нельзя открыть глаза тому, у кого они уже открыты, и нельзя вернуть зрение тому, кто его и не терял. Но это был уже не тот Александр, кумир нашей молодости, царь-мечтатель, воспитанник республиканца Лагарпа и сам республиканец. Теперь он серьезно верил, что не народ русский, а он сам, Александр, единолично победил Наполеона. Это вскружило ему голову. Передо мной был самовлюбленный деспот.

Чаадаев внезапно замолчал.

— И это все?

— Я прибавлю к этому еще только замечательные слова папы Григория седьмого: «Я любил правосудие и ненавидел беззаконие и потому умираю в ссылке».

„Молодецкая поведенция“

Напрасно я бегу к сионским
высотам,
Грех алчный гонится за мною по
пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок
сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег
пахучий.

Пушкин

Клюшников Иван Петрович воскликнул:

— Знаете ль ее? — Она... Нет названья, нет сравненья! Благовонная весна! Цвет любви и наслажденья!

И перейдя на прозу:

— А Виссарион скрывает гризетку от нас. Для себя бережет.

Боткин Василий Петрович, бледный, стройный, печальный, покачал головой:

— Я видел ее однажды. Обольстительна, как сирена.

— Проста?

— Ах, друг мой, в недрах модных лавок на Кузнецком мосту есть прелестные созданья.

— Значит, и вы...

— Оставим этот предмет.

Клюшников замолчал. Он вспомнил, что у Боткина длинный и мучительный роман с Александрой Бакуниной и что здесь не то замешан, не то был замешан Белинский.

Он повторил:

— Но все же проста?

Боткин сказал сухо:

— У Виссариона высокий взгляд на назначение женщины.

Он не позволял себе плохо отзываться о Белинском, хоть и был сейчас с ним не в ладах.

— Что ж,— сказал Клюшников со своей обычной язвительной улыбкой,— он ее просвещает? Пожалуй, Гегеля ей читает?..

Боткин ничего не ответил, отошел, приподняв цилиндр. На секунду блеснула его лысина, сегодня он был без своего красивого парика. «Волос стал падать с возвышенного чела»,— сказал как-то о нем Герцен. Только по бокам кудри. Вместе с усами, подусниками, бакенбардами они сливались в один поток. Его глубоко утопленные глаза, обычно такие живые, были рассеянны и грустны. Его огорчала ссора с Белинским. Собственно, не ссора, а, как определил сам Виссарион, грустно-приличные отношения, сменившие былую пылкую дружбу. Да и повод для ссоры в общем-то исчез. От любви к Александре Бакуниной Белинский давно излечился. Другая страсть томила его. И сватовство к ней Боткина уже не волновало Виссариона. Тем более, что и оно рухнуло. Старик Александр Бакунин, гордый своей родовитостью, с негодованием отверг домогания купчишки Боткина руки его дочери. Друзья, не только суетливый Кетчер, но даже и кроткий Грановский, уговаривали Боткина по-гусарски похитить девушку и тайно обвенчаться с ней. Однако этот романтический влюбленный, охотно уподоблявший себя Ромео, подобно гоголевскому Подколесину, в последний момент улизнул. Так что все утихомирилось между Боткиным и Белинским.

Но тут пришло другое. Белинский снова влюбился. На этот раз в дочь друга своего Михаила Семеновича Щепкина, в юную актрису Александру

Щепкину. Опять, значит, Шурочка! Фатально! Но и здесь он потерпел крах. Она любила Каткова, и он ее. Все это скрывалось от Белинского, и здесь лукавый друг Вася Боткин сыграл неблаговидную роль.

А ведь какая дружба была! Право, есть что вспомнить. Познакомились они на одной из суббот Селивановского. И уже через несколько дней — на «ты». «Святой человек», «бесконечная доброта», «ясное гармоническое расположение души» — вот какими словами рисовал Неистовый своего нового друга. Надо сказать, что сентиментальные крайности в изъявлении дружбы были тогда в ходу.

— С первого разу полюбил тебя страстно,— сказал Виссарион, положив руку на плечо Боткина,— больше любить я не могу и не умею.

— И с моей стороны...

— Знаю! И с твоей стороны я видел глубокую привязанность...

А встретив Мишеля Бакунина, Боткин воскликнул:

— Ни с кем из близких ко мне не желал я так дружбы, как с тобою, и никого из близких ко мне так не любил я, как тебя!

В те же дни, увидев Станкевича, Боткин сказал проникновенно:

— Никогда ни с кем я не желал дружбы, как с тобою. Никого еще я так не любил, как тебя люблю...

И все это была правда.

Недолго длилась ссора Боткина с Белинским, ведь раздоры-то происходили из преходящих обстоятельств, а связывали их в ту пору духовные узы.

Когда Станкевич укатил за границу, члены кружка стали встречаться в доме Боткина на Маросейке. Дом стоял на холме посреди сада. По летнему времени собирались в саду, в изящной беседке, составленной

из трельяжей, увитых виноградом и плющом, и обсаженной яблонями и вишнями. Там Вася Боткин устроил свой летний кабинет. Стены уставлены томами Шекспира и статистическими отчетами Нижегородской ярмарки, ибо талант Василия Петровича имел две ипостаси: художественную и торгово-промышленную. К ночи переходили в столовую, где уже был приготовлен холодный ужин а-ля фуршет.

Случалось, расходились под утро, кроме, разумеется, самого хозяина и Белинского, который в ту пору поселился здесь. Издатель Степанов платил Виссариону за работу в «Московском наблюдателе» гроши, да и те выплачивал неаккуратно. Иногда посреди ночи Белинский исчезал. Куда? Боткин в ответ только таинственно улыбался и понимающе переглядывался с Ваней Клюшниковым, а тот принимался мурлыкать: «Знаете ль ее? Она... нет названья, нет сравненья...» Но случалось и так, что гости расходились, а Боткин с Белинским долго еще толковали, лежа в постелях. О чем? Глубокая ночь, тишина располагали к мечтательности. Заложив руки за голову и глядя в потолок, Белинский говорил:

— Для меня, брат, теперь понятно, отчего на святой Руси так много пьяниц и почему у нас спиваются умные люди: жить нечем.

Боткин даже привстал на постели:

— Ты что же, отвратился от действительности?

— Ах, Боткин, что толку говорить о себе! Говорить о своих страданиях, забывши, что и другой так же думает о себе и так же богат страданиями,— не хорошо и не умно. Я помню рассказ Гофмана «Крейслер»,— ты, кстати, перевел его отменно,— там есть слова: «Нигде на наш вопль нет отзыва». Умереть, Вася, ужасно не хочется, жизнь никогда так не манила. А жить — страшно...

Боткин с беспокойством смотрел на Белинского.

Виссарион расхохотался:

— Нет, мой добрый Боткин, не тревожься. Я жизнь люблю. Я в жизнь верю. Пусть объективный мир страшен — в нем есть радости. Первая из них — искусство. Что скажешь о молодом Лермонтове?

— Ты знаешь мое мнение о нем.

— Да ты читал ли его «Терек»? Это поэтический апофеоз Кавказа! Черт знает, страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится огромный русский поэт и что в нем Пушкин имеет наследника. Помнишь это: «С души, как бремя, скатится сомненье далеко — и верится, и плачется, и так легко, легко!» Какая прелесть! Верно?

Боткин не отвечал.

Белинский всмотрелся и увидел, что он спит. Нахмурился, засмеялся, подсунул подушку поглубже себе под голову и тоже уснул.

Утром, наспех позавтракав, Василий Петрович вскочил в коляску и помчался в торговые ряды в заведение батюшки своего, крупнейшего русского чаеторговца под фирмой «Боткин и сыновья», где до шести вечера погружался в дела коммерческие.

Белинский же завладевал кабинетом хозяина. Кругом громоздились тома Шекспира, русские, английские,— пещера, вырытая в книгах. Сегодня Виссариону не писалось. Другие, странные мысли завладели им. Снова этот мучительный бесконечный вопрос, который столько раз звучал в мире: что же она такое, в конце концов, эта пресловутая любовь? Улыбнулся, вспомнив изречение профессора Карла Вердера, этого покровителя русских студентов-гегелистов в Берлине: «Если человек задает себе вопрос,— значит, он еще не созрел для ответа». А может быть, этот из числа тех вопросов, на которые вообще

нет ответа? Право, в любви есть что-то непознаваемое. Любовь — это восприятие в себя одним существом другого существа вследствие необъяснимого мистического сродства их натур. Чувство это приходит само, незваное, и если кто, наскучив ждать, вздумает взять его сам, то жестоко срежется.

Белинский думал о себе. О своей влюбчивости. В кого? Он знал одно: видеть женщин, быть в их кругу сделалось его потребностью. Он признавался в этом с той беспощадностью, с какою относился и к другим. Я постоянно, подумал он, в каком-то донжуановском настроении. Жажда любви превратилась во мне в какую-то томительную хроническую болезнь...

Неистовый подошел к зеркалу, оглядел себя. Махнул рукой: на моем лице — печать отвержения, меня не может полюбить никакая женщина. В нем закипали гнев и отчаяние. Он страдал оттого, что его робость возрастает в чудовищной прогрессии. Как только я попадаю в чужое общество, рожа моя вспыхивает, голос дрожит, руки трясутся, я боюсь упасть. Да! Отчаяние мое смертельно. И вдруг я вижу прекрасное женское лицо: тут я вовсе умираю, я подлинно умираю, на глаза — туман, нервы опадают, словно передо мной удав, дыхание спирает, я в огне...

Однако ведь перед ним земное существо! Он и сам не мог понять, как детское обожествление женщины уживается в нем с отношением к ней как... как... ну, просто как к женщине, да, ни больше, ни меньше... Почему он прозвал ее «гризеткой», эту молоденькую мастерицу? Он подумал с какой-то угрюмой грустью: «Как хотел я развить ее чтением...»

Размышления его были прерваны стуком копыт под окном. Он выглянул и обрадовался. В коляске — Кетчер и Панаев.

— К нам! К нам! Едем в Химки к Щепкиным!

Как хорошо! Конец тоске! При мысли, что он увидит Шурочку Щепкину, он почувствовал себя счастливым.

Панаев, как всегда, щеголем: коричневый сюртук, светлый клетчатый жилет, шелковый галстук пышным бантом. Кетчер в своем шикарном черном плаще на красной подкладке. Белинский нерешительно оглядел свой поношенный сюртучишко. А, все равно! Там ведь все свои. В ногах у Кетчера большая круглая корзина, сквозь солому поблескивает серебрянная фольга. Заметив взгляд Белинского, Кетчер закричал:

— Это мы по дороге разопьем! По две бутылки на брата. Это тебе, Панаев, не твой сухопарый Петербург. У нас в Москве-матушке хлебосольной без шампанского ни шагу!

— Ты несправедлив к Питеру...— попробовал возразить Панаев.

Какое там! Разве Кетчера переспоришь! Разве перекричишь его! Всю дорогу до Химок он нещадно поносил все питерское. Куда холодной Неве до уютной Москвы-реки, чинному Невскому до гостеприимной Тверской, скучному салону Одоевского до очаровательного дома Елагиной! И вообще, кто выстрадал за Русь? Москва! Она искупительница России, она ее святыня. А Питер — ошибка Петра.

Неистовый поморщился:

— Не завирайся, Николай. Питер молод, он еще покажет себя...

Однако Кетчер не слушал, только отмахивался, стоя в коляске во весь рост и трепеща полами черно-красного плаща, как крыльями демона. А когда блеснул пруд, да зазолотились церковные купола, да забелели сквозь пышный, хоть местами уже глохну-

щий, сад колонны обширного дома, Кетчер размашисто ударил Панаева по плечу:

— Гляди, Панаев, есть ли что-либо подобное этой прелести у вас в Питере? Знаю я ваши дачи — дрянные карточные домики на болоте. Да ты смотри, какая роскошь!

А навстречу уже катился, подобно сказочному колобку, сам Михаил Семенович Щепкин, небольшой, полный, округлый, в просторном коломянковом костюме, впрочем с пятнами на лацканах, обмахиваясь на ходу широкополой деревенской соломенной шляпой. На крыльце стояла Шурочка, махала рукой. Черные глаза, густая черная коса, тонкое смуглое лицо,— в красоте ее было что-то южное, унаследованное от матери-турчанки.

Робость накатилась на Белинского. Он принудил себя вспомнить, что у него дело к Михаилу Семеновичу. Они отошли в сторонку.

— Мне нечего перед вами чиниться, дорогой друг,— сказал Виссарион.

Щепкин сразу догадался:

— Деньги нужны?

— Не ваши. Павлова Николая Филипповича. Вчера встретил его.

— Понимаю. Должен я ему сто пятнадцать рублей. Так он на вас перевел?

Белинский кивнул головой. Он тоже сразу все понял по внезапно погрустневшему лицу друга.

— Не огорчайтесь,— сказал Щепкин.— Сто не сто, а что-нибудь наберем. Ишь какой щедрый Николай Филиппович — за чужой счет! Ведь он богат... Да не любит он вас, Виссарион Григорьевич.

Не любит? А недавно, увидев Белинского, Павлов выскочил из кареты, подбежал, любезно расспрашивал о работе. Сам — модник, в накрахмаленном жабо,

желтых перчатках, лаковых сапогах. То и дело вынимает из кармана золотую табакерку и предлагает понюшку. А я-то рядом в дряхлом своем сюртучишке... Странное, право, существо этот Николай Павлов. Всего в нем намешано. Белинский вспомнил, как в одном обществе кто-то заметил, что ни к чему русским писателям изображать темные стороны российской жизни, не должно, мол, сору из избы выносить. Павлов тут же возразил: «Хороша же будет изба, если никогда из нее сору не выносить». Известно, сколь писатели чувствительны к неодобрениям. Но и к похвалам тоже. Нет сомнения, Павлов сохранил благодарную память о том, что Белинский в столь нашумевшей статье своей «О русской повести и повестях г. Гоголя» поместил Николая Филипповича среди крупнейших русских прозаиков.

Впрочем, это благоволение через несколько лет сменится своей противоположностью. Да и все они из славянофильского гнезда — журнала «Москвитянин» — и Хомяков, и Киреевские, и Погодин, и Самарин взъярятся на Белинского за его убийственный памфлет «Педант, литературный тип», где изничтожится этот бездарный, завистливый и трусливый ханжа Степан Шевырев, к которому Каролина Павлова, между прочим, прикрепит эпиграмму:

Преподаватель христианский,
Он духом тверд, он сердцем чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист!
По собственному убежденью
Стоит он скромно выше всех!..
Невыносим его смиренью
Лишь только ближнего успех.

Да бог с ним, с Павловым. Такие разболтанные души кончают обычно тем, что успокаиваются на черной стороне жизни...

Белинский поискал глазами Шурочку. Ее не было. Он забеспокоился. Где найти ее? В покоях? В саду? Он взбежал на крыльцо. Через террасу прошел в обширную комнату, которую тут называли гостиной бог знает почему. Хаос! Рядом с горкой красного дерева почему-то рукомойник. Длинный стол был накрыт к обеду. Тут же прямо на полу — пуховый тюфяк с разбросанными на нем подушками... Виссарион поморщился. Он не выносил беспорядка в доме. У него в его бедном жилье — чистота и аккуратность. Книги ровными рядами. Цветы. Не дай бог кому-нибудь наследить или сбросить на пол пепел — не оберешься упреков.

Народу тут было много. А вот в углу Шурочка, весела, оживленна, как всегда окружена молодежью. Как бы пробраться к ней... Для этого надо было обогнуть группу актеров. Там кипел спор. Белинский вслушался. Толковали о театре. Белинского окликнули:

— Говорят, вы освистали Каратыгина?

Белинский пожал плечами. Он смотрел Мочалова в «Гамлете» не менее десяти раз. Смотрел и Каратыгина и еще в покойной «Молве» тиснул весьма острую статейку: «И мое мнение об игре г. Каратыгина». А знаменитой статье своей ««Гамлет», драма Шекспира, Мочалов в роли Гамлета», он развивал своеобразную трактовку образа Гамлета, расходившуюся с распространенной, обычной, общепринятой характеристикой: Гамлет-де — воплощение слабой воли. Нет же, нет!

«От природы,— писал Белинский тогда,— Гамлет человек сильный: его желчная ирония, его страстные выходки в разговоре с матерью, гордое презрение и нескрываемая ненависть к дяде — все это свидетельствует об энергии и великости души».

Он писал о Мочалове, как о гениальном истолкователе этого образа:

«О, Мочалов умеет объяснять, и кто хочет понять Шекспирова Гамлета, тот изучай его не в книгах и не в аудиториях, а на сцене Петровского театра!»

Белинский находил прообразы шекспировой драмы в окружающей его среде, в современном обществе. Он писал о короле Клавдии:

«Он любит поесть и попить, но не просто, а так, чтобы каждый глоток его сопровождался звуками труб; он любит пиры, но так, чтобы быть героем их; он любит не рабство, но льстивые речи, низкие поклоны, знаки глубокого и благоговейного уважения, как любят их все выскочки...»

— Так освистали или нет?

Белинскому не хотелось отвечать... Что ж, было такое... Давали трагедию Кукольника «Роксолана». Гастроль Каратыгина. И не в том дело, что пьеска посредственная. В игре Василия Каратыгина все было ненавистно Белинскому. Он тогда же написал в «Молве»:

«Где нет истины, природы, естественности, там нет для меня очарования. Я видел г. Каратыгина несколько раз и не вынес из театра ни одного сильного движения... У него есть талант, но... не природный, как у г. Мочалова: талант ходить, говорить, рассчитывать эффекты... но не увлекать души зрителей».

— Что же, господа,— сказал Белинский,— не отпираюсь. Действительно, свистал и шикал. Смотря на Каратыгина, ни на минуту не забываешь, что он актер; а в Мочалове представляется человек со всеми его достоинствами и пороками. Мочалов, например, вполне постиг тайну характера Гамлета и вполне передал ее своим зрителям...

Говоря это, Белинский, конечно, не мог знать, что

довольно скоро он встретится с Каратыгиным и между ними произойдет острый спор уже не на журнальных страницах и не на театральных подмостках, а просто лицом к лицу.

Произойдет это в присутствии литературных и театральных знаменитостей на торжественном обеде в ознаменование выхода нового журнала: «Пантеон русского и всех европейских театров». Впервые тогда Белинский увидит Каратыгина не на сцене, а, так сказать, «в миру»: громадный рост, густой бас, величаво цедит слова с многозначительными паузами. Виссарион поразится огромности его лица, обширного, как сценическая площадка, пустая, пока на ней не разыграются страсти, хоть и красивого, однако лишенного собственного выражения, но готового мгновенно стать грозным или задумчивым, печальным или жестоким в зависимости от роли. Каратыгин, кстати поддержанный Булгариным, двинется в атаку на Белинского:

— Я, молодой человек, жизнь отдал искусству. Я, без ложной скромности, царю на театре уже десятки лет. Мне ли учиться у каких-то, простите, незрелых критиков, едва сошедших со школьной скамьи и дерзающих ставить мне в пример игру каких-то там московских Мочалкиных...

Тут Неистовый не выдержит. Боевой дух его только воспламеняется от запаха драки. К тому же это презрительное искажение имени Мочалова...

— Я не отрицаю ваш талант,— начнет он тихо и вежливо,— но я не поклонник классического сценизма, ни певучей декламации, ни, простите, менуэтной выступки, то есть танцевальной походки. Да, вы равно выступаете во всех ролях — вы и Карл Моор, и Дмитрий Донской, и Ермак, и Фердинанд, и всюду вы один и тот же: холодный декламатор.

Тут опять вмешается редактор «Северной пчелы» и платный полицейский агент по части литературы Фаддей Булгарин и визгливым голосом закричит о глупых журналах и о полупомешанных новоявленных пророках искусства и науки.

Но Белинский заставит замолчать их обоих, впрочем обращаясь к одному Каратыгину, подчеркнуто не обращая внимания на Булгарина:

— Ни разу вы не вызвали у меня восторг или слезу. У вас все — театральные штуки. А у Мочалова — страсть, истинные чувства, вулканическое вдохновение. У вас же — эффектные, грациозные, живописные позы. А искусство без чувства — это классицизм, холодный, как зима...

И уходя с этого обеда, распаленный спором и довольный собой, скажет спутнику своему, Ивану Ивановичу Панаеву:

— Ну что прикажете делать с Каратыгиным, он ведь просто глуп.

Теперь из недалекого будущего — в близкое прошлое — обратно к Щепкину. Стало быть, Белинскому двадцать семь лет. Шурочке Щепкиной двадцать два. Не так уже велика разница. (Совпадение: когда Виссарион родился, отцу его было двадцать семь, матери — двадцать два!) Итак — жениться. Да, брат, это будет разумно... Что ж, значит, Виссарион совсем не сомневался в ее согласии? Во всяком случае после тех слов, что она сказала, а особенно после нескольких ее взглядов, от которых у Виссариона блаженно закружилась голова, он решился.

И вдруг в самый разгар этих сладостных предвкушений оказалось, что у него — соперник. И кто бы вы думали? Мальчишка этот, Миша Катков, молодой

глуздырь, как с дружеской насмешливостью называл его Белинский.

Более того: роман-то их начался, как вскоре выяснилось, давно, еще до Белинского. Потом влюбленные поссорились, а позже помирились. Но именно в этом промежутке Шурочка подарила Виссариону от сердечных щедрот своих те несколько слов и взглядов, которые перевернули ему сердце.

Однако как это все распуталось?

Помог, спасибо ему, Шурин брат, Дмитрий Щепкин. Хотя значительно раньше мог это сделать всезнающий Вася Боткин. Не сделал. Принял сторону Каткова. А перед Белинским слукавил. Вот такая натура у Василия Петровича. С перепадами. Он и Дмитрия поначалу восстановил против Белинского. И Дмитрий с неудовольствием — нет, даже с враждебностью, больше того — с презрением, с ненавистью наблюдал за ухаживанием Белинского за Шурой, ухаживанием, которое сам Виссарион в исповедальном письме к Станкевичу называл: «молодецкая поведенция».

К счастью, Дмитрий во всем разобрался и, как выразился Виссарион в том же письме, «из исца сделался моим адвокатом». Словом, было тут все: и мучительная ревность, и оскорбленное мужское самолюбие, и истинные страдания.

Белинскому не везло в любви. Обе Александры, и Бакунина и Щепкина, отвергли его. Он полюбил «гризетку». В ту весну, когда он сошелся с ней, он был полон надежд. Впоследствии он признавался: «...до сих пор не понимаю, что я чувствовал к гризетке... должно, это была страсть...» Он не нашел в этой девушке того, что ему вначале в ней привиделось. Когда он распознал, что сила его чувства не будет понята, он был потрясен. Он пытался приохо-

тить ее к чтению. Их вкусы не совпадали. Его ужасало, что она ставит Бенедиктова рядом с Пушкиным. «Эко сравнила! — сердился он.— Бенедиктов и Пушкин! Далеко кулику до Петрова дня!..»

Он пытался наставлять ее и в науке. Вероятно, надо было начать с арифметики, с грамматики. Он же пробовал объяснить ей философию Гегеля. Она хохотала и закрывала ему рот поцелуем. Он впал в отчаяние бешеное, исступленное. Тут, как ни странно, помог ему самый холодный из его друзей, «логический скелет», как его называли,— Мишель Бакунин. Утешал, призывал к восстанию, к разрыву и наконец увлек в Премухино. Он убеждал Виссариона:

— Взять создание темное, легкомысленное, может быть даже порочное, и соединить с ним жизнь — это значит пожертвовать собою, своим призванием, своим назначением — ради чего? Ради чувственных услад?..

И Виссарион восстал, вырвался из трясины. Почти вытолкал от себя «гризетку». Не без душевных потерь. Горевал. Какая-то кроха сердца его все же осталась там, у нее.

И через некоторое время желание увидеть «гризетку» вспыхнуло с такой непреодолимой силой, что он пошел к ней. Пошел туда, в тот дом, который он сам называл «сонмищем нечестивых». Ну и компания там была! У Виссариона хватило благоразумия пойти туда не одному. Он захватил с собой, видимо из предосторожности, глубоко преданного ему Тимошу Всегдаева. Там было шумно. Виссарион послал за вином, поил компанию, сам пил. А она? Тимоша не отводил от нее глаз, по-видимому не ожидал, что она так хороша. Ни капельки, по словам Виссариона, не изменилась. Но он уже ничего к ней не чувствовал. С радостью он ощущал свою свободу. Для этого стоило прийти сюда.

В конце концов Тимоша выпросил у нее свидание. Оно, впрочем, не состоялось, «сонмище» внезапно съехало с этой квартиры неизвестно куда.

Волна чувственности временами накатывалась на Виссариона с такой ошеломительностью, что он терял себя. И хотя он говорил: «Моя чувственность не грех, не подлость, не преступление, а попытка вырвать у скупой жизни хоть что-нибудь»,— очнувшись, он осуждал себя, и не было у Белинского судьи более беспощадного, чем Белинский. В порыве самобичевания он написал Мишелю:

«Это было ужасное время для меня: физические страдания, душевные страдания, потом еще другие безотрадные страдания — все это вместе взятое сделало то, что во мне человек умер — остался один самец».

Но так ли это было в действительности? Не прибавлено ли в этой непрошеной исповеди Белинского кое-что из его воображения, порой необузданного? Другими словами, не преувеличивал ли Неистовый в восторге самобичевания действительные увлечения своего темперамента? Мы ведь знаем, что в то время он усиленно работает для руководимого им журнала «Московский наблюдатель», что он напряженно совершенствуется в немецком языке и специально для этого переводит гетевского «Вильгельма Майстера», что он принимает экзамены по русскому языку в Межевом институте, что он поглощает огромное количество литературы и рецензирует множество книг самых разнообразных жанров, что он ведет огромную переписку, рассылая своим корреспондентам многостраничные письма...

Он боролся. Вернувшись рано от Щепкиных и почувствовав, что на него наступает то, что он назы-

вал «жгучей лихорадкой сладострастия», он решил утомить себя длительной прогулкой. На этот раз не в лес. А по Москве. Да, утомить и развлечь. Дать своему томлению другой проток.

Он пробежал сквозь густой Новинский бульвар, почти не заметив его. Миновал Арбат. Поднялся по Никитскому бульвару. Там толпились студенты, ожидая, не выйдет ли из дома Талызина на свою ежедневную прогулку великий загадочный Гоголь, постукивая тростью, быстрой порывистой походочкой, низко опустив остроносое свое лицо.

Заглянул Виссарион в кондитерскую, наскоро полистал журналы. Так и есть, он был прав, когда писал, что «у нас любят критику»,— об этом нет спора. Книжка журнала всегда разогнута на критике, первая разрезанная статья в журнале есть критика. Ему принесли чашку кофе, бисквит, рюмку вина. Листая старую книжку «Телескопа», заметил кем-то отчеркнутые строки. Прочел:

«Мы, со своей стороны, всегда думали, что поэт не может и не должен быть рабом истории, так же как он не может и не должен быть рабом действительной жизни, потому что в том и в другом случае он был бы списчиком, копиистом, а не творцом... он вправе делать пропуски, неважные анахронизмы, вправе нарушать фактическую верность истории, потому что ему нужна идеальная верность».

Строки эти, неоднократно, видимо, читанные, судя по измятости страницы, были из его статьи.

Вино и кофе приятно согрели Виссариона. На Моховой возле церкви св. Георгия он забежал по старой памяти в трактир, известный среди студентов под названием «Сучок» — от имени владельца его Сучкова. Но не остался в этих шумных и дымных залах. Ему неприятно было вспоминать об университетской

своей поре, заполненной рутинными лекциями, пошлыми поучениями и бессмысленными придирками начальства. Только о товариществе он вспоминал с нежностью, о дружной компании комнаты № 11 в общежитии. Но как далеко он ушел от этого!

У Спасских ворот Кремля, как всегда, толчея и грязь на тротуаре. Несколько человек, опустившихся в эту грязь коленями, молились на образ Смоленского Спаса. Тут же монахи-расстриги продавали лубочные картинки, бабы в платках рассыпали зерно голубям. Над зубцами Кремлевской стены высился красавец-великан — колокольня Иван Великий. Виссариону вспомнился восхитивший его образ Герцена: «...часовой, поставленный Годуновым, ...в белой одежде и золотой шапке».

На Каменном мосту Неистовый остановился, оперся на перила. Ползли баржи с дровами. Медлительный пожар заката кровавил реку. Было далеко видно, до лесистых холмов Нескучного, Воробьевых гор. Виссарион стоял, ни о чем не думая. Он чувствовал, как яснеет голова, как улетучивается все тягостное, ненужное, что пригнетало его к земле.

Он шагал бездумно по Большой Полянке, мимо особняков с мезонинами и высокими глухими заборами. Остановился, любуясь, против церкви Григория Неокесарийского. Маленькая, приземистая, с узорчатыми кирпичными стенами, потемневшими от времени, она таила в себе очарование какой-то грациозной скромности.

Потом он свернул налево и дошел до Татарской слободы. Пройдя ее, вышел на Болвановку. Название это давно удивляло его. Он остановил проходившего мимо молодого человека в пледе, накинутом на плечи, видимо, студента. Извинившись, спросил, не знает ли он происхождение этого странного прозвища

улицы. Студент оказался любезным и словоохотливым.

— А как же,— сказал он,— изволите видеть, здесь русские князья встречали ханских баскаков, приезжавших из Орды за данью. И здесь же в знак покорности повинны были князья преклониться перед татарскими идолами, иначе — болванами.

— Полно врать! — вдруг отозвался стоявший у ворот детина в армяке и с метлой в руках, дворник, видать.— Не слухай его, барин. Урочище наше названо Болвановкой, потому здесь жили когда-тось мастера-болванщики, они, стало, изготовляли всякие металлические вещи на болванках. Вот тебе и Болвановка.

— Ошибаешься, брат,— возразил студент,— не здесь жили болванщики, а совсем на другом краю Москвы, у Таганки, у Швивой Горки.

— А может, и там,— вдруг согласился малый и зевнул так широко и сладко, что Виссарион и студент усмехнулись, а малый перекрестил рот и взялся за метлу.

— А зачем рот крестишь? — спросил Виссарион улыбаясь.

— Чтобы черт в него не вскочил,— сказал малый строго.

— Скажи лучше, чтобы не выскочил,— сказал студент.

— Но, но! — закричал малый и замахнулся на него метлой.

Но студент засеменил вприпрыжку по обочине, напевая гнусавым тенорком: «Законы осуждают предмет моей любви...»

Уже стемнело, когда Виссарион вернулся домой, успокоенный, просветленный, словно омытый Моск-

вой, ее зелеными бульварами, тихими переулками, смугло-золотыми главами церквей, воркованьем голубей, покойным течением реки в оранжевом зареве заката...

Шаг на месте

> Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы.
>
> *Герцен.* «Былое и думы»

Граф Строганов — попечитель Московского учебного округа. Вот он и не оставляет Белинского своими попечениями. Уж на что он ретив и бдителен, а был грех на графе: проморгал появление в «Телескопе» «Философического письма» Чаадаева. Вот этот грех попечитель и смывает: печется о Белинском. Не разрешил ему выезд за границу. Труд его «Основания русской грамматики» дал на растерзание цензору Снегиреву — Совестдралу.

Откуда доставало у Неистового силы в эти тяжкие дни восхищаться действительностью? Или правильнее сказать: заставлять себя восхищаться действительностью?

Приторно-слащавое письмо Жуковского об умирающем Пушкине, эта фальшивка, от которой нас воротит даже сейчас, почти через полтора столетия,— повергает Белинского в восторг. Он восклицает:

«А это умиляющее и возвышающее душу внимание монарха к умирающему страдальцу, это отеческое внимание, которым венценосный отец народа

поспешил усладить последние минуты своего поэта...»

Или этот поистине непостижимый дурман экстаза (по выражению Панаева), в котором Белинский цитировал из «Ричарда II» Шекспира:

«...елей с помазанного короля
Не могут смыть все волны океана».

Да, Белинский во всем шел до конца. И в заблуждениях — тоже. Он сам о себе сказал:

— Я не люблю срединных мнений.

Его рецензия (которую он же впоследствии назовет «глупой статейкой») на «Бородинскую годовщину» Жуковского, написанную по поводу торжественного открытия памятника на Бородинском поле, полна монархических восторгов. Правда, совесть художника вынудила его все же сказать об этом парадном изделии Жуковского:

«Как стихотворение, обязанное своим появлением не прихотливому порыву фантазии, а навеянное современным событием, оно не должно подвергаться в целом строгой критике».

В том же роде была и другая рецензия Белинского — об «Очерках Бородинского сражения» раскаявшегося декабриста Ф. Глинки. Монархические восторги, впрочем, не помешали Неистовому написать о стихотворении Глинки «Погоня», что это не более чем «вода рифмованной прозы и изысканная затейливость вымысла».

Но хорош-то был Мишель Бакунин, который поддерживал в Белинском монархический жар и в разговоре с ним одобрял его славословия самодержавию, а за глаза потешался над ними!

Многочисленных поклонников Белинского эти статьи его огорчили и даже возмутили. Грановский

излил свое сожаление и досаду в письме к Станкевичу:

«Вообрази, душа моя, что мне везде приходится защищать его от упреков и подлости. Более всего мучит то, что студенты наши — и лучшие — стали считать его подлецом вроде Булгарина, особливо после последней статьи его. Ты знаешь, с каким остервенением защищает он свои мнения, до каких крайностей доводят его противные мнения. Он в самом деле говорит дичь. Статья его действительно гнусная и глупая».

Да, Грановского это мучило, ибо он полюбил Белинского. Он недавно приехал из Берлина в Москву и быстро подружился с Виссарионом, хоть Грановского порой смущала страстность Белинского, а Белинского временами раздражала мягкость Грановского. Чем-то, быть может чистотой взглядов, широкой образованностью, а более всего, вероятно, врожденным изяществом натуры, напоминал он Виссариону Станкевича. Как и в Станкевиче, в нем была большая сила нравственного обаяния, естественное соединение мягкости нрава и твердости убеждений. О нет, в своих суждениях о политике Грановский отнюдь не был угрожающим, он был не более, чем негодующим. Но хотя он и не бросался в атаку на царский режим, он и не сдавался ему в плен. Словом, они сошлись близко.

Правда, когда несколько лет спустя Грановский поместил статью в «Москвитянине», Белинский отказался прочесть ее.

— Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? — сказал Неистовый Герцену.— Нет, я не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидание!

В статье Грановского, собственно, не было ничего противоречащего прогрессивным к тому времени убеждениям Белинского. Это была популяризаторская статья на историческую тему о возникновении прусского государства. Но «Москвитянин» — орган мракобесов, и Белинский был возмущен невзыскательностью в этом случае Грановского, хотя остался с ним дружен.

Белинский часто приходил к Грановскому. Человек общительный и всегда стремившийся поделиться с друзьями своими счастливыми находками, Белинский приходил к Грановскому с разными людьми, вводя его таким образом в свой круг.

— Пошли к Шепелявому,— говорил он.

Такую кличку приобрел от московских острословов Грановский за недостаток своего произношения. Его нельзя было назвать красавцем — слишком крупны черты его долгоносого лица. Но было большое очарование в его улыбке, кроткой и чуть грустной, во взгляде, блиставшем умом и добротой. Когда он оживлялся, его несколько замедленная речь становилась вдохновенной. Он вскоре прославился своими лекциями, на них приходили студенты всех факультетов. А на публичные его чтения по истории в полукруглое университетское здание на углу Большой Никитской и Моховой стекалась вся интеллигентская Москва. Что, казалось бы, ей до средневековья, о котором толковалось в этих публичных лекциях? Но в том-то и дело, что из рассказов Грановского о прошлом рождалась вера в лучшее будущее для России. Из самого хода истории Грановский выводил идею общественного долга. История средневековья, оставаясь наукой, становилась путеводительницей в невзрачной современности, превращалась в школу воспитания гражданских чувств.

Грановский болел за Белинского. Он считал, что Виссарион портит свою будущность: вместо того чтобы влиять на людей он внушает им дурное о себе мнение. Главное, он подрывает свою популярность в среде молодого поколения. Его уже хвалят мракобесы в Английском клубе. Грановский, близкий к студенчеству, с грустью убеждался, что живая, горячая университетская молодежь отшатывается от Белинского. А сам Виссарион, зная об этом, считает их ограниченными, а себя — героем и проповедником истины. Не только от Грановского знал Белинский о настроениях студентов. Запинаясь, с трудом подыскивая выражения поделикатнее, рассказал ему о думах и чувствах своих товарищей Тимоша Всегдаев, хоть уже и на выпуске, а все еще студент.

— Это мои убеждения,— резко ответил Неистовый, вперяя в Тимошу пылающий взгляд,— я не стыжусь их, а горжусь ими. Меня назовут льстецом, пусть даже подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями,— что ж! Что мне до мнений и толков черт знает кого! Я только дорожу мнением людей развитых и моих друзей. Они-то не заподозрят меня в лести и подлости. Против же убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки. Подкупить меня нельзя! Мне легче умереть с голода, чем потоптать свое человеческое достоинство или продать себя...

Тимоша молчал. Страдал и молчал.

А ведь и в самом деле Белинского пытались купить.

Как бы ненароком забежал к нему Валера Разнорядов. Виссарион с трудом припомнил его.

Щегольской сюртук, полуцилиндр, модный клетчатый жилет выдавали в нем человека с достатком.
 Он тоже был на выпуске и намекал, что получает со-

лидное назначение в столице. Уже не было в манерах его искательности, напротив, в них появилась важность, а в разговоре с Тимошей он стал держаться даже покровительственного тона.

Обиняками повел Валера Разнорядов речь издалека, постепенно от Фенимора Купера добрался до Погодина и Шевырева и сообщил,— не как свое мнение, боже упаси! — а как слушок, якобы витающий по Москве,— что сии два профессора (при этом Валера довольно удачно передразнил тоненький певучий тенорок Шевырева), что они, стало быть, не прочь бы в затеваемой ими новый орган русской мысли «Москвитянин» привлечь на весьма и весьма небезвыгодных условиях уважаемого ими Виссариона Григорьевича, коего последние патриотические произведения...

Тут Белинский, который дотоле лежал на диване, вяло прислушиваясь к матовому речитативу Валеры Разнорядова, при последних словах его вскочил и закричал:

— Черт возьми этих подлецов и идиотов! Не надо мне их денег, хоть осыпь они меня золотом с головы до ног!

Валера мгновенно истаял со сноровкой опытного привидения.

В те же дни пришел Герцен Александр Иванович. Белинский приветствовал его радостно и настороженно. Их влекло друг к другу. Герцену нравился бесстрашный ум Белинского. Виссарион восхищался бурлящей талантливостью Герцена, его всесторонней образованностью.

Герцен не спешил начать разговор, уселся, огляделся. Белинский что-то мямлил, крошил пальцами

хлебную корку, валявшуюся на столе, да посматривал выжидающе на Александра Ивановича. Тот тоже говорил о чем-то незначительном и потирал в непривычном смущении свой полный подбородок. Он не носил ни усов, ни бороды. Небольшие бакенбарды обрамляли его лицо. Самыми поразительными чертами в нем были глаза, карие, оживленные проницательностью и энергией, и рот, отлично вырезанный, с насмешливой складкой. Нос — ну, над ним потешался сам его обладатель: «У меня типичный русский бесформенный нос».

Вдруг Герцен поднялся. Ах, так? Значит, будет разговор. Виссарион уже знал, что Александр Иванович любит разговаривать стоя. Живость натуры не позволяла ему покоиться в креслах. Отмеряя широкими шагами комнату, он обычно изливался в потоках блистательного красноречия и остроумия, иногда ошеломляющего.

Белинский тоже встал. Оба покуда молчали. В комнате висела предгрозовая тишина... И сразу — удар грома. Извергнул его Герцен:

— Послушайте, Белинский, признайтесь все-таки, ведь эту знаменитую философскую фразу Гегеля — «все действительное разумно» — грех понимать как оправдание всякой действительности. Согласитесь, наконец, что это несерьезно.

Виссарион воинственно вздернул голову:

— А как же прикажете ее понимать?

— Ну, она есть выражение достаточности причины и соответственности логики и фактов.

— Э, нет, Герцен, не ускользайте в философские хитрости. Гегель сказал то, что хотел сказать.

— Подождите, Белинский, если все действительное разумно, то и действительная борьба с ним тоже разумна.

— Герцен, это софизм!

Герцен повернулся на каблуках, заложил руки в карманы и отчеканил:

— Знаете ли вы, Виссарион Григорьевич, что с вашей точки зрения получается, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения! — выкрикнул Белинский.

— Белинский, опомнитесь! Посмотрите вокруг себя. Что вы оправдываете?!

Виссарион, не отвечая, схватил печатный лист, лежавший на столе, и начал читать. Герцен с первых же строк узнал придворные стихи Жуковского «Бородинская годовщина». Когда Белинский дошел до слов:

Если царь велит отдать
Жизнь за общую нам мать,—

Герцен не выдержал, взял шляпу и, не прощаясь, пошел к дверям.

— Для человека,— кричал Белинский, следуя по пятам за Герценом,— истина существует прежде всего как непосредственное созерцание, во глубине его духа заключающееся!

Герцен остановился.

— Слушайте,— сказал он,— вы подпираете царя Гегелем. А самому-то царю на Гегеля и на всех философов наплевать. Вы распинаетесь за него в вашей, простите, позорной статье «Бородинская годовщина». А он-то, Николай, и знать ваших лакейских статей не хочет. А узнал бы, сказал бы: «Не лезь не в свое дело».

Белинский от возбуждения сначала не мог ничего выговорить, потом закричал так громко, как если бы ораторствовал на площади перед народом:

— Пора посмирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью

перед событиями, где действуют народы со своими руководителями и воплощенная в них история.

Ужас изобразился на лице Герцена.

— Белинский,— сказал он,— этот ваш отказ от прав собственного разума ведь это какое-то непонятное чудовищное самоубийство...

Он круто повернулся и выбежал. Он не хотел более ни слышать Белинского, ни видеть его. Он быстро сбегал по лестнице. До него доносились отдельные слова, которые Белинский выкрикивал ему вдогонку, свесившись над перилами:

— ...мудрецы... вам достаточно четверть часа, чтобы с сигарой во рту перестроить мир на свой лад...

Вернувшись в комнату, Виссарион бросился на стул и долго гулко кашлял. На лице у него было отчаяние...

Там, внизу, Герцен прислушивался к этому надрывному кашлю. Сам-то он ощущал свои легкие, как два монгольфьера. Казалось ему, стоит только вдохнуть побольше воздуха — и он плавно взлетит ввысь.

Но этот ужасный кашель там наверху... И с этакой грудью Виссарион еще собирается переселиться в Петербург, сырой, промозглый... На лице у Герцена было страдание...

Да, в Петербург. Уже все с Краевским договорено. Панаев, добровольный посредник, обожатель Белинского, отлично уладил всю деловую сторону. По просьбе Виссариона («Уж вы не говорите Краевскому о моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня...») Панаев действительно умолчал о бедственном положении Виссариона. Но не Панаеву с Белинским обвести вокруг пальца такого коммерческого, такого гостинодворческого мужчину, как Ан-

дрей Александрович Краевский. Условия, предложенные им, были довольно прижимистыми. Аванс на отъезд совсем крошечный — на уплату долгов не хватит, наоборот, придется новые сделать. А там в Питере — три с половиной тысячи рублей ассигнациями в год (стало быть, серебром это выходит одна тысяча). За это Белинский обязывается вести в «Отечественных записках» весь критический и библиографический отдел...

Но в общем Панаеву спасибо. Вот славная душа! Белинский чрезвычайно расположился к нему, скучал без него и обрадованно встречал его, когда тот входил, сияя улыбкой на лице живом и добром, являвшем собой опрокинутый треугольник, упиравшийся вершиной в снежной белизны воротничок и широкий бант галстука. Вообще щеголь, по-барски ухоженный: длинные, хорошо расчесанные усы, длинные же красивыми прядями кудри, едва ли не профиксатуаренные. Да ведь никак нельзя иначе, жена — красавица. У Авдотьи Яковлевны плечи божественные, глаза большие, изумрудно-зеленые. Застенчива и естественна, ничего в ней от актерской семьи, из которой она происходит. И до того юная,— выглядит еще моложе своих двадцати,— что Белинский с ней — добродушно-насмешливо, как с девчонкой.

Ну вот и ехать. Пришлось все-таки забежать к Нащокину и перехватить двести рублей. Нельзя же в Петербург без копейки. Да и приодеться надо. Для экономии перед отъездом перебрался Виссарион к Боткину. Тот уговорил взять у него семьсот... Да еще старый долг Вологжанинову — триста... Ну, и мелкие разным лицам, в том числе в овощную лавку и в цветочный магазин, и сапожнику, и портному, и булоч-

нику, и банщику, и Дарье Титовне, кроткой старушке, что вела его хозяйство...

Панаев торопит. Книги увязаны, уже в карете. Виссарион грустен необычайно.

Провожают трое. Разговор не вяжется. Один Кетчер пытается шумно острить. Но и он быстро выдыхается в этой атмосфере невеселого молчания и принимается поудобнее устраивать стоящую у него в ногах корзину, откуда из-под соломы что-то стеклянно звякает. Вася Боткин не сводит взгляда с Белинского, а Миша Катков уставился куда-то вдаль.

Но вот и первая станция — Черная Грязь. Пока перепрягают лошадей да проверяют подорожные, друзья усаживаются в зале за столиком. Кетчер вынимает из корзины шампанское.

— Не забывайте меня, господа,— шепчет Белинский.

Катков обнимает Виссариона, целует. Ну, а Кетчер распахнул свой сатанинский плащ, черный, на красной подкладке, и тянется к Белинскому с бокалом шампанского. Виссарион, вопреки своему обычаю, пьет. Кетчер громогласно наказывает ему, чтобы там, в Питере, он подмял под себя Краевского. Виссарион молчит. Поглядывает на часы. Боткину показалось, что он к ним охладел. А Виссариону просто не по душе всякие чествования, именинные торжества, юбилеи, проводы.

Тронулись наконец. Белинский не захотел оглядываться, чтобы не разрыдаться. Оглянулся Панаев. Вася Боткин машет большим клетчатым платком, Миша Катков — руки сложены на груди, голова опущена, значительный взгляд исподлобья — чистый Наполеон. Кетчер приветственно вздымает бокал...

Часть II. ПЕРЕМЕНЫ

В заботах суетного света

Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление.

Стендаль

Успели только стряхнуть с себя дорожную пыль и сразу — к Краевскому. Увидев Белинского, Андрей Александрович бросился обнимать его, крепко прижимая щуплого критика к своему объемистому животу, тыкался к нему в лицо своими пышными кавалерийскими усами и все повторял:

— Наконец-то приехал спаситель мой!

Виссариону это, разумеется, понравилось. Он оттаял и принялся развивать вслух проекты своих будущих статей. Андрей Александрович на все восторженно кивал головой и повторял:

— Только вы, Виссарион Григорьевич, оживите мой журнал. Да, впрочем, почему я говорю: «мой»? Он ваш!

Панаев Иван Иванович больше помалкивал. Он хорошо знал цену грубоватой любезности и туповатым шуточкам своего зятя. Конечно, Неистовый ему сейчас нужен до зарезу. Только его блистательное перо и неукротимая работоспособность могут поднять чахнущие «Отечественные записки».

Совсем плохо получилось с квартирой. Еще в Москве Иван Иванович обнадежил Виссариона:

— В доме у меня на первом этаже две комнаты совершенно свободные. Это ваши будущие кабинет и спальня.

Оказалось, что Марья Екимовна, мать Ивана Ивановича, дама властная, заграбастала эти комнаты для своих приживалок и домашнего врача.

Отвратительная сцена разыгралась. Иван Иванович топал ногами и кричал на весь дом. Марья Екимовна тоже из голосистых. Белинскому было ужасно не по себе, он рад бы уйти, но куда? С величайшими извинениями устроили его в комнатку Вали Панаева, родственника, приехавшего из провинции для поступления в Институт инженеров путей сообщения, впрочем юноши тихого и скромного, взиравшего на Виссариона Григорьевича с обожанием.

Поостыв, пошли пройтись. Белинский взволнованно оглядывал Невский проспект, его обессмертил Гоголь в своих повестях. Да, да, все так, все верно! И палевые стены домов, и гремящие по тротуару сабли офицеров, и бакенбарды всех мастей и размеров, и дамы, похожие на воздухоплавательные шары, и крики форейторов...

А не здесь ли молодой художник Пискарев во фраке и плаще, в шляпе с высокой тульей, на ходу влюбился в прелестную незнакомку, похожую на Перуджинову Бианку?

И не на том ли вон перекрестке коллежский асессор Ковалев гнался за собственным носом, одетым в мундир, шитый золотом, замшевые панталоны и в шляпе с плюмажем?

И не на той ли площади значительное лицо, направляясь в игривом настроении к знакомой даме, было схвачено за шиворот рябоватым рыжеватым че-

ловеком, в коем к ужасу своему лицо узнало покойного титулярного советника Акакия Акакиевича Башмачкина?

А не подле этого ли магазина другой титулярный советник, Поприщин, с лицом несколько похожим на аптекарский пузырек, подслушал удивительный разговор двух собачек — Меджи и Фидельки?

Да, да, все так, все верно. Да и может ли быть иначе? Ведь и Гоголь впитывал эту умопомрачительную улицу жадными глазами провинциала...

Зашли в знаменитую кондитерскую Вольфа и Беранже и, хоть сыты, съели — просто для биографии — по слоеному пирожку.

На углу Мойки какой-то грузный неуклюжий мужчина изумленно воззрился на них воспаленными глазами, приподнял цилиндр и поманил Панаева. Иван Иванович извинился перед Белинским и отошел. Виссарион посмотрел на мужчину,— в лице его, обрамленном бакенбардами, было что-то крысиное. Мужчина тем временем шепотком допытывался:

— Извините, почтеннейший Иван Иванович, скажите, пожалуйста, это кто же с вами идет?

— Белинский,— отвечал Панаев.

— А-а! — протянул мужчина.

С нескрываемым любопытством он оглядел Виссариона, который задумчиво смотрел в смугло-серебряные воды Мойки.

— Так это, стало быть, Иван Иванович, и есть тот бульдог, которого вы выписали из Москвы, чтобы травить нас?..

Махнул рукой и затрусил далее.

— С кем это вы? — полюбопытствовал Белинский.

— С Булгариным,— ответил Панаев.

И рассказал свой с ним разговор. Виссарион хохо-

тал, как ребенок. Похоже, что ему это даже польстило.

Долго гуляли они и по Морской, и по Дворцовой площади, и по набережным. После холмистой, овражистой Москвы Белинскому непривычной показалась равнинность Петербурга, и это низкое серое небо, и этот моросящий туман, в котором газовые фонари расплывались фантастическими заревами.

О Белинском слух пошел по литературному Петербургу. Положительно он вошел в моду. Иван Иванович сделался при нем кем-то вроде поводыря и острил о себе:

— Я вожу Белинского всем показывать и беру со всех за это по полтиннику, чем хочу составить себе состояние.

Из первых же заработанных денег поспешил Виссарион расплатиться с московскими кредиторами. Сложная финансовая операция! Краевский написал письмо московскому книгопродавцу Ширяеву, чтобы тот выдал «подателю сего» 1300 рублей ассигнациями. Письмо это Белинский переслал в Москву родственнику своему Дмитрию Иванову. Аккуратный и преданный Митя, получив от Ширяева деньги, тотчас пошел отдавать долги. Прежде всего Боткину — семьсот. Засим, осведомившись у Щепкина о местожительстве Нащокина, пошел к нему в Воротниковский переулок. По просьбе Виссариона извинился за просрочку и вручил двести рублей. Деликатнейший, изысканно вежливый Павел Войнович рассыпался в благодарностях и заметил, что должок этот не стоит извинений и беспокойства.

Что касается Вологжанинова, то этот бывший сокурсник Белинского, кстати сказать кое-чем ему обязанный, получив свои триста, потребовал проценты,

чем привел в негодование добрейшего Митю Иванова. Из остатков денег были удовлетворены портной, банщик, булочник, милая старушка Дарья Титовна и прочие мелкие заимодавцы. Вскоре тем же путем перевел Белинский еще семьсот рублей, из коих двести Митя Иванов вручил в уплату долга поэту Клюшникову, Дарье Титовне в окончательный расчет — триста двадцать пять и сверх того ей же в подарок от Виссариона фунт восьмирублевого чая и головку сахара, чем привел старушку в умиленно-восторженное состояние. Остальные же деньги пошли на экипировку юного лоботряса — младшего брата Белинского Никанора, готовившегося в университет и удручавшего Виссариона своим невежеством.

Без людей Неистовый томился. Все, что было воинственного в его душе, жаждало противников, чтоб их опрокидывать. Все, что было нежного, искало друзей, чтоб их любить и опекать. И люди к нему тянулись. Оказавшись в Питере, он в первые дни был близок только с Панаевым. Впрочем, и впредь до конца недолгих дней своих он любил его,— быть может, больше всех своих друзей. А ведь в отношении некоторых его постигло разочарование. Да, Иван Иванович — бонвиван, светский шаркун, но и честный литератор, и дарования не лишен, а более всего — горячее открытое сердце. А в человеке Неистовый всю жизнь ценил более всего сердце. Привязанность его к Панаеву временами даже вызывала ревность кой у кого,— у Гончарова, например, огромного художника, но особыми щедротами сердца не обладавшего.

— Белинскому,— хмурясь заметил он Кавелину,— не простят так снисходительно, как прощаем мы, его почитатели, пристрастие его к друзьям, где

у него строгость сознания и суда уступала сердцу,— он хвалил преувеличенно Панаева...

Но сам тут же признал, что вокруг Белинского, где бы он ни был, тотчас создавалась среда, своя, сочувственная, родственная, рождавшаяся из непреодолимого взаимного тяготения.

Так было в Москве. А вскоре это произошло и в Петербурге. К одному из новых своих друзей Белинский даже перебрался из неудобной квартиры Панаева — к отставному гусарскому офицеру Заикину Павлу Федоровичу. Брата его, подпоручика Николая Заикина, декабриста, члена Южного общества, царские палачи пытали, чтобы выяснить, куда он спрятал рукопись Пестеля «Русскую Правду». Недолго после этого он прожил в ссылке...

Белинский знал Павла Федоровича еще в университете, но привязался к нему только сейчас.

Заикин собирался за границу.

— Едем со мной, Виссарион Григорьевич,— уговаривал он Белинского,— о расходах не беспокойтесь, я все беру на себя.

Белинскому было приятно его общество.

— Это глубокая душа,— говорил он Панаеву,— музыкальная, нежная, скромность донельзя.

Впрочем, он видел в нем и другие черты, свойственные многим из поколения сороковых годов. Общаться с Заикиным было не только приятно, но и интересно. Тем не менее ехать за границу Белинский отказался. Только начиналась его деятельность в «Отечественных записках», он ставил перед собой большие задачи, он хотел влиять на общество, на поколение.

Когда Заикин уезжал, Виссарион с грустью написал Боткину:

«Заикин уезжает за границу 11 мая — и в этом

человеке я много теряю — в нем много прекрасного, а лучше всего благородная человеческая натура, и я так привык к нему...»

В субботу 11 мая Белинский провожал Заикина. На Лисьем Носу сели они в катер, который доставил их в Кронштадт. Там на палубе шведского судна они обнялись, прощаясь.

Белинский долго махал ему платком. Грусть владела им весь этот день. Он излил ее в другом письме к Васе Боткину:

«Проводил я до Кронштадта П. Ф. Заикина. Вот страдальческая-то душа! Воистину достойный брат нашего жалкого поколения, которое так дивно-верно охарактеризовано Лермонтовым:

> И ненавидим мы, и любим мы случайно,
> Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
> И царствует в душе какой-то холод тайный,
> Когда огонь кипит в крови!

Ко всему этому, еще страшный ипохондр, словом, человек, который при всей глубокости своей натуры, при религиозно-субъективном духе, есть истинная мука и для себя и для других. Жаль мне его! Авось лучи новой лучшей жизни осветят и согреют его душу. Даже страшно подумать, какие мы все дряни, какое жалкое несчастное, проклятое и отверженное поколение».

Грустное письмо... Но всегда ли можно верно ощутить дух своего поколения? Не нужна ли особая интеллектуальная чуткость, чтобы увидеть в современности резко обозначенный этап истории? Белинский приобретал этот дар постепенно. Учителем его была не философия, а жизнь. Переход из предыдущего десятилетия, из тридцатых годов в сороковые, был самым для него мучительным.

И Языков Михаил Александрович, чудак, каламбурист, и добряк Николай Николаевич Тютчев, и услужливый Иван Ильич Маслов, приносивший политические новости из... Петропавловской крепости, где он служил секретарем коменданта, и мягкий болезненный Кульчицкий Александр Яковлевич, работавший в военном министерстве и занимавшийся переводами для «Отечественных записок», о котором Белинский сказал тепло: «Он неглубок, но человечен», и некоторые другие из этого петербургского окружения Виссариона были либо его сверстниками, либо моложе его, и на них тоже лежала тень века, вернее — десятилетия, печать сороковых годов.

«Я вошел в их кружок,— писал Белинский в одном из своих бесконечных исповедальных писем Боткину,— и каждую субботу бываю на их сходках. Моя натура требует таких дней. Раз в неделю мне надо быть в многолюдстве, молодом и шумном».

Его в этом кружке обожали. Но побаивались. Он упрекал Панаева за суетливость, Кавелина за прекраснодушие. Некрасов этой компании чуждался. А Краевский в своем барственном величии до нее не снисходил.

Иногда собирались на холостой квартире, где жили Тютчев и Кульчицкий. Они подыскивали себе третьего жильца. К тому времени Белинский познакомился с Милановским, бывшим московским студентом. Не знаю уж, как он вошел в доверие к Белинскому,— кажется, это было не очень трудно при широкой душевной щедрости Виссариона.

Лицом и маленьким росточком новый знакомый несколько смахивал на Мишу Каткова. Либерал отчаянный! Так и костил правительство, придворные сферы, ведомство Уварова, не давал спуска Гречу
 с Булгариным. И до того Виссарион расположился к

Милановскому, что, соболезнуя бездомному положению его, уговорил Тютчева и Кульчицкого принять к себе Милановского третьим жильцом.

И тут пошли у них такие разговорчики, завертелась такая демократическая спираль! Более всех отличался в свободолюбии новый жилец. Так и резал! От шефа жандармов Бенкендорфа только перья летели.

Даже декабристов осуждал за слабоволие.

— Эх, будь я тогда на Сенатской площади, узурпатору престола живым бы не уйти...

Неизвестно, до чего бы дошел этот экстаз либерализма (а впрочем, известно!), если бы Белинский не отписал в одном письме (вот и пригодилась его эпистолярная страсть!) к Боткину о своих дружеских встречах с этим пылким вольнодумцем:

«Мы с Милановским,— писал он об одной дружеской затее,— во всех смыслах крепко держимся этой истины...»

Письма Белинского московские друзья обычно пускали по своему кругу. Герцену случилось увидеть это письмо в руках у Щепкина. Прочтя эту строчку — «мы с Милановским», он немедленно написал Кетчеру, который тогда был в Петербурге, большое письмо, где долго распространялся о своей простуде, о том, что табак для Кетчера куплен, о том, что какой-то Петр Григорьевич потолстел, а в конце как бы ненароком в этаком небрежном стиле прибавлял:

«У Краевского, я слышал, работает Ратынский, это второй экземпляр Милановского, и это верно. Скажи Белин».

В передаче столь важных сведений медлить нельзя. Кетчер тотчас помчался к Белинскому.

Виссарион схватился за голову. Кто такой Ратынский, было хорошо известно: тайный полицейский

осведомитель. Стали собирать сведения о Милановском. Оказалось, что сей свободолюбец — сын квартального надзирателя, что, кроме своих полицейских подвигов, он еще и первостатейный мошенник и вымогатель, что в Москве его называли «дьявол в теле ребенка». Словом, Неистовый дал волю своему темпераменту, выгнал Милановского в таком яростном темпе, что тот как пуля вылетел не только из квартиры, но вообще из Петербурга, ибо разоблаченный шпик это уже не работник, и, как стало в дальнейшем известно, оказавшись в Москве, был обласкан в «Москвитянине» славянофилами, но присосался преимущественно к наивному и восторженному Аполлону Григорьеву и даже сумел уверить его, что он, Милановский,— последнее воплощение графа Калиостро...

Друг Григорьева поэт Афанасий Фет написал другому другу его, поэту же Якову Полонскому:

«Милановского надобно бы как редкость посадить в клетку и сохранить для беспристрастного потомства. Впрочем, он только и мог оседлать такого сумасброда, как Григорьев...»

Сам же Аполлон, очнувшись, писал своему отцу:

«Связь моя с Милановским действительно слишком много повредила мне... Тяжко мне расплачиваться за эту связь... Но, бог милостив, авось, и отрясу с шеи печальные последствия неосторожной доверчивости... Запутанный этим гнусным человеком, я не мог тогда поступить иначе. Связь же моя с ним и ослепление зависели слишком много от моей болезненной расстроенности...»

Что же касается Белинского, то пристыженный донельзя тем, что так ошибся в человеке, он признался Боткину:

«Милановский дал мне хороший урок — он гаже и

плюгавее, чем о нем думает Левиафан. Когда увидимся, не говори со мной о Милановском — мое самолюбие жестоко страждет при мысли, что я способен так глупо ошибаться в людях...»

Левиафан — шутливое прозвище Кавелина, данное ему за малый росточек. Была у него еще кличка — «молодой глуздырь», извлеченная Белинским откуда-то из новгородских былин. Кавелин поселился с Тютчевым и Кульчицким вместо изгнанного шпика Милановского. Уже все были предупреждены о нем, а Некрасов даже тиснул о нем стишок в альманахе «Первое апреля»:

Ходит он меланхолически,
Одевается цинически,
Говорит метафорически,
Надувает методически
И ворует артистически.

Когда Тимоша Всегдаев читал это вслух, он от себя прибавил в конце:

И доносит политически...

Вскоре Тютчев переехал в отдельную квартиру, стали собираться и у него. Воспитанник Дерптского университета, он сохранил в богемных повадках своих что-то от немецкого бурша. Впрочем, наружности он был вполне внушительной. Рослый, широкоплечий. Борода, начинаясь у висков, веером окаймляла лицо и подчеркивала в нем выражение доброжелательной энергии. В доме Тютчева царствовала музыка, жена его Александра Петровна была хорошей пианисткой.

Собирались и у Комарова Александра Александровича, преподавателя словесности в кадетском корпусе, а отчасти и поэта. У него было нечто вроде

литературного салона, и именно здесь Белинский познакомился с Анненковым, «разумным эгоистом», как охарактеризовал он Павла Васильевича, чрезвычайно с ним сблизившись.

Человек солидный, Анненков не был окрещен насмешливо-дружеской кличкой, как это было принято в кругу Белинского. Впрочем, некоторые называли его не без язвительности «Наш Добрый», подтрунивая над его страстишкой льнуть к знаменитостям. Однако — совершенно бескорыстно, просто удовлетворяя какую-то свою непреодолимую тягу вращаться вокруг солнца, отсвечивая в его лучах.

Вошел в круг Белинского и молодой Тургенев. Неистовому сразу понравились его талантливые и самобытные суждения о людях, о литературе.

— Беседы и споры с Тургеневым отводят мне душу,— сообщил он Боткину.

— Уж и споры?

— Да, споры,— запальчиво повторил Неистовый,— потому-то отрадно встретить человека, самостоятельное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, высекает из тебя искры. В Тургеневе есть злость, и желчь, и юмор. Он глубоко понимает Москву и так воспроизводит ее, что я пьянею от удовольствия.

Устав от работы, Белинский искал отдохновения в картах. Не так, как Нащокин или Пушкин, не в клубе, не в азартных играх, где на карту ставились состояния. А по маленькой — тихий семейный преферанс. Но и в эту скромную домашнюю игру Белинский ухитрялся вкладывать неистовство своего темперамента. Партнеры все свои же: Тютчев, Кавелин, неизменно проигрывавший, да Кульчицкий — ну, этот был дока по части преферанса. Он и брошюру издал — в комическом плане, конечно, на потеху

друзьям: «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии Ремизовым». Белинский ее даже благожелательно отрецензировал в «Отечественных записках». Кульчицкий обычно загребал все ставки. Да чего там было загребать! Игра копеечная, весь-то выигрыш сводился к концу игры к рублю или двум. Это, однако, не мешало Виссариону относиться к ней с величайшей страстностью, забавлявшей и трогавшей его друзей. Они иногда нарочно поддавались ему.

Не одни только литературные разговоры, да карты, да гастрономические утехи объединяли этот дружеский кружок. Панаев предпринял конспектирование истории французской революции по известному труду Минье, тогда еще не переведенному. Он обогащал свой конспект речами деятелей революции, извлеченными главным образом из французских газет. Эти конспекты Панаева были подробны; за полгода их набралось не менее двадцати печатных листов.

Чтения происходили по субботам у Панаева. Для этого свои собирались пораньше, пока не пришли посторонние. Действие этих чтений на слушателей было необычайное. Новый мир открылся перед ними. Иван Ильич Маслов клялся, что выучит французский язык, чтобы читать в подлиннике речи жирондистов, пленявшие его более всего. В кружке как бы разбились на партии. Маслов и Языков сделались «жирондистами». Белинский и Панаев — «монтаньярами». Речь Робеспьера о «Высшем существе» воспламенила Неистового.

— Нет, господа,— воскликнул он,— тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и

восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов.

— Но ведь...— робко начинал «жирондист» Маслов, но Неистовый яростно перебивал его:

— Что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина — хорошая вещь!

Эту речь Робеспьера Панаев извлек из газеты «Moniteur». Конечно, она была запрещена в России. Но русские люди, возвращавшиеся из-за границы, обертывали ею колбасу, или кальсоны, или домашние туфли, или что-нибудь другое невинное.

Казалось, он все тот же...

Скажи мне кто́ ты, и я скажу тебе кто ты́.

Присловье

Да, так казалось. В наружности покуда никаких перемен. Подбородок упрямца (беллетристы в этом случае выражаются: волевой подбородок). Нос... На нем, пожалуй, несколько задержимся. Нос слегка вздернутый, немного приподымает губу, это сообщает лицу Виссариона оттенок добродушия, нечто детское. Большие скулы. И как пронзительно с этим сочетается великолепно вылепленный лоб!

Глаза... Иные считают их голубыми, иные серыми. Все же обычно они голубые. Но вдруг Белинский оживляется, и в глазах появляются искры, словно кто-то высекает их изнутри,— да, в этот момент глаза его могут показаться стальными. Оживление про-

ходит, опускаются веки, глаза полузакрыты,— потухший вулкан.

Это обманчивое спокойствие, это затишье перед шквалом, это замирание тигра перед прыжком ввели в заблуждение Панаева Ивана Ивановича, который, казалось, уж так-то хорошо знал и, можно сказать, обожал Белинского. Да и Виссарион числил супругов Панаевых в своих друзьях.

Иван Иванович известный хлебосол, и Виссарион охотно отозвался на приглашение к обеду, тем более материальные дела его были в ту пору не блестящи. Иван Иванович подозревал, что его великий друг, случалось, и поголадывает. Разумеется, сам Неистовый ни за что не признался бы в этом.

Увидев на столе вместо любимой им говядины рагу из овощей, грибную икру и гречневую кашу, да не с молоком, а с маслом, притом не коровьим, а подсолнечным, Белинский слегка поморщился. Красавица Авдотья Панаева, благоговейно следившая за выражением его лица, поспешила объяснить:

— Сегодня у нас стол постный.

Белинский пожал плечами. Вялый разговор за столом не одушевлял его. Он откинулся на спинку стула. Веки полуопустились на глаза, губы бессильно шевелились. За столом притихли. Мнилось всем, что молчание Белинского — это отрешенность великого человека от грубых земных дел, некое воспарение гениального духа на недоступные высоты. На самом деле это был припадок телесной слабости, накатившийся на Виссариона внезапно. Нехотя сказал он, просто чтоб разбить молчание:

— Можно бы рыбу...

Иван Иванович извиняясь развел руками:

— Сегодня никак нельзя. Забыли? Страстная неделя...

Белинский пробормотал сонно:

— Давно ли вы сделались так богомольны?

Панаев рассмеялся:

— Помилуйте, Виссарион Григорьевич! Это ж в поучение людям, пример челяди показать...

Иван Иванович отшатнулся, слова прилипли к гортани,— так страшен сделался в эту минуту Белинский. Болезненный румянец сбежал с его щек, они побелели, глаза расширились и пылали. Голосом, в который, казалось, влился металл, а в то же время высоким и трепетным, он закричал:

— Для «людей»?!

Он вскочил и большими шагами, слегка приседая, подошел к хозяевам.

— Для «людей»? — повторил он, чеканя слова.— Где ваши «люди»? Зовите их сюда! Я им скажу, что они обмануты!

Он скрестил руки на груди и вперил в Ивана Ивановича сжигающий взгляд.

— Да, они обмануты! Любой порок, который откровенен, во сто раз человечнее вашего презрения к темному народу, вашего лицемерия, поддерживающего его невежество! На одну плаху вас вместе со всеми царями, попами и плантаторами! Я ухожу! Я не ем постного для поучения! У меня нет «людей»!

Он ушел.

И подумать только, что этот буян, этот ниспровергатель устоев беспредельно застенчив. Да кто вообще приторочил к нему кличку Неистовый? По-видимому, Станкевич. Да, это он первый прозвал Виссариона Bissarione Furioso.

А в то же время — стеснителен как институтка, поминутно краснеет то от обиды, то от робости, то от уязвленного самолюбия или, наоборот, от похвал. В многолюдном обществе теряется...

Пошел с тем же Иваном Ивановичем на раут к князю Одоевскому Владимиру Федоровичу, известному нашему писателю, историку, музыканту и чудаку. Надел свой лучший (он же и худший) сюртук.

Князь засеменил к ним навстречу своей несколько женственной походкой. Моложавое, даже румяное лицо его (никак не скажешь, что ему уже сорок) улыбается приветливо. Глаза и рот удивительно добрые. Да, князь весьма дружелюбен, но в то же время и рассеян. Мысль его словно опережает слова, и оттого кажется, что он вечно куда-то спешит. К Белинскому он благоволил, и когда супруга Владимира Федоровича, княгиня Ольга Степановна (она не бывала на его субботних раутах, брезговала якшаться со «всякими») заметила строго: «Охота вам общаться с этим моветонным экс-студентом»,— князь ответствовал: «Это человек глубокого ума. Смешно, что его исключили из университета. У нас Белинскому учиться было негде: рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей части наших профессоров порождала в нем лишь презрение. Исключение Белинского из университета напоминает мне mot * Ломоносова: «Меня нельзя отставить от Академии, можно Академию отставить от меня»».

Да и Белинскому нравился этот сказочник и фантаст Одоевский, этот русский Гофман, и в статье своей «О русской повести и повестях г. Гоголя» Виссарион назвал Одоевского в числе крупнейших наших прозаиков.

Конечно, было в Одоевском и что-то забавное. Не только в женоподобной наружности его. Но и в иных повадках. В нем соседствовали два человека. Он —

* Острота. *(Франц.)*

Рюрикович, прямой потомок князя черниговского Михаила Всеволодовича, замученного в 1246 году в Орде и причтенного к лику святых. И он же — друг и покровитель, а иногда и поклонник разночинцев и противник крепостного рабства. Но он же и придворный, и, по слову насмешника Герцена, душа Одоевского прелестна, а на заду виден камергерский ключ.

Да, князь глубоко уважал Белинского, но в то же время его шокировали трубные звуки, издаваемые Виссарионом при сморкании. Правда, князь подавлял это чувство, ибо был демократом по убеждению, к тому же добр и услужлив бесконечно. Его любили, но и посмеивались над его аристократическими замашками,— например, над его манерой всюду выезжать в карете с ливрейным лакеем, что в ту пору уже выглядело старомодно. Однако самые связи свои аристократические Владимир Федорович использовал в боях с цензурой, ибо был приятелем князя Григория Петровича Волконского, председателя санкт-петербургского цензурного комитета.

Когда Одоевского хвалили, Белинский замечал, усмехаясь:

— Да, разумеется, князь добрый и простой человек. Но — повытерся светом и поэтому бесцветен, как изношенный платок.

Когда же Одоевского осуждали, Белинский говорил сурово:

— Не трогайте Одоевского, в нем есть пафос истины.

Ибо любовь к истине была тем устоем, который оставался нерушимым во всех идейных увлечениях Белинского.

Сейчас, влекомый Одоевским из прихожей в гостиную, Виссарион сквозь шум, доносившийся оттуда, с трудом вслушивался в его речь:

— Что меня наиболее огорчает, Белинский, это сознание хрупкости наших писаний.

— Смотря чьих,— вставил Панаев.

— Всех,— твердо сказал князь.— Древние писали на камне, на пергаменте, на папирусе. Мы же — на непрочной бумаге, сделанной из тряпок. Столетия уничтожат нашу тряпичную цивилизацию.

И князь остановил их, как бы для того, чтобы они прониклись этой мыслью поглубже.

Потом, словно уверившись, что она внедрилась достаточно, ввел их в гостиную.

Белинский зажмурился: многолюдство, многоголосье, многосвечье нахлынули на него, ослепили, оглушили.

— Но позвольте,— сказал Иван Иванович, раскланиваясь в то же время со светской ловкостью направо и налево,— неужто и книги исчезнут?

Их окружили, гул приветствий, рукопожатия. Белинский попробовал выдернуть руку из-под руки Одоевского. Не тут-то было! Владимир Федорович, заарканив собеседника, не так-то быстро отпускал его на волю.

— Безусловно,— сказал он.— Их заменят изображения. Типографии останутся только для газет и визитных карточек.

Кругом замолчали. Одни были ошеломлены этим решительным предсказанием. Другие насмешливо переглядывались. А Одоевский прибавил своим кротким голосом:

— Переписка заменится электрическими разговорами.

— Ну, а одежда, то есть, разумею, ткани? — спросил бородатый щеголь граф Соллогуб, автор «Тарантаса», обводя окружающих значительным взглядом.

Одоевский тотчас ответил невозмутимо:

— Шелковые ткани будут заменены шелком из раковин.

Доложили о вновь прибывших гостях. Одоевский поспешил в переднюю. Освобожденный Белинский немедля нырнул в давно намеченный им угол за китайским столиком. Там был полумрак; высокая ваза с фруктами, бутылки с вином и жардиньерка с цветами надежно прикрывали Белинского, он чувствовал себя, как за баррикадой.

Отсюда, из этой пещеры, которую он вырыл себе в великосветской гостиной, он стал наблюдать общество. Курносое надменное лицо князя Вяземского... И что, подумал Виссарион, находил Пушкин в этом заносчивом человеке и посредственном поэте, с которым его связывала такая тесная дружба? Неужели уменье садиться в кресла и свободно говорить в гостиной есть патент на талант литературный или поэтический?

Мелькнул военный мундир, черные усики, легкая хромота — уж не Лермонтов ли? За дальностью расстояния Виссарион не мог в этом удостовериться. Поближе в широких креслах, заполнив их своим объемистым телом, сидел Крылов, молчаливый, недвижный, казалось спящий, только маленькие глаза посверкивали с ленивой насмешливостью. Белинский с умилением разглядывал сего из стаи славных. Да, не зря было сказано об этом доме, что петербургская литература вся на диване у Одоевского.

Белинский повел глазами по залу, ища Гоголя, не нашел его и подумал со скукой: «Мне душно среди этих лиц и пустынно среди этого множества...»

Желание уйти из этого дома овладело им с такой силой, что он попытался отодвинуть столик, которым он отгородил себя от мира. Но перегруженный

столик, хоть и хрупкий, на одной ножке, не двигался. Только задрожали бутылки с «бордо» г звякнули бокалы.

К тому же подсел старичок во фраке и любезно поздоровался. Виссарион вспыхнул, ответил и принялся мучительно вспоминать, кто же это такой. И только когда тот встал и ушел, вспомнил: шведский посланник граф Пальментиерн, весьма добродушный старикашка, похожий на захолустного учителя немецкого языка. Тем и отличались рауты князя Одоевского, что на них бывали дипломаты, гвардейские офицеры, сановные господа и фрейлины двора наряду с литераторами из «простых» — вчерашними семинаристами, купцами или недоучками-студентами. Это было мечтой Одоевского — слить мир светских людей с миром писателей. Однако оба эти мира были в гостиной Одоевского подобны воде и маслу в одном сосуде: рядом, а не смешиваются.

Белинский возобновил свою попытку отодвинуть столик. Снова не удалось. Утиной походочкой, вперевалку и пришаркивая лаковыми штиблетами, к нему приблизился граф Соллогуб. Белинский внутренне сжался, приготовился к неприятному разговору. Только недавно поместил он в «Отечественных записках» разбор повести Соллогуба «Тарантас». Для вида соглашаясь с автором, Виссарион дал памфлетное изображение героя повести, некоего Ивана Васильевича. Впрочем, рецензия эта появилась без подписи. Но кто же не узнает руки Неистового!

Соллогуб, прищурившись, оглядел Белинского и небрежно кивнул ему.

Белинский ответил точно таким же небрежным кивком. Он чувствовал, как в нем закипает гнев.

— Не помешаю? — спросил Соллогуб и, не дожидаясь ответа, присел по другую сторону столика.

Не отводя от Белинского пристального до дерзости взгляда, сказал:

— Прочел статью о себе в «Отечественных записках».

Белинский спокойно:

— Приятно узнать, что вы заботитесь о собственном просвещении.

Соллогуб закусил нижнюю губу, чуть не ощерился. Потом с грозной любезностью:

— Так это вы надавали мне оплеух?

Теперь уже Белинский не отводил от графа твердого взгляда. Сказал медленно, чеканя слова:

— Если вы называете это оплеухами, то должны по крайней мере сознаться, что для этого я надел на руку бархатную перчатку.

Соллогуб несколько мгновений молча смотрел на Белинского, потом от души расхохотался.

— Это остроумно,— сказал он приветливо,— как, впрочем, и вся ваша статья. Благодарю вас за комплименты в мой адрес. Но сознайтесь, ваш памфлет о моем герое славянофиле Иване Васильевиче есть сатира на Киреевского, который тоже ведь Иван Васильевич?

Белинский улыбнулся:

— Понимайте как хотите.

Соллогуб:

— А главное, вы делаете вид, что и я так думаю, тогда как на самом деле...

Белинский перебил его:

— Может быть, вы так не думаете, но ваш талант думает иначе. Ваш талант не может согласиться с этими близорукими людьми, которые хотят своротить Россию с пути, указанного Петром. Славянофилы не понимают современности, они граждане никакой эпохи, они вне времени, это что-то вроде

старообрядческой секты, приверженной к мертвой букве...

Соллогуб сказал задумчиво:

— Вы так полагаете?..

Он встал.

— Благодарю за то интересное, что вы мне сказали.

И он удалился, переваливаясь и шаркая по лощеному полу.

А Белинский снова стал тихонько отодвигать столик. Да, момент удобный, чтобы улизнуть. Панаев увлекся разговором с дамами...

Но в это время князь Одоевский приблизился и, нежно глядя на Белинского, начал толковать о загадочном мире духов и всучивать ему книгу Клуге и Веланского «О животном магнетизме».

— Вообразите, Виссарион Григорьевич,— говорил он, таинственно снизив голос, хотя для этого не было никакой причины,— что есть человек — я хочу о нем писать,— который несколько лет занимается месмерическими опытами и достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собой по произволу приходить в сомнамбулическое состояние. К сему должен присовокупить, что таковой сомнамбул заранее может выбрать предмет, к коему устремится его магнетическое зрение.

Белинский покорно слушал. Он терпеть не мог всей этой мистической чертовщины, и лицо его постепенно приняло мученическое выражение,— полуспущенные веки, страдальческая линия рта.

— А книжку-то вы забыли? — вдруг сказал князь.

— Какую? — удивился Белинский.

Одоевский вздохнул, посмотрел на него с кротким упреком.

— Уж лучше я напишу вам ее название, Виссарион Григорьевич, а то, неровен час, снова забудете.

Владимир Федорович вырвал из карнэ листок, набросал несколько слов и передал Белинскому. Тот прочел:

«Сборник под названием: «Добротолюбие или Словеса и главизны священного трезвления от писаний святых и богодухновенных отец».

— Вспомнили? — спросил Одоевский.— Меня, собственно, там интересует глава двадцатая, которой название: «О естественном через вдыхание ноздренное художестве и с ним господа нашего Иисуса Христа призывании».

— Как же, вспомнил! Отпишу в Москву Косте Аксакову, чтобы прислал,— сказал Белинский, силясь подавить смех.

Над этим «ноздренным вдыханием» они вдоволь напотешились в Москве в своем кружке.

— Нынче в Европе постижение через дыхание не менее модно, чем френология. А мы, русские, писали об этом еще в прошлом веке.

Откуда-то сбоку голос:

— А вы, князь, верите во френологию?

Подняв голову, Белинский увидел, что возле них набралось немало народу. Он сказал сурово:

— Простите, Владимир Федорович, но я человек дела, я практик.

— Ну какой же практик, Виссарион Григорьевич,— сказал Одоевский, скользнув глазами по его поношенному сюртуку.

Белинскому почудилась в этом взгляде жалость. Он вспыхнул и сказал вызывающе:

— Я практик в сфере духовной и политической. Я преобразователь душ средствами литературы.

Вяземский, стоявший неподалеку, усмехнулся.

— Полевой роди Белинского, Белинский роди легион,— сказал он соседу достаточно громко, чтобы это дошло до Виссариона.

Белинский чувствовал, что в нем закипает ярость. Он знал о себе, что у него натура бойцовская. Спор возбуждал его. Для вдохновения ему требовалась полемика. Но прежде чем он успел ринуться в бой, полилась мерная, мягкая, слегка грассирующая речь Одоевского:

— Усовершенствование френологии приведет к тому, что лицемерие и притворство, язвы нашего общества, уничтожатся. Душа всякого будет ясна по форме его головы, et le hommes le sauront naturellement *...

Белинский перестал слушать. Снова губы его страдальчески изогнулись, полузакрылись глаза. Голоса, постепенно стихая, отдалялись, уходя в неясный гул. Когда Виссарион поднял веки, он увидел за своим столиком немолодого человека приятно округлой наружности. Был он в синем фраке с бронзовыми пуговицами и в белых штанах с золотыми лампасами — словом, щеголь-щеголем, пофрантоватее даже Николая Филипповича Павлова, известного салонного шаркуна. Белинский вгляделся: так позвольте же, ведь это не кто иной, как Василий Андреевич Жуковский, славный наш поэт и воспитатель наследника-цесаревича,— потому он и в придворном наряде.

Жуковский глянул на Белинского и улыбнулся ему. И столько было дружелюбия в этой улыбке, что разом оттаяла смятенная душа Виссариона. Ему захотелось сказать Василию Андреевичу, как он уважает его за прекраснодушие и молодость чувств.

* И люди это осознают естественно. *(Франц.)*

Белинский тоже улыбнулся и привстал, столик дрогнул, бутылка с вином повалилась, и поток красного «бордо» густо полился на шикарные белые брюки Жуковского. Поэт закричал в испуге и негодовании, все повернулись в его сторону, хозяин в ужасе воздел руки, к столику бросились слуги с салфетками. Белинский ринулся к дверям.

В прихожей он, оттолкнув лакеев, сам выгреб свою шубенку, подбитую ветром.

Мороз на улице не охладил его разгоряченных чувств... Стыд! Срам! Сколько насмешек пойдет по городу!

Дома он бросился на кровать, лежал не раздеваясь. Потом поднялся, сумрачный, с закушенной губой, поставил на плиту кружку воды для кофия и вдруг захохотал. Нет, это умора, честное слово! Вот уж отличился! Нечего сказать, «салонный лев». Все же надо будет принести извинения. Хозяину дома — несомненно. Ну, и Жуковскому... Белинский посмотрел на портрет Пушкина, висевший над кроватью, и вспомнилось ему:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль.
И резвая задумается радость.

Каково сказано! Пусть даже в этих божественных стихах Пушкин и перехвалил Жуковского, но сколько здесь дружеской, почти сыновней любви! А звуки! Хотя бы эти: «о сЛАве мЛАдость...» Гениальное сопряжение музыки и смысла...

Взгляд Белинского упал на разбросанные на столе листы рукописи. За работу! Пятистишие Пушкина подействовало на него вдохновляюще.

Он пригнулся над рукописью. Это заметки к рецензии на «Повесть о приключениях английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерике-Луизе, с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевны Терезии». Казалось бы, двух суждений не может быть об этом базарном издании. Лубок, развращение вкусов. Как об этом в Евангелии? Цитата пригодилась бы.

Белинский подошел к полкам и, порывшись, извлек полуистрепавшуюся книгу в порыжевшем переплете свиной кожи, по которому шла потускневшая, некогда золотая надпись: «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Быстро полистав, он остановился на стихе 10-м главы 3-й «От Матфея святом благовествовании»: «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».

Покачал головой, потом раскрыл книгу на заглавном листе и улыбаясь прочел каллиграфически выведенные строки: «Воспитаннику Чембарского уездного училища Виссариону Белинскому за прекрасные успехи в учении. Директор народных училищ Пензенской губернии И. И. Лажечников. 1823 г.».

Так что же, срубить это дерево, испепелить «Милорда Георга» в огне рецензии? Почему же рука не подымается? Смешна эта старая лубочная книжка (кстати, уже 9-е издание), нелепа, просто глупа, а все же дерево это не без доброго плода.

Он стал писать, как всегда быстро, стремясь догнать пером стремительно несущиеся мысли:

«О, милорд английский, о, великий Георг! Ощущаешь ли ты, с каким грустным, тоскливым и вместе отрадным чувством беру я в руки тебя, книга почтенная, хотя и безмысленная!.. Помню тот день незабвенный, когда, достав тебя, уединился я дале-

ко, кажется, в огороде, между грядками бобов и гороха, под открытым небом, в лесу пышных подсолнечников...»

Белинский отбросил перо и подумал:

— Полно! Рецензия ли это?

Но воспоминания, возбужденные «Георгом» и дарственной надписью на «Евангелии», завладели им...

Он снова кинулся на диван. Собака, лежавшая у стены, поднялась, медленно подошла и лизнула его руку. Он не шевелился. Спал? Глаза его были закрыты. На изнанке век появлялись огненные блики. И истаивали... Лица... Пространства, суживающиеся где-то вдали, в тумане...

Пыльные улицы Чембара... Висяша, мальчуган, толкнув калитку, вбегает во двор родного дома. От крыльца до забора, сложенного из тонких бревен, тянется садик — акации, черемуха, розы. А среди них — огород с погребом, с каретным сараем, с баней — целый мир!..

С крыльца спускается, слегка прихрамывая, невысокий толстяк, доктор Былинский, отец любимый и ненавистный, умный, всезнающий, насмешник и вольнодум, строгий до жестокости, а то вдруг нежный, но это предвестие близкого запоя. Лицом он в деда священника. Это чистая кровь великорусского духовенства,— отец ведь тоже до Медико-хирургической академии учился в Тамбовской духовной семинарии. Да и другой дед Висяшин, с материнской стороны, флота шкипер 9-го класса Иван Иванов, тоже ведь в прошлом из кутейников, как называл народ церковников.

Висяша еще издали старался угадать по выражению лица, приложился ли уже отец к ерофеичу и пуншу...

Мать, Мария Ивановна, удивительно сочетала в себе доброту с раздражительностью, радушие со вспыльчивостью. Странно, что Виссарион не мог забыть о той пощечине... Ведь отец бил его не раз. Но тот день стал как бы переломным. Отец занес руку, и удар был столь силен, что Висяша грохнулся на пол. И главное, ни за что, без вины... Он потом, уже через много лет, когда подружился с Герценом, рассказывал ему, что хотел мстить.

«...Мальчик поднялся совершенно преображенный,— вспоминает Герцен.— Обида, несправедливость сразу порвали в нем все родственные связи. Его долго занимала мысль о мести, но чувство собственной слабости превратило ее в ненависть против всякой власти семьи; он сохранил эту ненависть до самой смерти. Так началось воспитание Белинского. Семья привела его к независимости дурным обращением, а общество — нищетой...»

Может быть, тогда впервые в Виссарионе зародился бунт против насилия, тогда семейного, а с годами — социального, политического — уже под влиянием ударов деспотизма не по нему лично, а по народу, по России...

В дверь постучали, вошел Тимоша Всегдаев. Это было кстати: Белинский жаждал облегчить душу, рассказав кому-нибудь, как опозорился он на великосветском рауте у князя Одоевского.

Добрый Тимоша стал утешать его, но Белинский перебил нетерпеливо:

— Оставь! Знаю, я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости. Да, и в отношении к себе я так же увлекаюсь крайностями, как и в отношении к другим. Но я же и не даю себе спуску. Я бью себя так же, как и других.

Тимоша заметил тихо:

— Вам не за что бить себя.

— Нет, есть за что. Я, Тимоша, забыл о человеке.

— Нет, что вы!

— Мне говорили... Да и сейчас говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, лезь на верхнюю ступень лестницы развития...

— Кто говорит?

— Неважно. Бакунин. Гегель. Неважно. Благодарю покорно, господа! Кланяюсь низко вашим философским рассуждениям и имею честь доложить вам, что если бы мне и удалось вскарабкаться на вершину лестницы развития, то и там,— ты слышишь, Тимофей? — то сейчас я и там потребовал бы у вас отчета во всех злодействах истории, во всех преступлениях суеверия, инквизиции, деспотизма и прочее и прочее. А не дадите отчет, я с этой блаженной вершины брошусь вниз головой. Потому что я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен за каждого из моих братьев по крови, костей от костей моих, плоти от плоти моей!

— Я понимаю вас, Виссарион Григорьевич...

— Нет, ты не понимаешь меня!

Белинскому не нужно было, чтобы Всегдаев сейчас понимал его. Наоборот! Силой воображения он превратил этого тихоню в противника, то есть в оселок, который высекает из него, из Белинского, огонь.

— Нет, ты не понимаешь меня! Что мне в том, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы?

Он закашлялся. Воспользовавшись этим, Тимоша поспешно заговорил:

— Вы неправы к себе, Виссарион Григорьевич. Ваше слово для нас, для отечества так нужно, так необходимо. Вы должны писать...

— О чем писать? — снова загремел Белинский.— О выборах? Но у нас есть только дворянские выборы, а это предмет скорее непристойный, чем интересный. О министерстве, где ты сейчас устроен? Но ни ему до нас, ни нам до него нет дела, притом же в нем сидит Уваров с православием, самодержавием, народностью, то есть, иначе говоря, с кутьей, кнутом и матерщиной. О чем же писать? О движении промышленности, администрации, общественности? О литературе, науке? Но у нас их нет. О себе самих? Но мы выучили уже наизусть свои страдания и страшно надоели ими друг другу...

Он умолк, словно забыв о Тимофее. Тот сидел недвижимо, боясь нарушить безмолвие Белинского, погрузившегося в свои мысли.

Это были новые мысли. Они только начинались. Они еще не достигли бумаги. Казалось, он все тот же.

Но это только казалось.

Матросский бунт на борту корабля „Философия“

У нас не останавливаются на полдороге, у нас или остаются неподвижными, или идут до конца.

Герцен

Автор приносит читателям извинения за то, что он вынужден коснуться такой неэстетической темы, как навоз. Казалось бы, какое отношение имеет навоз к изящ-

ной словесности? Или что общего между этим неблаговонным предметом и Гегелем?

А вот послушайте. В 1839 году в России был неурожай. «Журнал министерства внутренних дел» писал:

«...скотоводство скудно; в навозе для удобрения полей такой недостаток, что пашни почти нигде не удобряются как бы следовало...»

Это был год неурожая почти катастрофического. Следующий год — тоже.

В некоторых местах крестьяне поднялись. Характеристика этих лет: «крепостное состояние — пороховой погреб под государством» — принадлежит не революционерам, а жандармам,— это цитата из официального отчета III Отделения канцелярии его величества, то есть тайной полиции.

Такова была действительность. Но если она такова, то как же можно с ней примиряться? Есть вопросы (некоторые называют их «проклятыми»), которые не ждут, пока человек их подымет, они сами встают перед человеком и хватают его за горло.

Вернувшиеся из Казанской губернии супруги Панаевы рассказывали, что крестьяне из засад убивают помещиков.

Супруги говорили, перебивая друг друга:

— Теперь помещики вооружаются. А выезжая в дорогу, переодеваются купцами, чтоб их не узнали... В имении графа Блудова постоянно дежурит сотня казаков!

Впрочем, молоденькая наивная Панаева не могла долго оставаться серьезной. Она со смехом рассказала об одной помещице, кстати ее родственнице, страшно ревнивой:

— Муж ее спал в биллиардной, просто на биллиарде.

— Но ведь твердо! — смеялся Белинский.

— А ему перину подкладывали. Нет, вы послушайте! Эта ревнивая дама тайно от мужа подсаживала на ночь под биллиард дворовую старуху — для слежки за мужем. А она ночью возьми да чихни. Помещик перепугался, подумал, что прокрался убийца из дворовых. Шуму было! Умора, правда?

Но Белинский был задумчив.

— Вот до чего дошло,— пробормотал он.

Узнав, что Панаев отпустил на волю всю свою прислугу, Белинский просиял.

— За это, Иван Иванович,— сказал он с чувством,— вам отпустится много грехов. Признаюсь вам, всякий раз, как ваш мрачный Андрей отворял мне дверь, я опускал глаза, чтобы не видеть его озлобленного протестующего взгляда.

Только и разговоров по всему Петербургу что о мерзостях, ужасе и сраме крепостного права. А сверх того, оно было стране и просто невыгодно. Помещики, кто поумнее да похрабрее, посылали правительству письма, где доказывали, что крепостное хозяйство, барщина разорительны для сельского хозяйства.

Завернул как-то к Панаеву богатый рязанский помещик и винный откупщик славянофил Кошелев. Неожиданные речи услышали от него.

— А я,— сказал этот барин,— открыто написал и даже опубликовал свое мнение. Вот вы, литераторы, пренебрегаете «Земледельческой газетой». Может, даже не знаете, что таковая существует.

Он извлек из внутреннего кармана сюртука газету и внятным, хорошо от природы поставленным голосом принялся читать:

«Взглянем на барщинную работу. Придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и ог-

лядывается сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше,— ему не дело делать, а день убить. На господина работает он три дня и на себя тоже три дня. В свои дни он обрабатывает земли больше, справляет все домашние дела и еще имеет много свободного времени. Господские работы приводят надсмотрщика или в отчаяние, или в ярость. Наказываешь нехотя, но прибегаешь к этому средству, как к единственно возможному, чтобы дело вперед подвинуть...»

Белинский слушал с необыкновенным вниманием.

Кошелев продолжал:

«С этой работой сравните теперь работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит; материалов не наготовишься; времени проработают они менее барщинского крестьянина; отдохнут они более его, но наделают они вдвое, втрое. Отчего? — Охота пуще неволи».

Кошелев остановился, чтобы передохнуть. Воспользовавшись этим, Белинский спросил:

— А там наверху эти ваши публикации, несомненно очень дельные, читают ли?

— Так вот ведь, Виссарион Григорьевич,— сказал Кошелев, отирая губы надушенным платком,— недавно правительство учредило особый секретный комитет для рассмотрения мер, связанных с облегчением положения крепостных крестьян.

— Секретный! Все втайне от народа!

— Чтобы не возбуждать страстей.

— А все равно,— махнул рукой Панаев,— по всей стране бродят разные слухи об освобождении крестьян.

— Это верно,— подтвердил Кошелев,— я слышал, что ко дню свадьбы его высочества наследни-

ка-цесаревича будет оглашен манифест об освобождении крестьян.

— Ах, вы слышали? — воскликнул Белинский. Он вскочил и зашагал по комнате. Разговор этот волновал его. В нем закипало возмущение.

— Вы только слышали,— продолжал он,— а я твердо знаю: Уваров начисто запретил всем органам печати даже упоминать о крепостном праве.

— Более того,— сказал Панаев,— от одного лица — не хочу называть его,— приехавшего вчера из Москвы, я знаю о разговоре Уварова с Погодиным. Вот что сказал Уваров: «Вопрос о крепостном праве тесно связан с самодержавием. Это две параллельных силы, кои развивались вместе. Нарушение крепостного права вызвало бы неудовольствие дворянского сословия... Правительство не приобретет ничего, освободив крестьян. Низший класс и теперь ему предан». Вот как выражался Уваров.

Панаев остановился, оглядел окружающих. Все молчали, видимо пораженные этим сообщением. Панаев, очень довольный, он любил производить впечатление,— продолжал:

— Могу к этому прибавить — знаю это от дядюшки, он ведь близок ко двору,— что император недавно сказал: «Крепостное право — зло, но касаться его — гибель».

Кошелев развел руками:

— О дядюшке вашем, Владимире Ивановиче, я наслышан, Иван Иванович. И вы уж меня простите, но ведь он человек старого закала. А нынешнее поколение дворян, даже титулованные,— люди просвещенные, и они держатся об этом предмете совсем других взглядов.

— Ну, кто, например?

— Да взять хотя бы князя Одоевского.

Панаев улыбнулся не без самодовольства,— никто не мог сравниться с ним в осведомленности.

— Пример не из удачных, Александр Иванович,— сказал он.— Мне Одоевский близок, и взгляды его я знаю. Знаете, что он сказал мне недавно? Понимаю, сказал князь, что в обществе нашем немало грязи, бесчинства и воровства. Но исток этого не в нынешнем устройстве русской жизни, а в ничтожной природе чиновничьего сословия. Гоголь, сказал Одоевский, прав в своем «Ревизоре». Главное, что нам недостает, это класс добросовестных и просвещенных чиновников. А что касается неравенства между людьми, сказал добрейший и просвещеннейший князь Одоевский, так ведь это вещь естественная. Глупый ненавидит умного по той же самой причине, по которой бедный ненавидит богатого, голодный сытого, трус храброго, подлец честного, невежда ученого.

Кошелев засмеялся:

— Верное и неверное здесь так перепутано, что, право...

Белинский перебил его:

— Нет,— сказал он горько,— признаю, что я был неправ, когда в статье своей «Литературные мечтания» писал об Одоевском, что он глубоко и верно измерил неизмеримую пустоту и ничтожество своего класса. Поспешил я, этот грех за мной водится...

Однако осознать свой грех еще не значит исцелиться от него. В эти дни Неистовый опубликовал в «Отечественных записках» статью «Менцель, критик Гете», раскаиваться в которой и самобичующе называть ее «гадкой» он будет только через год. Все

же и здесь уже временами слышны некоторые ук-

лонения от еще державших его в своем дурмане философских установок. Знак равенства между действительностью и разумностью как-то заколебался. Самое понятие «разумность» в этой статье уже дает трещину:

«Искусство издавна навлекало на себя нападки и ненависть моралистов, этих вампиров, которые мертвят жизнь холодом своего прикосновения и силятся заковать ее бесконечность в тесные рамки и клеточки своих *рассудочных,* а не *разумных* определений».

Да и первая половина этого философско-алгебраического двучлена — «действительное — разумно» — тоже как-то расщепилась:

«Эти моралисты-резонеры хотят видеть в искусстве не зеркало действительности, а какой-то идеальный, никогда не существовавший мир, чуждый всякой возможности, всякого зла, всяких страстей, всякой борьбы, но полный усыпительного блаженства и резонерского нравоучения; требуют не живых людей и характеров, а ходячих аллегорий с ярлычками на лбу, на которых было бы написано: умеренность, аккуратность, скромность и т. п.»

Сложная статья, многотемная, полная блистательных прозрений и удручающих заблуждений! А местами — остро сатирическая. Тут достается и самому Менцелю (о котором, между прочим, Гейне сказал, что он «помесь грубияна и мошенника», «неопрятная личность, о которую можно только замараться, негодяй и лицемер до мозга костей»).

Дело, однако, не только в моральных качествах Менцеля. Он строчил политические доносы на передовых немецких писателей, и произведения их были запрещены к печати. В одной из своих клеветнических статей Менцель договорился до того, что эти

писатели якобы проповедуют в своих вещах обобществление женщин.

Этот душевный набор Менцеля — знал или не знал о нем Белинский — некоторыми чертами совпадает с тем, что собственным чутьем распознал в нем Виссарион, рецензируя его книгу «Немецкая литература», преимущественно же главу о Гете. Сквозь завесу фальшиво-либеральных фраз Белинский увидел в Менцеле лицемера и реакционера, злобствующего завистника, пошляка и невежду:

«Менцель поставляет Гете в великую вину и тяжкое преступление, что он молчал во время французской революции и ни одним стихом не выразил своего мнения об этом событии... Так точно в одном русском журнале кто-то ставил Пушкину в вину, что он, воротясь из-за Кавказа, где был свидетелем славы русского оружия, напечатал VII главу «Онегина», а не собрание «торжественных од»...»

Это была стрела не только в Менцеля. Скверно пахнущий доносительский упрек Пушкину сделал Булгарин, и повторил его Надеждин. И частенько в этой статье Белинского его упреки рикошетом бьют по отечественным литературным мракобесам. И это не случайные совпадения, а вполне сознательно наносимые удары, о чем сам Неистовый с глубоким удовлетворением писал Косте Аксакову:

«В № 1 «Отечественных записок» моих две статьи — о «Горе от ума» и о Менцеле... а в начале ее первая оплеуха Сенковскому, вторая — Надеждину, а третья — Гречу...»

В суждениях же своих об искусстве Белинский в этой статье все еще не слезает с кочки «примирения с действительностью». Художник у него по-прежнему не столько человек, сколько «орган общего и мирового»; не столько творец, сколько нечто вроде ин-

струмента для проявления некоего духа, независимого от человека и поэтому неспособного ошибаться и лгать. А искусство — это «нечто существующее по себе и для себя, в самом себе имеющее свою цель и причину». И тут же, не замечая противоречия, определяет искусство как «воспроизведение действительности; следовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее так, как она есть на самом деле. Только при этом условии поэзия и нравственность тождественны». В одной и той же статье Белинский как бы говорит двумя голосами — своим естественным, идущим от ума и сердца, и другим — натужным, надсадным, заемным, гегельянским. Словом, живой человек здесь соседствует с «резонером и рефлектировщиком», как вскоре назовет себя Белинский, вспоминая эту свою деятельность и проклиная ее.

— А ведь вы, Виссарион Григорьевич, полюбили Питер,— сказал Тимоша Всегдаев.

Здесь, в столице, Тимоша отпустил бакенбарды и стал отращивать брюшко, оно уже обозначается под модным клетчатым двубортным жилетом. Сахарной белизны воротничок острыми углами возвышается над пышным фуляром.

Неистовый как-то не замечал этих перемен в своем бывшем ученике, ныне процветавшем в министерстве просвещения, руководимом Сергеем Семеновичем Уваровым, впрочем, вероятно, и не догадывавшимся о существовании в недрах его ведомства некоего Тимофея Всегдаева.

Сентенция Тимоши, видимо, заинтересовала Виссариона.

— Полюбил? — повторил он задумчиво.— Нет,

брат, другое: притерпелся. Что ж, спасибо Питеру, он на многое открыл мне глаза.

— А на что, Виссарион Григорьевич? — спросил Тимоша.

Спросил и робко посмотрел на Белинского. Ибо несмотря на модный жилет, бакенбарды и чин коллежского асессора, он все еще побаивался Виссариона, и разговор с ним был подобен, как сказали бы мы в наши дни, прогулке по заминированному полю.

Но взрыва на этот раз не последовало. На Белинского накатился стих задумчивости.

— Да,— думал он вслух,— спасибо Петербургу. Я начинаю не узнавать себя и вижу ясно, что́ надо в себе бить. Это его, Петербурга, дело. Он был страшной скалой, о которую больно стукнулось мое прекраснодушие.

Это было начало перелома. В столице мрачная действительность николаевской России представала перед Виссарионом гораздо нагляднее, чем в патриархальной Москве. Здесь на каждом шагу наталкивался он на беззакония, на мертвящий бюрократизм, на произвол полиции.

Тимоша удивленно молчал. Белинский не замечал его молчания, как не услышал бы сейчас и его слов. Ему хотелось выговориться. Для этого ему нужно было присутствие какого-нибудь живого существа.

Он говорил по-прежнему в задумчивости и в какой-то печали:

— Любовь моя к родному и к русскому стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство.

Тимоша не понял. Он не поспевал за Белинским,
 за скачками его мысли. Ее последовательность ка-

залась ему сбивчивостью. Он попытался упорядочить ее:

— Значит, прекраснодушие — это плохо?

Белинский посмотрел на него с сожалением.

— Значит, вы разлюбили Москву? — не унимался тот.

Белинский пожал плечами:

— Москва — необитаемый остров. Пойми ты это, молодой глуздырь! Прекраснодушие! Москва! Я вижу, для тебя не понятна моя вражда к москводушию. Но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе.

Он встал и заходил по комнате. Теперь он говорил горячо:

— Меня убивает это зрелище общества, в котором действуют и играют роль подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове! Нет, не тебя, Тимофей, а целое поколение я обвиняю в твоем лице. Отчего же европеец в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней выход от отчаяния? О горе, горе нам! «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови!»

Нет, прежнее еще не вовсе отзвучало в Белинском. Он все еще не мог напрочь вырваться из объятий общего. Еще не испарилось из него то наваждение, когда этот человек, такой земной, такой плотский, отрицал значение жизни видимой и звал к какой-то худосочной, призрачной «жизни в духе».

После горячей отповеди «москводушию» он, словно спохватившись, патетически воскликнул:

— Что такое ты сам?

И сам же ответил:

— Ты — мысль, одетая телом. А тело твое есть призрак, мечта, но я твое — вечно.

Тимоша наконец решился вставить:

— Значит, вы отрицаете мысль?

Ему в простоте душевной казалось чудовищным, что человек такого могучего интеллекта, как Белинский, отрицает мысль.

Белинский, словно ужаленный этими словами, прекратил свой бег по комнате, замер.

— Я? Я уважаю мысль! Но какую? Конкретную. Человек, который живет мыслью в действительности, выше того, кто живет мыслью в призрачности. Петр Великий, который был очень плохой философ, понимал действительность больше и лучше, нежели Фихте...

«Поистине,— подумал окончательно сбитый с толку Тимоша,— в этом удивительном человеке уживаются, как в «Думе» Лермонтова, и холод тайный и огонь, кипящий в крови...»

Тимофей Всегдаев видел метания Белинского от примирения с действительностью до ненависти к ней. Это было мучительное существование. Тимофей не понимал его сути. Люди более тонкие разобрались в ней. Грановский писал Станкевичу в Берлин: «Ему нехорошо в Петербурге. Бешеное увлечение действительностью проходит. Пишет, что бог знает что отдал бы, чтобы «воротить статью о»... Это та знаменитая статья, которая заслужила страшные похвалы в Английском клубе».

Как происходит вызревание идей в сознании человека? Как происходит их увядание? Каким аппаратом можно проследить их истоки, измерить срок их жизни, предсказать момент их смерти?

В то время, когда все в кружке Станкевича считали, что нет бога, кроме Гегеля, и Белинский пророк его (да так оно и было!), этот «пророк» писал другому «пророку», Бакунину, еще в 1838 году:

«Когда дело идет об искусстве... моя смелость и дерзость простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел. Понимаю мистическое чувство ученика к учителю, но не почитаю себя обязаным, не будучи учеником в полном смысле этого слова, играть роль Сеида».

Сеид, напомним, фанатический последователь Магомета (персонаж одной из трагедий Вольтера).

Итак, углубившись в истоки духовной биографии Белинского, мы обнаруживаем в разгаре его преклонения перед Гегелем — мятеж против Гегеля. Пусть со всякими оговорками, но — восстание.

«Глубоко уважаю Гегеля и его философию,— пишет он далее,— но это мне не мешает думать (может быть, ошибочно: что до этого?), что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны...»

Ого! Матросский бунт на борту корабля? Нет, не более чем попытка протеста, покуда довольно сдержанного и то только в одной области — в искусстве. И притом протест не публичный, а закрытый в частном письме.

Но вот уже не интимный разговор с другом наедине, а нечто провозглашенное во всеуслышание на страницах «Отечественных записок», хоть и по поводу искусства, но в общем против того, что до сих пор было заповедью Белинского:

«Что действительно, то разумно, и что разумно, то действительно: это великая истина; но не все то действительно, что есть в действительности, а для художника должна существовать только разумная действительность...»

Так этим утверждается возможность существования и неразумной действительности, то есть неприемлемой, а значит, такой, с которой надлежит бороться.

Но этого последнего Гегель не утверждает. Значит... но послушаем самого Белинского:

«Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к (...) * не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними... он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе над кладбищем... Я имею особенные важные причины сердиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему, мирясь с рассейской действительностью...»

Как всегда, Неистовый шел до конца, не останавливаясь на «срединном мнении», и в конце концов даже Герцен вынужден был просить Белинского, чтобы он «ругал одних последователей Гегеля», а «великую тень» не трогал.

Да, Белинский вырвался наконец из расслабляющей тепличной атмосферы философских оранжерей. Сколько радости в крике его освобожденной души:

«Да, он настал, грозный расчет с действительностью,— завеса с глаз спадает...»

Белинский писал необыкновенно быстро. Только этой быстротой можно объяснить его исключительную плодовитость. Помимо огромной журнальной

* Здесь так называемое «многоточие стыдливости».

работы, поистине необозримого количества статей и рецензий — он называл себя «натурой плодородной»,— он написал в 1840 году около сотни писем. Да каких! Многостраничные тетради! «Диссертации», как он сам называл их, подшучивая над их величиной. Девятнадцать из них в том году были направлены к Боткину. На него главным образом изливал Виссарион весь пыл своего «расчета с действительностью»:

«Куда ни взглянешь, душа возмущается, чувства оскорбляются. Мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить. Делай всякий не что хочет и что бы должно, а что можно. Черта ли дожидаться маршальского жезла — хватай ружье, нет его — берись за лопату да счищай с рассейской публики (...) *...»

Этот новый Белинский, приходящий на смену прежнему Белинскому (но еще не совсем пришедший), не захотел мириться с такой действительностью, то есть с таким устройством общества, при котором страдает личность. Такому обществу он вынес приговор. Но не остановился на этом, а заявил, что вынесение приговора «гнусной рассейской действительности» он считает обязательным качеством для современного поэта. Но не к декларации и не к декламации призывает он литераторов, а к фактам.

— Я бросаю,— заявил он, — абстрактные общности, хочу говорить о жизни по факту...

Это был процесс непрекращающийся, то радостный, то мучительный. Все усиливаясь, он длился не-

* См. предыдущее примечание.

прерывно, гулял ли Белинский, работал ли, играл ли в карты. Порой он глубоко задумывался и не слышал обращенных к нему слов. У него было такое ощущение, словно его выпустили из тюрьмы или словно он встал с больничной койки.

— Боже мой,— говорил он,— страшно подумать, что со мной было — горячка или помешательство ума, я словно выздоравливающий.

Радость освобождения сопровождалась жестоким самобичеванием. Оно вырывалось подчас при людях, которые неспособны этого понять:

— Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения!

Отелесившийся разум

> С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.
>
> *Герцен.* «Былое и думы»

После отъезда Заикина за границу Белинский снова вернулся в свою постоянную квартиру на Галерной улице. Герцен порядочно проплутал, пока нашел его. Опознавательный знак, сообщенный ему Огаревым,— четырехэтажный дом напротив Морского ведомства.

Это были две скудно обставленные комнаты на четвертом этаже. Сдавал их мрачный полуспившийся субъект, работавший протоколистом в Сенате.

Виссарион в то утро (как, впрочем, и во все утра) работал, стоя за конторкой. Работа, видимо, не

очень спорилась, он часто отрывался, досадливо вздыхал и снова принимался писать.

Он услышал звонок, резкий, длительный, который вдруг оборвался. Потом знакомое шарканье,— это хозяин, который и дома носил стоптанные валенки даже летом, пошел открывать дверь. Потом его раздраженное ворчанье:

— Вы мне, сударь, звонок оборвали.

И в ответ звонкий приятный голос:

— Прошу прощения! Надеюсь, вы, сударь, чувствуете себя лучше, чем ваш звонок?

И легкий смешок.

Виссарион вздрогнул. Эта стремительная, почти бурная и жизнерадостная манера появляться свойственна только одному человеку из его знакомых.

Однако войдя в комнату, Герцен переменился. Сдержанный полупоклон, суховатое извинение:

— Прошу простить, что без зова...

Белинский в ответ тоже натянуто:

— Помилуйте, считаю за честь...

Прямо высокие договаривающиеся стороны! Последняя их встреча кончилась разрывом, казалось — навсегда. А между тем их тянуло друг к другу.

Герцен огляделся. Жалость затопила его сердце. Два стула, стол, покосившаяся койка с тощим тюфячком. Впрочем, чисто, опрятно. Но цветов! Вот где роскошь! На подоконниках, на столе, на полках, и просто на полу, в горшках, кувшинах, банках, а иные просто плавали в тазах с водой.

— Не помешал? Вы, кажется, работаете?

Белинский махнул рукой:

— Пишу статью «Об очерках русской литературы» Полевого. Трудно...

— Трудно?

— У меня к нему смешанное чувство. Я уважал его. Но нынче он показывает себя в таком свете...

— Да...— Герцен покачал головой.— Он выбит из колеи.

— Только ли? Не слишком ли вы к нему снисходительны?

Это прозвучало вызовом. Герцен вскинул на Белинского глаза, опушенные длиными ресницами. Подумал:

«Кажется, он бросает мне перчатку...»

Сказал:

— Признаться, мне жаль Полевого. Когда-то, во времена «Московского телеграфа», он был бойцом. А ныне его «Сын отечества» вызывает только грустное удивление.

— Почему? Объясните.

— А что ж тут объяснять?.. Полевой стал покорным и льстивым. Пошел на сделки со своими врагами. Повторяю, мне печально слышать имя Полевого рядом с именами Греча и Булгарина. Мне печально присутствовать на представлениях его пьес, которым рукоплескают тайные агенты и официальные лакеи. Вы, может быть, не согласны со мною?

— Вы сравниваете его с Булгариным? Да Полевой сделался гнуснее Булгарина! Ныне это человек готовый на все мерзкое. Да он просто гадина ядовитая, на раздавление которой я обрекаю себя, как на служение истине!

— Ну вот,— сказал Герцен, улыбаясь,— мы с вами кое в чем сошлись. После нашего последнего разговора — не забыли? — о «Бородинской годовщине»...

Белинский вскочил со стула. Лицо его, как всегда в минуты волнения — радостного ли, горестного ли, все равно,— залилось краской.

— Ну, слава богу,— сказал он,— заговорили об этом, а я с моим глупым характером не знал, как начать... Герцен, ваша взяла: жизнь в Петербурге меня лучше убедила, чем все доводы. Забудемте этот вздор, что я городил тогда. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у Краевского, и там случилось быть одному инженерному офицеру. Хозяи начал знакомить нас, как водится, назвал меня. Тот тихонько хозяину: «Это автор статьи о «Бородинской годовщине»?» — «Да».— «Покорно благодарю, я не буду с ним знакомиться». И что ж, Герцен, я схватил этого офицера за руку, горячо пожал ее и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю»... Чего же вам больше, Герцен?

Это было сказано так пылко, так наивно и так прекрасно, что Герцен подумал, глядя на раскрасневшегося Белинского: «Боже, до чего же он хорош...»

И он встал, протянул Белинскому обе руки.

— Ну, что? — спросил Виссарион задыхаясь.

— Белинский, забыто все прошлое!

— Слава богу, как гора с плеч...

Они обнялись.

Полетели письма в Москву. От Герцена — Кетчеру:

«Белинскому я могу выдать аттестат в самых похвальных выражениях. Чтобы охарактеризовать его благодатную перемену, достаточно сказать, что он пренаивно вчера рассказывал: «Один человек, прочитавший мою статью о Бородине, перестал читать «Отечественные записки», вот благородный человек!» Мы с Белинским сблизились...»

От Белинского — Боткину:

«...этот человек (Герцен.— *Л. С.)* мне все больше и больше нравится... какая восприимчивая, движи-

мая, полная интересов и благородная натура!.. Что он ругал меня в Москве за мои абсолютные статьи — это новое право с его стороны на мое уважение и расположение к нему».

Белинский вовсе не стал пренебрегать обществом Языкова, Комарова, Маслова. Верность друзьям оставалась одной из основных его добродетелей. Он сам о себе говорил:

— Полюбив человека, я уже не могу от него оторваться.

Однако общество их, даже Панаева, не удовлетворяло Неистового. Все-таки, общаясь с ними, он должен был немного пригибаться, чтобы быть с ними одного роста. Не раз старался он завести общий глубокий разговор — не получалось. Или он проповедовал в пустыне молчания, и, не встречая ни отклика, ни хотя бы возражения, сам иссякал мыслью и потухал. Либо разговор, начатый серьезно, вскоре сбивался на вздор.

Иначе с Герценом. Его живой, сильный, самобытный ум, его образованность, его кровная заинтересованность в больших вопросах мира, его самостоятельный и смелый образ мыслей как бы подстегивали Белинского, вызывали наружу все его убеждения. Общество Герцена с каждым днем стало доставлять ему все больше наслаждения. Все больше оба они ощущали свое душевное сродство.

Редкий день они не виделись. Как-то в небольшой компании, обедая в ресторане Дюссо, они завели разговор о литературе, и Белинский стал добиваться мнения Герцена об одной только что опубликованной статье своей. Она была написана в виде диалога между двумя собеседниками, которых Белинский обозначил литерами А и Б. При этом рупором его собственных взглядов был А.

Герцен глянул на Виссариона с лукавым добродушием и сказал:

— Хорошо-то хорошо, и видно, что ты очень умен, и все говоришь ты превосходно. Но охота тебе была два часа беседовать с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он полный дурак.

Белинский закатился смехом и закричал:

— А ведь и в самом деле! Ну, брат, зарезал! Ведь Б совершенный дурак!

Предметы разговоров Белинского и Герцена самые разнообразные. Прочтя что-нибудь, взволновавшее их, они тут же делились впечатлениями.

— Читал я,— сказал Герцен во время одной из таких бесед,— статью Эдгара Кинэ о немецкой философии. Там есть премилое сравнение немецкой философии с французской революцией.

— Вот уж не вижу связи,— сказал Белинский.

— А ты послушай: Кант — это Мирабо, Фихте — это Робеспьер, а Шеллинг — Наполеон.

— Герцен, это гениально!

— Ну уж гениально. Статья-то не очень верная. Но сравнение это не чуждо некоторой верности.

Идейный союз двух замечательных мыслителей стал страшить их врагов и не был забыт ими и через много лет. Князь Вяземский, под старость ставший законченным реакционером, писал в беззубой эпиграмме (напомним, что Искандер — псевдоним Герцена):

Своим пером тупым и бурным
Белинский, как девятый вал,
Искандером литературным
Во время оно бушевал.
Теперь за ним огнем воинским
Искандер сам на бой предстал
И поэтическим Белинским
Рассудки ломит наповал.

Выйдя из ресторана, Герцен пошел провожать Белинского. Дойдя до редакции, они остановились и, как это не раз с ними бывало, долго стояли у дверей, увлеченные разговором. Виссарион говорил с обычной своей пылкостью, румянец рдел на его щеках:

— Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести.

Он замолчал. Взгляд его затуманился. Казалось, он видел какие-то дали, недоступные другим. Герцен не отводил от него глаз. В такие минуты Неистовый восхищал его более всего...

Вернувшись домой, Герцен записал в дневнике:

«Я люблю резкую односторонность Белинского, всегда полную энергии и бесстрашную. Он всегда в крайнем выражении, мысль его смела и вникает глубоко... Я люблю его речь и недовольный вид и даже ругательства...»

В крайнем выражении... Белинский и сам знал эту черту за собой. В те же дни он писал Боткину:

«Итак я теперь в новой крайности — это идея *социализма,* которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопросов. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию.»

Белинский жадно приник к этому учению, которое казалось ему исцелением от всех социальных бед. Он видел значение философии утопистов в том, чтобы стремиться не только к нравственному самоусовершенствованию человека, но и к такому переустройству общества, которое, как он выражался, покончит с унижениями и страданиями миллионов.

К этому времени он уже усвоил в подлиннике Луи Блана, Фурье, Прудона, Жорж Санд и прочих апостолов утопического социализма.

Но не они стали героями Белинского. У него был свой оригинальный вариант социализма. Он внес в него политические требования демократических свобод, свержения самодержавия, уничтожения крепостничества.

«В истории мои герои,— писал он Боткину,— разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») и т. п.»

Все больше отходил он от былого увлечения немецкими философами. Его отталкивала от себя мистическая схоластика Шеллинга.

Случилось, что в те дни умерла от родов жена Краевского. Виссарион был потрясен смертью этой молодой, доброй, ласковой женщины, красивой, как и ее сестра Авдотья Панаева. Как мог, утешал он Краевского. И в то же время в горе его увиделось Белинскому что-то странное. Он поделился своими впечатлениями с Боткиным:

— Ты знаешь, его горесть не отчаянная, я даже не умею характеризовать ее... Не странно ли, что он ищет утешения в лекциях Шеллинга об откровении? Это ему посоветовал наш забулдыжный юноша Катков. Хорош совет, а?.. Увижу Каткова, утешу его: мы все умрем, но в утешение положим с собою лекции Шеллинга об откровении.

За год до этого в городе Лейпциге вышла книга некоего Людвига Андреаса Фейербаха: «Сущность христианства».

По Германии тогда вояжировал поэт, помещик, друг Герцена и дальний родственник его Николай

Платонович Огарев. Человек идейный, он уже пережил арест и ссылку. В сороковых годах он отпустил на волю своих крепостных крестьян.

Еще там, в Германии, Огарев прочел книгу Фейербаха и пленился ею. Она стала его евангелием. Чтобы избежать чрезмерной любознательности жандармов на границе, Николай Платонович решил спрятать «Сущность христианства». Но куда? В нее не завернешь бельишко, как это делали с запрещенными французскими газетами возвращающиеся в отечество русские вольнодумцы. Книга объемиста. Огарев попросил соседа по почтовому дилижансу, своего земляка, сунуть Фейербаха себе под жилет на живот, который достиг у этого симпатичного пензяка таких размеров, что «Сущность христианства» мало что изменила в его очертаниях.

Огарев двинулся прямо в Новгород, где в то время пребывал в ссылке Герцен.

Прочитав первые же страницы книги, Герцен вспрыгнул от радости. Этот несколько легкомысленный образ привел сам Александр Иванович, рассказывая в «Былом и думах» о том счастливом волнении, которое охватило его при чтении Фейербаха.

— Долой маскарадное платье! — воскликнул он.— Прочь косноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы, не нужно нам облекать истину в мифы!

Чтобы понять, какое потрясающее впечатление производила эта необыкновенная книга, прочтем, что говорил о ней Энгельс, вспоминая свои молодые годы:

«Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы сразу стали фейербахианцами... Даже недостатки книги

Фейербаха усиливали тогда ее влияние. Беллетристический, местами даже напыщенный слог обеспечивал книге широкий круг читателей и, во всяком случае, действовал освежающе после долгих лет господства абстрактной и тяжеловесной гегельянщины».

Своим открытием Герцен по приезде в Петербург тотчас поделился с Белинским. Он не поленился сделать для Виссариона перевод многих глав из «Сущности христианства». Белинский испытал то же потрясение, что и другие современные читатели книги «Фиербаха», как он упорно называл его. Друзья читали ее вместе, следуя совету автора: «Идеи возникают лишь из общения, из взаимного обмена мыслями; к понятию, к разуму вообще мы приходим не в одиночку, а сообща».

Разум! Снова этот философский образ с пронзительной силой входит в духовную жизнь Белинского. Но впервые этот призрачный абсолют обретает плотские очертания и скромно удаляется куда-то за кулисы.

Что чему предшествует? Старый наболевший вопрос теперь решен иначе.

— Действительность,— заявляет Белинский,— как явившийся отелесившийся разум, всегда предшествует сознанию, потому что прежде нежели сознавать, надо иметь предмет для сознания.

Неистовый теперь следует по пути философского развития, начертанному Фейербахом: «Бог был моей первой мыслью, разум — второй, человек — моей третьей и последней мыслью».

В ту пору безоговорочного увлечения Фейербахом его обожатели не замечали, что в человеке Фейербаха есть нечто от гомункулуса. Зачатый в философской реторте, он был лишен черт общественной практики.

В этой бедной квартирке на Галерной улице происходил пересмотр понятий. Бог это ни что иное, как отражение особенностей природы и самого человека. Бог искусственно отсечен от породивших его материальных истоков, вознесен человеческим мозгом ввысь и воображением воплощен в образ.

Хозяин квартиры, полупьяный сенатский протоколист, прильнув ухом к дверям Белинского, прислушивался к звучному голосу Герцена, который со вкусом произносил:

— Ты понимаешь, Виссарион, ведь Фейербах анализирует только раннее чистое христианство и совершенно пренебрегает позднейшим, как он выражается, «разжиженным, бесхарактерным, комфортабельным, беллетристическим, кокетливым, эпикурейским христианством современного мира».

Сенатский протоколист качал головой и размышлял, пора ли уже сейчас идти с доносом в полицию или подождать, пока эти двое смутьянов заберутся поглубже в дебри недозволенного.

Смутьяны тем временем переходили к проблеме любви, которой в «Сущности христианства» отведено немало места.

— Виссарион, для тебя ведь эта материя далеко не терра инкогнита.

Виссарион мрачно клонил голову. Герцен смотрел на него ласково и насмешливо:

— Что, невесело падать с небес?

Их обоих интересовала личность Фейербаха. Они знали только то немногое, что сообщил Огарев. Философ — из профессорской семьи. Отец, Ансельм Фейербах, впрочем, не философ, а знаменитый юрист. Сам же Людвиг — ему сейчас нет и сорока — учился у Гегеля, защитил диссертацию, получил кафедру. Однако через три года его уволили за

вольнодумство. Несколько лет назад он женился на девушке из деревни Брукберг; а может быть,— прибавил совершенно серьезно не склонный к юмору Огарев,— а может быть, на ее фабрике. И вот этот блестящий мыслитель живет безвыездно в деревне. Говорят, что жизнь в этом захолустье ожесточила его.

— Значит, и там так? — с грустным удивлением спрашивал Белинский.

— От приезжающих знаю,— отвечал Герцен,— что ныне философские кафедры в Германии замещают мудрствующими Flohknacker'ами, по-русски сказать: «блоходавителями»...

Друзей поразила смелость Фейербаха, его интеллектуальная отвага. Решиться в этой стране филистеров заявить во всеуслышание, что не бытие исходит из мышления, а мышление из бытия, что человек есть то, что он ест...

— Ты пойми,— восклицал Герцен,— что это нисколько не унижает человека. Наоборот, можно гордиться тем, что человек, несмотря на свое земное происхождение, сумел возвыситься до духовности. Пусть сознание происходит от природы, пусть! Но оно само это поняло и одним этим уже преодолело свою приземленность.

— Ты прав,— с восхищением сказал Неистовый.— Ты победил, галилеянин!

Глава без названия

Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияния обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда.

Пушкин

Мы совсем забыли об одном нашем маленьком персонаже. Занятые делами и переживаниями таких гигантов, как Александр Сергеевич, и Виссарион Григорьевич, и Александр Иванович, и Николай Владимирович, и Тимофей Николаевич, и Михаил Александрович, и их многочисленными верными (и неверными) друзьями, мы совсем забросили Валерку Разнорядова. А ведь он за это время вырос, завершил курс наук, раздобрел, переехал в столицу, стал Валерием Антоновичем, делает что-то значительное в одном министерстве, обзавелся усами и подусниками и даже стал пробовать себя в литературном роде.

Осведомленный (осведомленность всегда была сильным местом Разнорядова) о том, что Белинский ныне занимает влиятельное положение в «Отечественных записках», Валерий Антонович препроводил к нему свою рукопись «Пилигрим в область изящного, или летние вакации московского студента в городе Вятке. Повесть в двух частях с эпилогом». А вскорости и самолично явился за отзывом.

Виссарион Григорьевич смутно припоминал его,— некто мимоходом возникавший среди множества

лиц, мелькавших на его жизненном пути. Совсем из головы вон, что это тот самый субъектик, что являлся к нему с каким-то непотребным предложением от «Москвитянина». Столько воды утекло с тех пор!

В число неотъемлемых принадлежностей приятной физиономии Разнорядова всегда входила умильная улыбка. Он не утратил ее и, превратившись из Валерки в Валерия Антоновича, сохранил даже тогда, когда его драли за космы, что произошло и в данном случае,— разумеется, выражаясь чисто фигурально.

Нисколько не повышая голоса, глухо покашливая, Белинский сказал:

— Весьма сожалею, но мне не понравилось ваше сочинение. Написано боязливо и чопорно. Вы уж меня извините: я за критику прямую и против критики уклончивой. Писатель не имеет права быть ни трусом, ни чистюлей. Смелость необходимо входит в состав таланта. Так же, как и отсутствие брезгливости.

— То есть это как же понимать-с? — не выдержал Валерий Антонович.— А ежели перед писателем, прошу прощения, открылась яма с нечистотами, неужели ему в нее плюхаться, а не обойти сторонкой?

Сказал и не воздержался от того, чтобы не ввести в свою улыбочку оттенок победительности, и тут же вздрогнул — до того оглушительно загремел Белинский:

— Да-с, плюхаться, сударь! Именно! А не превращать выгребную яму в букет фиалок! Точно так же как и медик, писатель не имеет права быть брезгливым. И подобно тому как врач опускает пальцы в гнойные раны больного, так и писатель опускает

пальцы в гнойные раны общества. И цель у обоих одна: исцеление!

Разумеется, длить эту литературную дискуссию не имело смысла. Валерий Антонович ловко переключил разговор на более общие темы,— например, какова точка зрения уважаемого Виссариона Григорьевича на человеколюбивые правительственные мероприятия по смягчению крепостного права, и не наслышан ли почтеннейший Виссарион Григорьевич о публичных чтениях Тимофея Николаевича Грановского в Москве, и каково его мнение о сих нашумевших выступлениях, и скоро ли в «Отечественных записках» появится что-либо, принадлежащее острому перу Александра Ивановича Герцена, с коим, как говорят, была недавно у глубокочтимого Виссариона Григорьевича встреча в ресторане Кулона,— вот уж там, вероятно, были содержательнейшие и поучительнейшие разговоры, не правда ли?..

Вместо ответа Белинский вдруг сказал:

— Снимите-ка очки.

Валерий Антонович удивился, но снял.

— Ага! — сказал Виссарион Григорьевич удовлетворенно.

— А что? — спросил Разнорядов несколько обеспокоенно.

— Можете надеть,— ответил Неистовый.

Он увидел то, что хотел: подлинные глаза Валерки. Белинский всегда придавал большое значение глазам, их выражению. В минуты самого большого расположения к Мише Каткову он не мог отделаться от неприятного впечатления, какое производил на него холодный стеклянный блеск его зеленых кошачьих глаз. Сейчас, оголив глаза Разнорядова,— очки делали их большими, по-детски невинными,— Виссарион увидел, что в действительности это ма-

ленькие злые угольки, впивающиеся в собеседника с нескромным любопытством.

Вслед за тем Белинский кивнул на свой стол, заваленный рукописями, и заявил, что срочная работа лишает его возможности продолжать эту занимательную беседу...

Валерию Антоновичу не оставалось ничего другого, как, изобразив на лице уважительное понимание и зажав под мышкой «Пилигрима в область изящного с эпилогом», удалиться, сохраняя, хотя и не без усилия, на румяных своих губах приятную улыбку.

Она не исчезла и тогда, когда он встретил поднимавшегося по лестнице Герцена, с удивлением ответившего на поклон Разнорядова.

— Кто это от тебя вышел? — спросил он, войдя к Белинскому.

Виссарион в задумчивости посмотрел на Герцена, словно что-то вспоминая, и сказал:

— Ты не помнишь, о чем мы говорили в ресторане, когда провожали Сатина?

— Бог мой, мало ли о чем! О чем говорится в своей компании? Порядком досталось Булгарину. Ты, помнится, кидался на Гегеля, называл его «философским колпаком»...

— Не страшно. А более ни на кого я не кидался?

— Да ты почему в тревоге? Кидался, разумеется.

— На кого?

— На рассейскую действительность.

— Так... Видишь ли, этот субъект, что только что вышел от меня...

— А кто он?

— За своей рукописью пришел: «Пилигрим в область изящного». Ничтожество, которое лезет в

литературу, хочет стать одним из тех маленьких гениев, которые после смерти Пушкина напоминают собою слова Гамлета: «Отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся?»

— Ну, и ты ему, стало быть...

— Ничего особенного. Призывал его быть смелым.

Это искренне развеселило Герцена:

— Ишь чего захотел! Смелости! Это же нынче редчайший товар! Ты по себе не меряй. Кто сравнится с тобой в нападках на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой, так доносом!

— Вот доноса-то я и боюсь.

— От кого?

— Да вот от этого пилигрима в область изящного. Теперь уж я смекаю, куда он пилигрим.

— А верно ли это? Может, ожегшись на Милановском, ты дуешь на ни в чем не повинного? Тут надо быть осторожным. Ты что ему говорил?

— Не сейчас... Да и не я... Припоминаешь ли, что ты тогда в ресторане говорил, что мы потеряли уважение в Европе, что на русских смотрят со злобой, почти с презрением, что Россия становится представительницей всего ретроградного? Забыл? Ты почти кричал, что намерен уехать за границу и оттуда начать революционную работу... Ума не приложу, откуда он дознался об этом... За столом все свои — Панаев, Языков, Сатин, ты да я...

— Ты забыл еще об одном или даже двух.

— О ком?

— О лакеях, кои прислуживали нам. Они все на службе у полиции. Бесшумные, как бы невидимки...

 Однако в тот момент я, помнится, из предосторож-

ности оглянулся: никого поблизости. Я ведь стреляный воробей. Успокоился?

Он подошел к столу, взял один из исписанных листов и прочел:

— «Поэзия Пушкина все оземленяет и овеществляет»... Хорошо сказано!

— Ты согласен с этим? — оживился Белинский.— Не правда ли, Пушкин в высшей степени обладал чувством действительности, а это, на мой взгляд, составляет одну из главных сторон художника. Как по-твоему?

— Для Пушкина, пожалуй, это очень верно. Его муза — не бледное существо с расстроенными нервами, закутанное в саван, как это часто встречается у немецких поэтов. Нет, муза Пушкина — это горячая женщина, окруженная ореолом здоровья.

— Совершенно справедливо! У Пушкина нет Вертеров. Заметил ли ты, что герои Пушкина никогда не лишают себя жизни. Какой бы трагической ни была развязка, они остаются жить! Поэтому он и смог с таким совершенством и с такой гениальной точностью изобразить русскую народную жизнь не только духовно, но и просто географически и даже чисто физиологически.

— Никогда при этом,— подхватил Герцен,— не подделываясь под народный язык. Он равно умеет заставить говорить и барина, и мужика их языком. И в этом его величие. Ибо он всегда на уровне своего читателя, кто бы он ни был, и его «Евгений Онегин» — это библия нашего времени.

— Или, вернее сказать,— вставил Белинский,— энциклопедия современной русской жизни. Он понял, что для изображения современного общества нужен роман, а не эпическая поэма. Я тут толковал этому пилигриму о смелости. Пушкин написал свой

роман не в прозе, а в стихах. Вот пример смелости гения!

— И все же, Белинский, не это самое поразительное в «Онегине».

— А что же?

— А то, что Онегин — тип совершенно оригинальный. И притом чисто русский.

Белинский, хлопнув рукой по рукописи, воскликнул:

— Вот об этом я и пишу!

— Это надо развить. Он не только оригинален, но глубоко национален: Чацкий — старший брат Онегина, Печорин — его младший брат.

— А Нащокин — его зародыш.

— Или его близнец.

— Талантливый русский бездельник...

— Бездельник,— подхватил Герцен,— который хоть никогда ничем не занимается, но всегда занят, который много начинает, но ничего не доводит до конца, который в двадцать лет уже стар, а начиная стареть, молодеет через любовь...

— А в то же время,— сказал Белинский задумчиво,— сколько человечности и даже общечеловечности в его образах!

Герцен усмехнулся:

— Ты замечаешь, Виссарион Григорьевич, что мы с тобой поем в унисон. Я начинаю бояться за истину — это капризное дитя рождается в спорах.

— Остроумно, но несерьезно.

— Конечно, совпадение во взглядах не исключает их истинности. Да, образы Пушкина одновременно человечны и общечеловечны. Кстати, я придумал новое слово для одновременного выражения истинности и гуманности: человечестность. Это именно то, чем велик Шекспир.

— Не всегда, Герцен. Я возмущен его «Генрихом VI». Что он там сделал с образом Анны д'Арк! Вывел ее колдуньей и девкой. Опозорил и обесчестил! Да будь проклята всякая народность, исключающая из себя человечность! Она заставила гения написать глупейшую мерзость!

Герцен расхохотался:

— Это новое соображение! Вставь в свои статьи о Пушкине. Они великолепны и всем нравятся.

Белинский обрадовался:

— Можно тебе прочесть один пассаж из статьи о Пушкине? Это будет уже пятая статья. Слушай: «Чтобы быть выражением жизни, поэзия прежде всего должна быть поэзией. Для искусства нет никакого выигрыша от произведения, о котором можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похоже на женщину с великою душою, но с безобразным лицом; ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тем немножко любви сделало бы счастливее, чем много удивления, не только ее, но и мужчину, в котором она возбудила это удивление».

— Я могу под этим подписаться,— сказал Герцен.

Белинский грустно покачал головой:

— Я чувствую, что временами я излишне многоречив. Мне бы твой лаконизм, Александр Иванович. Ты как на стали гравируешь свои статьи... А я написал статью, тотчас шлю ее в типографию, даже не успев перечесть ее. Натурально, в ней повторения, риторика, страдает последовательность,— словом, сыромятина. А Краевский стоит надо мной и палкой погоняет...

Человек страстный и беспощадный, Белинский был доверчив по-ребячески. Душа его тянулась к дружескому теплу. По способности своей неудержимо увлекаться он вообразил в Краевском благородство, бескорыстие, могучий характер,— словом, наделил его полным набором добродетелей.

Краевский, естественно, не возражал, а, благосклонно улыбаясь в свои пышные кавалерийские усы, драл с Белинского семь шкур. Не разгибая спины, Неистовый читал сотни книг и брошюр, часто ничтожных, по самым разнообразным вопросам и без устали строчил рецензии для библиографического отдела «Отечественных записок». Он дурел от этой работы.

Андрей Александрович Краевский был не старше молодых авторов своего журнала — Белинского, Панаева, Боткина, но держался с солидностью сенатора. Он редко снисходил до разговора с ними, войдя в роль некоего небожителя. Кстати и некстати он подчеркивал свою дружбу с Пушкиным, которой в действительности не было.

Никто ведь, кроме Нащокина, не слышал уничтожающей характеристики, которую Пушкин дал этому своему «другу». Сотрудники робели перед Краевским, в его обществе чувствовали себя мальчишками и добровольно отдавали «Отечественным запискам» свой талант, трудолюбие, знания за смехотворно мизерные гонорары.

А читатели, не зная обо всей этой редакционной кухне, восторженно встречали появление в конце месяца очередной книжки журнала — главным образом, из-за статей Белинского. Их узнавали сразу, несмотря на ухищрения Краевского, уговорившего Виссариона не подписывать своих библиографических статей. Он убедил Белинского, что это нужно

для поднятия престижа журнала. Дескать, статьи без подписи — это мнение всей редакции. На самом деле неподписанные статьи он попросту приписывал себе.

Между тем именно статьи Белинского делали «Отечественные записки» все более популярными. Старый доносчик Булгарин забеспокоился и настрочил донос князю Волконскому, который возглавлял в Петербурге цензуру. «Отечественные записки», писал Булгарин, подрывают знаменитую триединую формулу Уварова — православие, самодержавие, народность. Журнал сей, распинался в доносительском усердии своем Булгарин, есть орган мартинистов и положил себе целью ниспровергнуть существующий порядок вещей. В доносе содержалась угроза самому князю Волконскому, что ежели цензура не примет мер, то он, Булгарин, доведет об этом до сведения государя и даже указывал как: через прусского короля. Струхнувший Волконский понес донос Уварову. Тот отдал приказ цензорам быть как можно строже. Это вообще. А специально в отношении к «Отечественным запискам» — «не щадить «Отечественные записки», так как у них дурное направление — социализм, коммунизм и т. д.» А в личном разговоре сей бывший «арзамасец» признался:

— Мечтаю, чтобы наконец русская литература прекратилась. Тогда по крайней мере будет что-нибудь определенное, а главное — я буду спать спокойно...

И хотя Белинский питал отвращение к тому, что он называл «лисье верчение хвостом», он вынужден был прибегать к метафорам, к эзоповскому языку, и здесь он проявил большую изобретательность, умея многое сказать между строк так, что читателю все ясно, а цензуре придраться не к чему. У Виссариона

был немалый опыт в этом искусстве. Стычки с цензурой начались у него еще в Москве, в период работы в «Телескопе».

— Я вижу здесь иносказание! — кричал тогда московский цензор, тыча рукой в рецензию Белинского на книгу Ксенофонта Полевого о Ломоносове.

— Помилуйте, какое же иносказание? Неужели вы не согласны, что Ломоносов был великий человек?

— Вы мне, сударь, его величием глаза не замазывайте! Надо уметь читать между строк.

— А что между строк?

— Намеки, сударь! Будто об отдаленной эпохе, а на самом деле о наших днях. Вот извольте: «О, эти бояре... Самый лучший из них остается верен своей касте. Они почитают все дозволенным для себя. Они думают, что им стоит только пожелать, и все исполнится...»

— Так ведь это не я говорю, это Ломоносов говорит.

— А метите в кого? В высшее сословие в государстве.

— Помилуйте, бояр-то нынче нет.

— Ах, оставьте, сударь, тут не мальчики сидят: бояре — это для отвода глаз... А сами делаете недопустимые кивки в сторону уважаемых персон...

Тогда рецензию удалось отстоять. Но те времена, хоть они были и недавно, представлялись почти идиллическими. В многострадальной российской словесности наступил, по выражению Белинского, подлинный «цензурный террор». И все же Неистовому удавалось прорываться сквозь цензурные бастионы. Так, например, отражая доносительские нападки Шевырева в «Москвитянине», Белинский назвал его статью «юридической бумагой известного рода». Сами

цензоры были так запуганы доносами на них Шевырева и Погодина, что не пропускали в статьях Белинского ни слова против «Москвитянина», этого, по слову Белинского, «холопского журнала». Однако они не поняли истинного смысла выражения «юридическая бумага».

Даже такой благонамеренный писатель, как Нестор Кукольник, получил нагоняй, притом от самого шефа жандармов Бенкендорфа, за повесть «Сержант Иванов». Николай I, по словам Бенкендорфа, выразил неудовольствие тем, что в повести Кукольника изображена «дурная сторона русского дворянина и хорошая — его дворового человека... Не благоугодно ли вам будет на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства».

Цензор Фрейганг, заслуживший у литераторов прозвище Цербер, вычеркнул в статье Белинского выражение «всеобъемлющий Гете», говоря, что «это эпитет божий, а не человеческий».

И Боткин, и Панаев, и Катков, и Герцен, и Огарев были людьми состоятельными. Белинский был нищ. Ничтожный гонорар, который Краевский, сам богатея, выплачивал ему — к тому же весьма неаккуратно, чтоб не сказать неохотно,— не давал Белинскому возможности выбиться из нужды и из тяготивших его долгов. Он жаловался друзьям:

— Я освирепел от нужды, как зверь...

«Отечественные записки», поднятые трудами Белинского до расцвета, давали Краевскому чистого годового дохода до ста тысяч. Белинскому он платил в год шесть тысяч. Положение становилось нетерпимым. Тут стали выясняться и некоторые некрасивые

проделки Андрея Александровича. Среди друзей пошел об этом шепоток. Герцен сказал Кетчеру:

— Краевский дурно платит Белинскому и вообще грязноват...

Сам Белинский поплакался — пока еще юмористически — Бакунину:

— Я представляю собою маленького Прометея в карикатуре: толстые «Отечественные записки» — моя скала, к которой я прикован, Краевский — мой коршун, который терзает мою грудь, как скоро она немного подживет.

Но вскоре добродушная насмешливость сменилась резким возмущением, более свойственным духу Неистового. Когда выяснилась одна грязная проделка Андрея Александровича, не побрезговавшего присвоить себе труд переводчика Кронеберга, Белинский обозвал Краевского «вампиром, всегда готовым высосать из человека кровь и душу, потом бросить его за окно, как выжатый лимон».

В конце концов негодование, усиливаясь, дойдет до того, что он покинет опостылевший журнал. Но это еще впереди.

Жил Белинский в ту пору на углу Невского проспекта и Фонтанки в огромном доме купца Лопатина у Аничкова моста. Квартира крошечная, две комнаты, выходившие окнами на задний двор. Там конюшня. Виссарион поставил на подоконнике горшки с лилиями, чтобы этим благоухающим забором отгородиться от запаха навоза и множества жирных назойливых мух. Единственное преимущество квартиры — редакция «Отечественных записок» рядом. Как только представилась возможность, Виссарион переехал в другую квартиру в том же доме.

Работал он в общем целый день, обедал большей частью у Панаевых. Их дом стал для него родным. К ночи он уставал до того, что голова деревенела, перо падало из рук. Тогда он шел играть в карты к Панаеву или к Тютчеву, благо они жили в том же доме. Иногда перед тем как идти он смотрел на себя в зеркало. Костюм был изрядно поношен.

— Нет, в таком виде идти нельзя,— решал он.

И все же шел, и все сходило хорошо, потому что его любили. Когда он входил, все оживлялись. Составилась пулька: Белинский, Маслов, Кульчицкий, Тютчев. Или: Белинский, Кавелин, Панаев, Языков. Позже в эту компанию включились юный Некрасов и молодой щеголь Тургенев, тогда больше поэт, чем прозаик. Он чрезвычайно понравился Белинскому.

Играли почти до света. Кульчицкому везло, он веселился и сыпал шутками, это сердило Тютчева, который играл — точно священнодействовал.

Белинский играл с той же страстью, с которой делал все. В игре это называется азарт. Он зарывался, ремизился и бо́льшей частью проигрывал.

Некрасов обожал Белинского. Ему хотелось, чтобы его кумир всегда выигрывал. Ему больно было смотреть, как расстраивался Белинский проигрывая. Зато редкие выигрыши радовали Неистового, как игрушка ребенка. Некрасов садился рядом с Виссарионом Григорьевичем и тихонько подсказывал ему своим слабым голосом. Остальные делали вид, что не слышат. Но Белинского сердили эти советы, его самостоятельная натура стремилась решать все собственными силами, он раздражался, играл наперекор советам и, конечно, проигрывал. Некрасов горбился и страдал. Белинский говорил ему раздосадованно!

— А с вами, Некрасов, не сяду играть, без сапог оставите.

Все чаще овладевали Белинским припадки кашля. Грудь болела, исходила мокротой. Петербургская сырость угнетала. Мучимый одышкой, Виссарион отказался от табака, от вина. Он не подозревал, что у него чахотка. Нездоровье свое он приписывал пустячным недомоганиям — простуде, катару или просто нервному состоянию от разных жизненных невзгод.

Злая любовь к России

— Я отказываюсь провести черту между народами, говорить о плохих и хороших нациях. Но есть разница между людьми, это в меня вбито. И с первого удара я ощущаю разницу между мучителями и мучениками. Если существует бог, комиссар, а о большем и не мечтает мое истерзанное сердце, то он не различает народов, а только людей. И он будет судить каждого по величине его преступлений и оправдывать по величине своей справедливости.

Дюрренматт

Как рвать со старым другом? Да еще если он чист сердцем и благороден по всему душевному строю. Как рвать с ним, спрашиваю я?

А зачем, собственно, рвать, если он так хорош?

А затем, что он стал политически инакомыслящим.

Ну, а если он это по искреннему убеждению, по совести?

Вот как раз он-то — по самому искреннейшему.

А что из того? Что из того, что он поддерживает по совести бессовестнейшие, подлейшие дела?

Больнее всего Белинскому было рвать дружбу с Костей Аксаковым.

Каждый друг, исчезая из жизни Виссариона, исчезал не целиком. Какая-то частица его задерживалась в душе Неистового, оставляла свой след на его воззрениях, пристрастиях, склонностях. Бакунин покинул Россию, оставив в дар Белинскому философскую образованность. Станкевич умер, успев развить в Белинском вкус к изящному и умственную свободу.

Московские славянофилы ненавидели Белинского. Они готовы были примириться даже с Герценом, хотя он был гораздо в большей степени западником, чем Виссарион, который признавал, что лучшие из славянофилов,— а Костя Аксаков был из лучших, как и братья Киреевские, а отчасти, быть может, даже и Хомяков,— позволяли себе оппозиционные высказывания против деспотизма самодержавия и порой доходили до требования некоторых демократических свобод. Стихи Константина Аксакова в защиту свободы слова (Белинский не дожил до них) были из популярнейшей потаенной литературы:

...Ограды властям никогда
Не зижди на рабстве народа!
Где рабство — там бунт и беда;
Защита от бунта — свобода.
Раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы...
Оружье свободных людей —
Свободное слово!..

Белинский тосковал по утраченным друзьям. Но, конечно, по силе влияния на него Костя Аксаков никак не сравним со Станкевичем. В конце концов

именно Станкевич заронил в Белинском то понятие народности, которое рассорило его с Аксаковым. Правда, в 1837 году, когда Станкевич дал свое определение народности, с ним согласились они оба — и Белинский, и Аксаков. Но Белинский пронес его до конца жизни. Аксаков же вскоре его отшвырнул, сменив на узкий национализм. Вот определение Станкевича:

«Чего хлопочут люди о народности? — Надобно стремиться к человеческому, *свое* будет поневоле... Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит продлить для него время детства: дайте ему общее человеческое и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему. Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом — это никуда не годится».

Выражение «квасной патриотизм», то есть внешний, поверхностный, хвастливый, самодовольный, чванный, изобретено князем Петром Андреевичем Вяземским еще за десять лет до того. Оно быстро стало популярным и сохранилось до наших дней. Тогда, в 1827 году, в Париже вышла книжка Жака Ансло: «Six mois en Russie» *. Этот Ансло, приехав в Россию, сошелся с Булгариным и Гречем, превознес этих полицейских агентов как крупных русских писателей и клеветнически изобразил выступление декабристов. Вяземский в ту пору ходил еще в либералах и поместил о книге Ансло ироническую рецензию в свойственном ему тяжеловесном стиле:

«Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл его *лакейским патриотизмом,* lepatriotisme d'antichambre. У нас

* «Шесть месяцев в России». *(Франц.)*

его можно было бы назвать *квасным патриотизмом*. Я полагаю, что любовь к Отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве»...

Костя Аксаков понимал, что царская власть украла у народа Россию. Но он пытался вернуть ее народу детски наивными средствами: пропагандировал кафтан да косой ворот, сам рядился в какое-то оперно-русское платье и добился того, что вместо сочувствия вызывал недоумение и насмешки. Чаадаев сказал о нем в духе своей испепеляющей иронии:

— Константин Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимает его за персиянина.

А Тургенев откликнулся строфою в поэме «Помещик»:

...Умница московский,
Мясистый, пухлый, с кадыком,
Длинноволосый, в кучерском
Кафтане, бредит о чертогах
Князей старинных...
От шапки-мурмолки своей
Ждет избавленья, возрожденья;
Ест редьку, западных людей
Бранит...

Аксаковская мурмолка, то есть плоская бархатная (иногда меховая) шапка, стала анекдотической принадлежностью костюма славянофилов. Герцен называл славянофилов: «партия рубашки сверх порток». Он же как-то обмолвился:

— Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал.

Даже ближайшие люди, свои же славянофилы, морщились при виде костюмных исканий Кости Аксакова, или Хомякова, или Аполлона Григорьева. Иван Аксаков заметил о брате:

— Любопытно было бы мне знать: какое впечатление на крестьян произвел костюм Кости? Я думаю, что он тщетно старался уверить их, что это костюм когда-то русский.

А Шевырев жаловался Гоголю:

— Константин Аксаков бородою и зипуном отгородил себя от общества и решился всем пожертвовать наря́ду.

Гоголь огорчился:

— Меня смутило такое известие твое о Константине Аксакове. Борода, зипун и прочее... Он просто дурачится, а между тем дурачество это неминуемо должно было случиться... Он должен был неминуемо сделаться фанатиком — так думал я с самого начала.

Не мог пройти мимо этих детских выходок взрослых людей и Белинский. В одном из своих литературных обзоров он писал:

«Некоторые, говорят, не шутя надели на себя терлик, охабень и шапку-мурмолку; более благоразумные довольствуются тем, что ходят дома в татарской ермолке, татарском халате и желтых сафьяновых сапогах — все же исторический костюм! Назвались они партиями и думают, что делать — значит рассуждать на приятельских вечерах о том, что только они — удивительные люди и что кто думает не по их, тот бродит во тьме».

Но конечно ни Аксаков, ни Киреевские не замарали себя полицейскими доносами подобно Погодину и Шевыреву. Деятельность этого крыла славянофилов вызвала гневное негодование Белинского в Петербурге и Грановского в Москве. Тимофей Николаевич публично возмущался «старческими жалобами людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы». Он был ближе

Белинского к московским славянофилам чисто географически, видел и слышал их чаще и сказал о них с явным отвращением:

— Эти люди противны мне, как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда...

Самохвальство славянофилов сопровождалось презрительными оценками Запада, вроде, например, заявления Аполлона Григорьева:

— Шекспир настолько великий гений, что может уже стать по плечо русскому человеку!

Или скоропалительный вывод добрейшего князя Одоевского, который в своем идейном гардеробе имел также изрядно поношенный славянофильский зипун и изредка натягивал его на себя:

— Европа того и гляди прикажет долго жить, а мы, славяне, напечем блинов на весь мир.

И вдруг интеллигентскую Москву потрясла ошеломляющая новость: славянофилы и западники собираются мириться! Называли даже день этого сенсационного события: 22 апреля. Именно в этот день Тимофей Николаевич Грановский заканчивал свой блистательный курс публичных лекций, после чего его будут чествовать торжественным обедом, на котором высокие договаривающиеся стороны и заключат перемирие.

Обед так и назвали: «примирительный». Устраивали его по подписке. Место: дом Сергея Тимофеевича Аксакова по Большому Афанасьевскому переулку. Устроители: от славянофилов — хозяин дома и молодой Юрий Самарин, от западников — Герцен.

Александр Иванович Герцен в ту пору еще питал иллюзии о возможном объединении разных отрядов московской интеллигенции, за что ему сильно попадало от Белинского. Узнав об этом замысле примире-

ния за обеденным столом, Неистовый сказал с горечью своим питерским друзьям:

— Каково это примирение! Неужели Грановский серьезно верит в него? Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения... Для меня эти лобызания в пьяном виде противны и гадки.

Герцена сердили эти попреки. Он в свою очередь обвинил Белинского в отсутствии гуманности, в несовременности, в односторонности.

Нет сомнения, славянофилы хотели переманить Герцена в свой лагерь и, конечно, оторвать от Белинского.

Этот дипломатический банкет был устроен очень пышно. За огромный стол, расположенный буквой П, сели в три часа дня. Во главе стола на почетном месте — Грановский. Рядом — Шевырев, поминутно обнимавший Грановского, хотя всем было известно, что он метит в деканы и боится конкуренции Грановского.

Кроме шампанского, на столе «сотерн» и «лафит» из самых дорогих, не меньше девяти рублей за бутылку. Специально для славянофилов — боярский квас. Впрочем, они больше налегали на очищенную и почему-то на «бордо», которое явно кислило,— видать, садово-каретных лоз.

Первый тост, конечно, за Грановского. Рукоплескали оба лагеря. Второй тост предложил Грановский — за Шевырева. Далее в тостах не было недостатка. Пили за Московский университет. Отдельно — за Москву.

Поднялся Панаев с бокалом в руке. Славянофилы насторожились: что скажет этот закоренелый западник? Тост его прозвучал так:

— За всю Россию, в том числе и за Петербург!

До чего хитер!

Славянофилы загудели. Вскочил Шевырев, маленький, толстенький, и, выпячивая круглый живот, закричал:

— Этот тост, господа, бесполезен! Мы пили за Москву и тем самым за Россию, ибо Москва ее сердце, ее представительница!

Панаев, все еще с бокалом в руке, не смолчал:

— Позвольте сказать, господа, что это несправедливо — исключать Петербург из тоста.

Шевырев потянулся через стол с бокалом:

— Панаев, я с большим удовольствием выпью за вас лично.

Но тут западники закричали:

— За Петербург!

Шум, движение стульев, славянофилы и западники смешались, в разных местах частные тосты, звон сдвигаемых бокалов, несмолкающий гул разговоров, обстановка в общем мирная, во всяком случае внешне, кинжальные удары наносились сквозь бархатные ножны. А впрочем, иногда...

К Герцену подобрался Хомяков, которого он называл «поэт-лауреат с берегов Неглинной». Одет со славянофильским шиком: красная косоворотка (шелковая!), синяя поддевка (габардиновая!), широкий кушак (парчовый!), черные шаровары (бархатные!), заправленные в сапоги (лаковые!). Черные как смоль волосы острижены по-старорусски, в кружок. А лицо вовсе не русское, а скорее какое-то восточное, смуглое, с раскосыми глазами. И сразу — в атаку! Кавалерийскую! Лавой (хоть и один)! С шашкой наголо! (В руке, впрочем, вместо шашки — бокал с шампанским).

— Белинский-то ваш хорош!

— Чем он не угодил вам, Алексей Степанович?

— Неужто не читали? Разбирает он в своем логове, в «Отечественных записках», некую повесть из народной жизни. Ну, пусть она и не жемчужина российской словесности. Но зачем же честить автора за изображение мужицкого быта?!

— А может, оно фальшивое?

— Не в этом дело. У Белинского тон барина. Ему, видите ли, не нравится «лапотная и сермяжная действительность». А за что, я спрашиваю вас, Александр Иванович, за что презирать-то лапоть и сермягу? Растолковали бы вы вашему другу, что и он-то ходит в сапогах потому только, что у него есть подписчики на «Отечественные записки». А не будь их, и он недалеко ушел бы от лапотных.

Герцен подумал, что в словах наблюдательного Хомякова подмечено некое, быть может чрезмерное, полемическое увлечение Белинского. Но не в характере Искандера оставлять друга под ударом противника, и он взял грех на душу — соврал:

— Я читал эту «народную» повесть. И я согласен с Белинским в том, что гадко и вредно идеализировать — и притом так грубо — народную жизнь. Критика его вполне разумна.

Хомяков не стал возражать. Не удалось здесь, нанесем удар на другом участке. Ум у него был хоть и неопрятный, но быстрый и живой. Спорщик он был ловкий. Страсть любил умственное фехтование. От скуки, что ли?

— Разумно? — повторил он задумчиво.— А что такое, собственно, разум? Возможно ли им постичь окружающую нас жизнь? Разумом непременно дойдешь до сознания, что жизнь — это просто непрерывное и бесцельное брожение. Оно может длиться бесконечно, но может и вдруг остановиться. А раз так, то история рода человеческого может оборваться

хоть и завтра, и вы, и я, вместе со всей нашей разумной планетой, сгинем.

Сказал и посмотрел на Герцена хитренько, довольный, видимо, своими щегольскими вывертами.

— А я ведь и не утверждал,— сказал Герцен невозмутимо,— что разумом можно все доказать. Я очень хорошо знаю, что это невозможно.

Хомяков искренне удивился. Он не ожидал столь откровенного признания. Несколько секунд слышен был только звон бокалов, да общий смутный говор, да откуда-то издалека чей-то грохочущий хохот.

— Как? — сказал наконец Хомяков.— Вы так спокойно принимаете столь страшный вывод из этой свирепой имманентности? И в душе вашей ничто не возмущается?

Герцен отпил немного вина. «Какое дрянцо это «бордо»,— подумал он, поморщившись. Потом сказал:

— Да, принимаю, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

— А знаете, Александр Иванович, мне жаль вас: как надо свихнуть себе душу, чтобы примириться со столь печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним.

Герцен улыбнулся:

— А вы, Алексей Степанович, докажите мне, что ваша не-наука истиннее, и я приму ее так же откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к нерукотворному образу Иверской богоматери.

Хомяков встрепенулся. В его черных умных лукавых глазах блеснула надежда.

— Для этого надобно веру,— сказал он живо.

Герцен развел руками:

— Но, Алексей Степанович, вы знаете: па нет и суда нет.

Хомяков сразу увял и проговорил назидательно и быстро, затем только, чтобы оставить за собой последнее слово:

— Вера, чудеса и смирение — это и есть Россия.

Повернулся, пошел, рыская глазами по западникам, ища орешек помягче, себе по зубам.

Удивительно, что хоть Белинского не было на этом примирительном торжище, но он как бы присутствовал незримо. То и дело поминалось его имя.

Вот и в разговоре Панаева с Константином Аксаковым. Долго пробирался Иван Иванович сквозь толпу к этому атлету с детским лицом, заросшим былинной бородой. Вечный юноша, девственник!

Тут нападение исходило от Панаева. Но не столь идейное, сколь личное:

— Вы стали холодны ко мне, Константин Сергеевич, вы явно избегаете меня. Смею осведомиться о причине?

Константин покраснел. Странно было видеть стыдливую краску смущения на этом бородатом богатыре. Он схватил руку Панаева и стал пожимать ее с такой силой, что тот поморщился.

— Поверьте, Иван Иванович, против вас лично я ничего не имею. Но...— и в ясных голубых глазах Константина Сергеевича загорелся фанатический блеск.— ...но к вам, как к петербургскому литератору, я не могу питать никакой симпатии. Ваш Петербург извращает людей. Что вы сделали с Белинским?!

Голос его гремел, вокруг собирались люди.

— Вы вселили в душу Виссариона иноземный дух. Ныне он попирает свои былые верования, он

издевается над тем, что священно для каждого русского, вы отвратили его от Москвы, сиречь от России...

— А разве Петербург не Россия? — спросил подошедший к ним Герцен.

Константин ответствовал сурово:

— Москва — столица русского народа. Петербург — только резиденция императора.

— И заметьте,— сказал Герцен, улыбнувшись,— как далеко идет это различие: в Москве вас посадят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту...

Кругом засмеялись.

Да, по всему этому обширному залу над тостами, криками, восторженными поцелуями, винными отрыжками, политическими спорами, клятвами в дружбе, над всем этим то там, то здесь вспыхивало имя Белинского.

Шевырев все лез своим курносым лицом к Грановскому, все изъяснялся в любви и задал наконец давно прибереженный вопрос:

— Гнусную статейку Белинского «Педант» читать изволили?

Грановскому стало неловко. Все знали, что герой этого острого памфлета не кто иной, как Шевырев. Сказать: читал — последуют слезные призывы к возмущению поступком Белинского. А соврать, что не читал, не хочется. И бедный Тимофей Николаевич промямлил что-то неопределенное.

— Читали, стало быть,— безжалостно продолжал Шевырев.— Так я уверен, что после этого вы при встрече с Белинским, конечно, постыдитесь подать ему руку, во всяком случае публично.

Сказал и посмотрел на окружающих самодовольно, а на Грановского с вызовом. Но он не знал всей нравственной силы этого мягкого на вид человека.

— Я постыжусь? — сказал Грановский с нарастающей мощью голоса.— Публично? Да я не только публично — даже на площади перед всеми, и не только руку подам — обниму Белинского!

Шевырев хохотнул растерянно, потом быстро стал своим тоненьким раскатистым говорком уверять окружающих, что Гоголь — величина раздутая, а «Ревизор» его не более, чем простодушный юмор, а Пушкин часто очень поверхностен, и большинство его произведений просто наброски. Потом он хлопнул по плечу Хомякова и воскликнул:

— Вот лучший лирик нашего времени!

Кажется, Хомяков не очень был польщен этой аттестацией. А Герцен, отходя от Шевырева, пробормотал сквозь зубы:

— Тупорожденный Шевырка!..

Отошел также от этой группы и Погодин Михаил Петрович. Высокий, худой, в коричневом сюртуке, висевшем на нем, как на вешалке, подошел он, шаркая, к столу и склонился над ним, внимательно рассматривая закуски. Лицо его уступчатое,— нос навалился на верхнюю губу, она — на нижнюю,— хранило выражение желчности и подозрительности. Ему не нравились разговоры о Белинском, хвалили того или ругали — все равно. И сам Белинский, разумеется, ему не нравился. Но еще с тех давних времен, когда родились слухи, что он, профессор Погодин, приложил руку к исключению казеннокоштного студента Виссариона Белинского якобы «по ограниченности способностей», а на самом деле «за вредный образ мыслей», он, профессор Погодин, старался избегать всяких упоминаний о Белинском в своем присутствии.

Зацепив вилкой маринованный гриб, Михаил

Петрович отправил его в рот. Туда же опрокинул

рюмочку очищенной. Настроение его несколько улучшилось. Взгляд упал на проходившего мимо Герцена. Погодин приветственно поднял бокал с вином. Пришлось подойти и тоже наполнить бокал. «Демократства и холопства удивительная смесь»,— вспомнил Герцен эпиграмму о Погодине Николая Щербины. Да, сын крепостного, Михаил Петрович когда-то в молодости позволял себе демократические вольности, в повести «Нищий» например. Но довольно быстро сообразил, как лучше всего достигнуть чиновного преуспеяния.

— Что удивляет меня, Александр Иванович,— сказал Погодин,— это ваша привязанность к темам естествознания. Между тем исторические науки — вот ваша природная стезя. Здесь ваше блестящее перо...

И пошел разливаться о том, какое значение для историка имеет слог, приводил в пример Тацита и Плутарха.

«И он еще рассуждает о слоге,— думал Герцен, посасывая вино,— он, с его шероховатым, неметенным слогом, с его манерой бросать корноухие, обгрызанные и нежеванные мысли... Допускаю, что как издатель исторических документов он делает полезное дело. Но читая собственные писания Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате...»

— На трех устоях зиждется наша государственность,— говорил меж тем Погодин,— на отеческой власти, на религии смиренномудрия и на верности старине.

«Но это же триединая формула Уварова: самодержавие, православие, народность»,— чуть было не сказал Герцен, но воздержался: стоило ли ломать примирительный стиль этого банкета? Ему было

ясно, что и Хомяков, и Погодин взяли на себя миссию переубедить его или хотя бы приблизить к славянофильским позициям. Он молчал, его слегка подташнивало не то от плохого «бордо», не то от Погодина.

Ободренный молчанием Герцена, считая, что славянофильская проповедь заставила его задуматься, Погодин продолжал:

— История, дорогой Александр Иванович,— это охранительница и блюстительница общественного спокойствия.

Тут Герцен не выдержал и сказал сухо:

— Полагаю, Михаил Петрович, что это взгляд не столько научный, сколько полицейский.

Поклонился и отошел. «Черт знает что! — думал он с отвращением.— У правительства нет настолько образованных шпионов, чтобы доносить о каждой идее, вырвавшейся из свободной души, чтобы понимать в ученой статье направление мысли. Славянофилы вроде Погодина и Шевырева добровольно взялись за это. Но Киреевские, и Иван и Петр, люди чистые...»

Он увидел их мать и удивился. Как попала сюда Авдотья Петровна? Он знал, что эту умную и обаятельную женщину огорчает «славянобесие», как она выражалась, ее сыновей. Рядом стоял Грановский. Она поманила Герцена. Он подошел и почтительно склонился к ее руке. Авдотья Петровна Елагина была еще хороша в свои пятьдесят с лишним лет. Улыбка, полная прелести, молодила ее. Литературный салон Елагиной — прием по воскресеньям — в гостеприимном доме у Красных Ворот все еще гремел, и дядя Авдотьи Петровны, поэт и царедворец Жуковский, приезжая в Москву, непременно посещал его.

Оба сына также стояли подле нее. Младший, Петр Киреевский, с лицом таким твердым, словно его вытесали топором, уже становился известен своими записями русских народных песен. И хоть он был в одном славянофильском лагере с Погодиным, тот сторонился его. Петр Киреевский негодующе восстал против погодинских утверждений о смиренном и покорном характере русских людей, считая эту характеристику оскорблением народа.

Старший брат, Иван Киреевский, озирался вокруг себя с видом христианского мученика, влекомого язычниками в клетку со львами. Славянофил-мистик, он ушел в религию и провозглашал преимущества православно-христианского любомудрия над развратом католико-протестантского Запада. Фанатическим блеском горели глаза на его нежном, истомленном, рано постаревшем лице. Грановский смотрел на него с жалостью. Поймав его взгляд, Иван Васильевич сказал возбужденно:

— Сердцем я больше с вами, Тимофей Николаевич. Но не делю многого из ваших убеждений. С нашими я ближе, но столько же расхожусь в другом...

Грановский улыбнулся и ничего не ответил. Иван Васильевич налил шампанского ему, Герцену, себе и брату. Молча чокнулись они и выпили. Вино как-то сразу подействовало на Ивана, он вдруг обнял Герцена и трижды, по-русски поцеловал его. Потом сказал, внезапно перейдя на «ты»:

— Об одном прошу тебя: перемени в твоей фамилии второе «е» на «ы». Герцын — это будет для уха более по-русски.

Откуда-то вынырнувший Шевырев тоже бросился лобызать Герцена и орал своим высоким тенорком:

— Ничего, ничего, он и с «е» хорош, он и с «е» русский!

Они заспорили, а Герцен тихонько отошел от них. У окна, выходившего в сад, стояло несколько человек. Здесь разглагольствовал Юра Самарин. Герцену был симпатичен этот молодой человек и широтой своих взглядов, и независимостью суждений. Правда, его полемика с Белинским... Но в конце концов Самарин повторяет утверждения Белинского, только делает из них противоположные выводы. Герцену казалось, что Самарина нетрудно переубедить, стоит только убеждения с изнанки вывернуть на лицевую сторону. Он прислушался. Самарин, то поправляя очки, то поглаживая свою молодую бороду, говорил:

— Наша русская крестьянская община дает живой, в самом бытии славянского племени заключающийся ответ на последний вопрос западного мира.

Сергей Тимофеевич Аксаков воскликнул удивленно:

— То есть, вы ставите знак равенства между общиной и социализмом?

— То, что на Западе называют социализмом,— проникновенно сказал Самарин,— то у нас на Руси давно осуществлено общинным бытом.

Герцен смотрел на этого молодого богатого помещика, выросшего при царском дворе и до сих пор говорившего по-французски гораздо свободнее, чем на родном языке, и думал с грустной насмешливостью: «А ведь ты, барич, и народ-то изучал по своему камердинеру...»

Самарин меж тем поучал:

— Только две силы и есть в России: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце.

— Вы забыли, Юрий Федорович, о нас, о дворянстве,— сказал Шевырев запальчиво.

Самарин презрительно блеснул на него очками и сказал тоном, не терпящим возражений:

— Дворянство — нелепая среда, лишенная всяких корней в народе и теряющая те черты, которые отличают наш народ: любовь и смирение...

Немного времени прошло после этого «примирительного обеда». Славянофилы словно забыли о Герцене. И он не стремился увидеть их. Ему надо было что-то понять в себе, разобраться в сумятице своих чувств и мыслей. Есть ли в славянофильстве что-то здоровое? Действительно ли общинное устройство русских сел имеет в себе что-то общее с социализмом? Возможно ли рассматривать славянство обособленно от судеб всего мира?

Переулок Сивцев Вражек, где жил Герцен, был совсем близко от Большого Афанасьевского, где жили Аксаковы. И выходя на раннюю утреннюю прогулку к Пречистенке, к Остоженке и далее к зеленым откосам над Москвой-рекой, Герцен не мог уклониться от встреч с Костей Аксаковым, а иногда и самим Сергеем Тимофеевичем, который шагал своей решительной поступью старого охотника, воинственно помахивая тяжелой суковатой палкой, похожей на палицу.

— Все же мне кажется,— сказал ему Герцен, гуляя над рекой,— что славянофилы не имеют корней в народе.

Сергей Тимофеевич даже остановился в удивлении. Герцен продолжал неотвратимо:

— Да, да, Сергей Тимофеевич! Вы все дошли до ваших национальных теорий умственно. Сельская община, в которой вы видите идеал христианской

любви, удобна главным образом для помещиков, как средство исправно получать повинности с крестьян.

— Александр Иванович!..

— Славянофильство — болезнь литературная. Вы предаетесь воспоминаниям о том, что народ забывает. Вы и о настоящем имеете мнение, вовсе не сходное с мнением народным. Вы изобретаете идиллии о народной жизни.

Герцен говорил не только для Аксакова, но и для самого себя. Размышляя вслух, он помогал себе разобраться в собственных мыслях. Он видел, что славянофильская проповедь одухотворенного смирения и мистической кротости не отнимает у славянофилов возможности получать ордена, пенсии, места придворных наставников или звания камер-юнкеров, камергеров. Славянофилы все больше делались партией правительственной.

Да, Киреевские люди чистые. Но ведь Иван Васильевич сознательно отвергает всё, идущее с Запада, и даже боится разворошить свое отношение к Западу, чтобы не открыть в себе заглушаемые голоса неверия. Вера его неглубока, споры о ней схоластичны вроде этих проблем: «Откуда прилетают ведьмы — из Киева или из Чернигова?»,— пока не появляется всеведущий Хомяков, который смеется над ними, потому что он-то знает наверное, что ведьмы прилетают из Житомира.

Самый умный и трезвый из них, Самарин, быстро разобрался после «примирительного обеда» в непримиримых противоречиях между славянофилами и западниками и сказал Косте Аксакову:

— Разрыв с Герценом необходим. А согласие с ним, в сущности, никогда не было искренним...

Вскоре Самарин поместил в «Москвитянине»
 статью против «Современника». Это было открытое

объявление войны. Кавелин опубликовал возражения, но Белинский остался недоволен их кротким тоном.

— Церемониться со славянофилами нечего,— сказал он.— Я не знаю Киреевских, но судя по рассказам Грановского и Герцена, это фанатики, полупомешанные (особенно Иван), но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично Константина Аксакова. Это человек, в котором благородство — инстинкт натуры. Я мало знаю брата его, Ивана, и не знаю, до какой степени он славянофил, но не сомневаюсь в его личном благородстве.

— За что же вы меня осуждаете? — спросил Кавелин, поводя своим упрямым подбородком.

— А за то, мой милый «глуздырь», что за исключением этих людей все остальные славянофилы, знакомые мне лично или только по сочинениям, подлецы страшные и на все готовые, или по крайней мере пошляки. Ваш Самарин не лучше других.

— Я ему и возражал.

— Не так, как надо. Этот барич третировал нас с вами с высоты своего величия, а вы возражаете ему, стоя перед ним на коленях. Высечь его надо было! От его статьи несет мерзостью. Эти господа чувствуют свое бессилие, свою слабость и хотят заменить их дерзостью, наглостью и ругательным тоном. В их рядах нет ни одного человека с талантом. Их журнал «Москвитянин» читается только собственными сотрудниками. Катать их, мерзавцев!

По поводу провала «примирительного обеда» Белинский торжествовал.

— Помнишь,— сказал он Герцену,— как я, избавившись от своих монархических увлечений, склонил голову перед тобой и сказал тебе: «Ты победил, галилеянин!» Что скажешь теперь ты? То же самое?

— Я не люблю повторяться. И не люблю библейского стиля. Я скажу просто: «Мы сквитались».

Они засмеялись.

— А на «примирительный обед» ты все-таки пошел,— поддразнивал его Белинский.

— И ты бы не устоял.

— Нет, брат, я с филистимлянами за одним столом есть не сяду.

— Эк тебя все на библейское тянет.

— Внук священника!

— А помнишь, Белинский, как ты Хомякова хвалил?

— Что ж, человек он неглупый, образован. Но мне было б гадко его слышать, и он не надул бы меня своей диалектикой. Это изящный, образованный умный Хлестаков, человек без убеждений, шут, паяц. Плюю в лицо всем Хомяковым!

— Да ты не горячись.

— Совет не по адресу.

— Видишь ли, Виссарион, они все же любят Россию.

— Нет, не любят.

— Любят.

— Хорошо, Александр, пусть так: любят. Но неправильно.

— Разве в любви есть правила?

— Они любят Россию по-доброму. Они всё ей прощают. Они со всем в ней примиряются. А любовь должна быть требовательная, тоскующая, злая! А они все одобряют. Даже пьянство. Как же, русская удаль! Сила! Да, я согласен, сила, та сила, которая не находит себе общественного выхода и вырывается пороком. А они этого не видят, потому что все сглаживают.

Он вопросительно посмотрел на Герцена: не последуют ли возражения. Но тот кивнул головой: продолжай, мол. И Белинский продолжал:

— Славянофилы узурпировали любовь к народной поэзии. У них это что-то внешнее, костюмное, театральное. Из-за кольчуг, шлемов и лат они не видят лаптей, мочалы, рогожи. Я прежде считал сказки Пушкина лженародными. И признаюсь тебе, Александр, что, только прочтя «Медного всадника», я понял, что, гениальное: «Ужо тебе!» — родилось из необыкновенно тонкого знания и чувства народного языка. Это немцы и славянофилы меня прежде сбили с толку в вопросе о фольклоре. В конце концов любить родину — это значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеалов человечества. В противном случае будет китаизм, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразиям и уродствам.

— Ты прав,— сказал Герцен задумчиво.— Ближе всех к этому общечеловеческому Самарин. Но и у него оно затемняется узким славянофильством. Костю Аксакова я даже славянофилом не считаю, он москвофил. Хомяков лукав, бездушен и податлив, как публичная женщина. Благороднее всех Киреевские, но — фанатики. Если бы власть была их, то нам с тобой, Виссарион, пришлось бы жариться где-нибудь на лобном месте...

Три встречи

О, как мне хочется смутить
веселость их
И дерзко бросить им в глаза
железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Лермонтов

С прапорщиком Новогородского полка Михаилом Лермонтовым познакомился Виссарион еще в тридцать седьмом году в Пятигорске на водах. Но, разумеется, стихи его давно приметил. И восхитился. Правда, к восхищению этому примешивалась тогда доля смущения, этакой философской неловкости. В ту пору Белинский щеголял в гегельянском сюртуке наимоднейшего фасона: «примирение с действительностью». И все, что ни видел, совал себе за философскую пазуху. А лермонтовские стихи туда не лезли, сколь бедный Неистовый ни тужился. Тесный гегельянский сюртук трещал под напором мятежного гения.

— Ну,— утешал себя Белинский,— это у Лермонтова от молодости, подрастет — огегелится... Но какой роскошный талант, какой сильный, самобытный поэт...

И вдруг они встретились. Занял Виссарион у Васи Боткина пятьсот, да у Аксакова столько же, да восемьсот у Ефремова (Николай Полевой, скареда, отказал) и вместе с ним же, с Ефремовым, светлым майским утром двинулся на Кавказ. Займы делались в расчете на предстоящие доходы от издания «Оснований русской грамматики».

Остановился в Пятигорске в комнатах казенной ресторации и стал усердно принимать ванны. Много читал — Сервантеса, Пушкина, Купера. Ничего не пи-

сал, кроме писем, впрочем таких обширных и содержательных, что иные из них стоили статей.

Здесь же познакомился с Николаем Сатиным, дружески сошелся и даже быстро перешел на «ты» с этим милым, образованным молодым человеком, нежным, как девушка, и отчасти склонным к ленивой мечтательности. Не понять было, происходила ли мечтательность Сатина от слабохарактерности или наоборот.

Однажды, когда Белинский сидел у него, и они, по обыкновению, препирались по поводу того, что первоначальнее — дух или материя, и Сатин, доведенный до крайности идеалистическим упорством Виссариона, говорил с досадой:

— Белинский, фанатизм всегда дурен, а ты немного фанатик, признайся...

Именно в этот момент в комнату вошел, гремя волочащейся саблей, молодой офицер.

Сатин познакомил их. Лермонтов поклонился, не подавая руки. Белинский, при всем своем жадном интересе к нему, стеснялся смотреть на него и только изредка урывками поглядывал. Смуглое лицо, черные глаза, большие. Рот пухлый, казалось еще не окончательно сложившийся, еще хранивший в своих очертаниях детскую нежность. Сутуловат. Ноги немножко скобками, что, впрочем, для конника, пожалуй, даже натурально.

Говорит живо, весело. Но по лицу изредка пробегает презрительная гримаска. В пристальности взгляда, с какой он обследовал Белинского, было что-то обидное. Так можно рассматривать вещь.

Перебрал все книги на столе, на полках. Посмеивался почти беспрерывно.

С Сатиным на «ты». Они, оказывается, старые школьные товарищи.

Разговор незначительный. Светские курортные сплетни, кто за кем волочится, да с каким успехом, да как ведет себя такой-то, да с кем изменяет мужу такая-то. Белинский нетерпеливо слушал. Ему удалось вклиниться в эту болтовню с сообщением, что он и Лермонтов почти земляки — Чембар и Тарханы рядом, их разделяет всего четырнадцать верст. Сообщение было принято с холодноватой благосклонностью. Сейчас Белинскому казалось, что между ним и земляком залегают безмерные пространства.

Все же надо попробовать повернуть разговор. Не может быть, чтобы сочинитель поразительных стихотворений, автор потрясающего вопля «На смерть Пушкина» был пустым светским болтуном. И посреди оживленного рассказа Лермонтова о том, что князь Г., которого он, впрочем, называл попросту Коко, был застигнут своей любовницей en flagrant délit * с хорошенькой банщицей Дашенькой, весьма популярной среди великосветских подагриков и ревматиков,— Белинский возбужденно заговорил о французских энциклопедистах, об их просветительной деятельности, о Дидро, о Вольтере.

Лермонтов воззрился на Белинского с насмешливым удивлением.

— Дидро? — сказал, улыбаясь с иронической любезностью.— У нас в юнкерском училище о нем даже песню сложили,— что-то вроде: «Люблю Дидро, ума ведро, но еще более Дидра люблю изгиб ее бедра».

И захохотал. И чем настойчивее и уже сердясь старался Неистовый вовлечь Лермонтова в серьезный разговор, тем тот все более веселился и дурачился. А услышав имя Вольтера, сказал:

— Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере: если

* На месте преступления. *(Франц.)*

бы он явился теперь к нам в Тарханы, его бы ни в одном доме не взяли в гувернеры.

Виссарион просто онемел от неожиданности. Безмолвно, пылающими глазами смотрел он на этого офицерика, который, опершись руками на рукоять сабли, ответствовал ему ясным глумливым взглядом. Белинский схватил свой картуз и не прощаясь вышел. Выходя, он услышал хохот Лермонтова.

— Зачем ты с ним так? — сказал Сатин с мягким упреком.— Белинский замечательно умный человек. У нас мог получиться интересный разговор. Зачем ты прикинулся светской пустышкой, все обшучивал, даже Вольтера?

Лермонтов пожал плечами:

— Нисколько. Ведь он, твой Белинский, сам писал недавно в «Молве», что авторитет Вольтера упал даже в провинции, его признают только разве какие-нибудь жалкие развалины «времен очаковских и покоренья Крыма».

— Он так писал? — удивился Сатин.

— Ты ведь знаешь мою память. Она-то его и поразила, даже сразила. Послушай, Сатин, есть два Вольтера. Я говорил не о поэте, не о человеке огромного ума, остроумце, философе, а о Вольтере — придворном прихлебателе, льстеце, содержанце королей. Ты читал статью в пушкинском «Современнике»? Да вот он у тебя на столе.

— Еще не успел,— извиняющимся тоном сказал Сатин.

Лермонтов раскрыл журнал и прочел:

«Вольтер во все течение своей долгой жизни никогда не умел сохранить собственного достоинства. Наперсник королей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к

своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей».

Лермонтов отбросил журнал и сказал:

— Вот о каком Вольтере я говорил...

Сатин вскочил с дивана и направился к дверям.

— Ты куда?

— Вернуть Белинского. Ты объяснишь ему...

— Не к спеху. Авось встретимся когда-нибудь...

И встретились. Не сразу. Через несколько лет.

Давали бал у графини Лаваль. Там блистал молодой барон Эрнест де Барант, фигура неприкосновенная, сын французского посла. Ему шепнули на ушко, что Лермонтов написал на него дерзкую эпиграмму. И вообще злословил о нем в разговоре с княгиней Щербатовой. И то и другое — ложь.

Так и сказал Лермонтов, когда де Барант тут же потребовал у него объяснений. Высокомерный сынок посла не поверил. К тому же его подзуживали. Власть не могла простить писателю его гневных обличений. Добровольные агенты своими нашептываниями возбуждали в заносчивом французе мстительное чувство. Среди высокопоставленных грязных сплетников была госпожа Нессельроде, жена министра иностранных дел, и даже дочь царя ее высочество великая княгиня Мария Николаевна.

Желая унизить Лермонтова, де Барант сказал:

— Если бы я находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело.

Ответ Лермонтова был сух и полон достоинства:

— В России следуют правилам чести так же строго, как и везде.

 Дуэлянты стрелялись у Черной Речки, классиче-

ском месте поединков. Де Барант уехал за границу. Лермонтова притянули к военному суду. Он был арестован. Тогда-то к нему пришел Белинский на офицерскую гауптвахту, в так называемый Ордонансгауз. На второй этаж, в отдельную камеру.

Виссарион вошел к нему несколько конфузясь, опасаясь встретить холодность, недружелюбную насмешливость.

Он не узнал в этом серьезном, простом, естественно державшемся человеке болтуна с великосветского курорта. Перед ним был, как он потом сказал Боткину, человек глубокого и могучего духа:

— Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! Я был с ним робок,— меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь...

Они беседовали часа четыре. Они затронули множество тем. Начали с литературных новинок.

— Я не люблю Вальтер-Скотта,— сказал Лермонтов.— В нем мало поэзии, он сух.

Белинский возражал, говоря, что для познания исторической действительности романы Вальтер-Скотта дают больше, чем научные труды по истории.

Но Лермонтов предпочитал романы Купера. Тут Белинский с ним согласился.

— В них несравненно больше поэзии,— доказывал Лермонтов,— больше глубины и больше художественной целостности. Они способны вдохновить писателя. Признаюсь вам, Виссарион Григорьевич, я сам замыслил трилогию, подобную Куперовой тетралогии,— я разумею его «Последний из могикан», «Путеводитель по пустыне», «Пионеры» и «Степи».

— Какую ж эпоху вы берете, Михаил Юрьевич?

— Три эпохи: век Екатерины Второй, век Алек-

сандра Первого и наш век. Это будет история русского общества...

Разговор лился вольно. Естественно было от этой темы перейти к тому, что есть сейчас. Здесь выяснилось согласие их взглядов.

— Нам нужна поэзия,— говорил Лермонтов, расхаживая по каменному полу одиночки,— обличительная, бьющая по позорной смиренности нашего общества, по умолкнувшей совести. Не согласны ли вы с тем, что каждое произведение есть приговор, а писатель — либо судья, либо адвокат, либо прокурор.

Он вдруг засмеялся и добавил, поклонившись:

— А иногда и подсудимый.

Белинский не отводил от него глаз.

— В словах его было столько истины, глубины и простоты! — делился он своими впечатлениями в редакции «Отечественных записок», куда он пришел прямо из гауптвахты.— Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть!..

Они говорили о Пушкине, о Гете, о Байроне. С литературы разговор их перешел на житейские темы — о любви, о женской неверности, о мужском эгоизме. Здесь сказалась ранняя ожесточенность поэта. И все же...

— А знаете,— сказал Белинский,— в вашем рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей я вижу семена глубокой веры в достоинство и того и другого.

Сказал и замер, ожидая вспышки высокомерия.

Но Лермонтов улыбнулся мягко и устало.

— Дай-то бог...— сказал он тихо.

Они расстались тепло и дружественно.

Уходя Белинский думал:

«Какая нежная и тонкая поэтическая душа! Недаром же меня так тянуло к нему...»

Потом не без торжества:

«Все же мне удалось сбить с него скорлупу этой надменной и язвительной замкнутости и увидеть его в настоящем виде. Может быть, он сейчас даже раскаивается, что допустил себя хоть на минуту быть самим собой... Дьявольский талант! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Львиная натура!..»

«Демон» был запрещен. И, как многие запрещенные произведения, ходил по рукам в списках. Белинский читал его друзьям. И даже один их списков сам сделал. Он списывал с двух списков и иногда терялся — уж слишком порой разнились они один от другого. Списав наконец, отдал в переплет. Список этот он готовил для одной своей московской знакомой — для Марии Васильевны Орловой. Он знал ее давно, но редко видел. А вот в последний приезд в Москву почувствовал к ней нечто большее, чем просто дружеское расположение. Он стал робеть в ее присутствии, был непривычно почтителен. Она, как и Виссарион, происходила из духовной семьи. «Демона» он отправил по почте Васе Боткину и поручил ему передать поэму Марии Васильевне.

Боткин поручение выполнил, о чем и написал Белинскому. Письмо его Неистовый вскрывал не без волнения. Его интересовал отзыв Боткина не столько о «Демоне», сколько об Орловой. Пробежав письмо, он добрался до строчек:

«Святители! Какая это была прекрасная девушка! Лучше всего то, что она совершенно проста и нисколько не натянута... Теперь, когда ей уже, вероятно, около тридцати лет, а такие годы страшны для

девушек — и теперь еще сколько огня в этих прекрасных глазах, сколько прекрасного в ее взгляде, особенно когда она смотрит исподлобья... С ней очень охотно говорится, и натура ее, кажется, доступна очень многому».

Виссарион вздохнул с облегчением: Мария Васильевна понравилась Боткину. Впрочем, и «Демон» тоже.

Месяц прошел после свидания Белинского с Лермонтовым в Ордонанс-гаузе. И новая встреча — на этот раз с одним из героев Лермонтова. Но этот герой так похож на самого писателя! Он иногда кажется Белинскому сколком с Лермонтова. Да, Печорин — это современный Онегин.

— И в то же время,— сказал Белинский Боткину,— Печорин — это Лермонтов как он есть...

Встреча произошла на страницах «Отечественных записок». Сначала лаконичный отклик, просто несколько строк, зародыш будущей статьи о «Герое нашего времени», семена, из которых разовьются: «глубокое чувство действительности», «верный инстинкт истины», «глубокое знание человеческого сердца», «смелость кисти», «совершенно новый мир искусства».

А в обширной статье своей Белинский назвал роман «грустной думой о нашем времени» и «воплем страдания, но воплем, который облегчает страдание».

Белинского интересовало, как Лермонтов относится к этой статье и к другой — о его стихотворениях. Он прослышал, что Лермонтов на краткий срок приехал в Петербург. Он стал искать встречи и вот увидел его на литературном воскреснике у князя Одоевского. Лермонтов стоял у стены, скрестив руки. Какой-то толстый полковник разглагольствовал о совре-

менной поэзии. В голосе его была начальственная хрипотца. Он отрицал самостоятельность русской поэзии. Лермонтова он назвал подражателем Байрона. Белинский не выдержал. Дрогнувшим голосом он перебил полковника.

— Пока еще,— сказал он,— я не назову Лермонтова ни Байроном, ни Гете, ни Пушкиным и не скажу, чтобы из него со временем вышел Гете или Пушкин, ибо я убежден, что из него не выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет...

Он сделал паузу. В зале было тихо, как перед грозой.

— ...а выйдет,— сказал он с силой,— Лермонтов. Знаю, что мои похвалы покажутся большинству публики преувеличенными, но я уж обрек себя тяжелой роли говорить резко и определенно то, чему сначала никто не верит, но в чем скоро все убеждаются. Не сомневаюсь, что недалеко то время, когда это имя — Лермонтов — в литературе сделается народным именем и гармонические звуки его поэзии будут слышимы в вашем повседневном разговоре, господа, между толками вашими о житейских заботах...

Он замолк. Кое-кто зааплодировал, поднялся возбужденный гул разговоров, среди которых выделялся возмущенный баритон толстого полковника.

Белинский оглянулся. Лермонтова не было. Придерживаясь стены, Виссарион побрел к выходу, ему не хотелось никого видеть. В прихожей кто-то взял его за руку. Это был Лермонтов.

— Вы хорошо отделали этого полковника,— сказал он улыбаясь.

— Кто он?

— Гвардии хрипун.

— Это я слышал, но...

— Хрипун, Виссарион Григорьевич,— это наше

офицерское словечко. Его изобрел командир Конногвардейского полка Раевский. Хрип — это свойство не горла, а характера, это — чванливость вместе с надменностью.— Он засмеялся, кивнул и быстро сбежал по лестнице.

«Он так ничего и не сказал мне о моих статьях о нем»,— подумал Белинский.

Но ему не было грустно. Наоборот, он понял, что разговор о «гвардии хрипуне» был выражением скрытой признательности и даже дружеской ласки.

«Чудак,— нежно подумал он,— какой чудак!..»

А вскоре Николай Платонович Огарев писал о смерти Рылеева, Пушкина, Лермонтова. Не только конец Рылеева — все эти смерти он называл казнями:

«Во всех случаях казнь идет из одних рук, из рук самодержавия. Те же крысы выпущены тем же капралом...»

Край личного счастья

> Теперь я понимаю, что поэту совсем не нужно влюбиться, чтобы хорошо писать о любви, а скорее нужно не влюбляться, чтобы мочь хорошо писать о любви. Теперь я понял, что мы лучше всего умеем говорить о том, чего бы нам хотелось, но чего у нас нет, и что мы совсем не умеем говорить о том, чем мы полны.
>
> *Белинский*

Привязанность друзей, их любовь, даже их поклонение не могли освободить Белинского от чувства одиночества. Именно им, друзьям, то одному, то другому, все чаще жаловался он.

Авдотье Панаевой:

— Право, околеешь ночью — и никто и не узнает...

Васе Боткину:

— Дома быть не могу ни минуты,— страшно, мучительно, холодно, словно в гробу...

Ему же:

— Стены моей квартиры мне ненавистны; возвращаясь в них, иду с отчаянием и отвращением в душе, словно узник в тюрьму...

Николаю Бакунину:

— Какой-нибудь этакой «глуздырь» женится, а ты посвистывай в страшной холодной пустоте своей ненавистной квартиры... одеваться да и бежать куда-нибудь от самого себя...

Он в эти дни влюбился. То робел, то преисполнялся самых необузданных мечтаний. Послав Марии Орловой список лермонтовского «Демона», он рассматривал это как завязку нового жизненного узла. Он полагался на волю судьбы — пусть она развязывает узел как хочет. Он считал, что хуже, чем сейчас, ему не будет.

Он познакомился с Орловой еще в тридцатых годах. Тогда ей было двадцать три года, ему двадцать четыре. Казалось, потом он забыл о ней. Образы других женщин заполнили его жизнь: Бакунина, Щепкина, «гризетка». В сущности, он никого из них не любил. Он любил любить. Так это было раньше.

Белинский был предельно правдивым человеком. Даже когда он заблуждался и принуждал себя верить в философские миражи, например в пресловутое «примирение с действительностью», могучий инстинкт истины гнал его в противоречия с самим собой и заставлял говорить и поступать противно навязанному себе убеждению.

Когда в январе сорок второго года он снова увидел Марию, то понял, что всегда любил только ее. По-видимому, этот костер никогда не угасал. И вот он вспыхнул новым пламенем. Впервые в жизни, в отличие от прежних увлечений, он любил уже не любовь, не само это состояние счастливого безумия, он любил ее, человека, женщину во плоти, Марию Орлову. Она как бы двоилась в его глазах. Он видел ее и такой, какая она сейчас, и такой, какая она была, когда много лет назад он увидел юную воспитательницу в Александровском институте, который она незадолго до того окончила. Сейчас он писал ей:

«Я совершенно согласен с А. В., что Вы были лучше всех на маленьком бале Вашей начальницы. Другие могли быть свежее, грациознее, миловиднее Вас — это так; но только у одной Вас черты лица так строго правильны и дышат таким благородством, таким достоинством. В Вашей красоте есть то величие и та грандиозность, которые даются умом и глубоким чувством. Вы были красавицей в полном значении этого слова, и Вы много утратили от своей красоты; но при Вас осталось еще то, чему позавидует и красота и молодость и что не может быть отнято от Вас никогда».

Время переиначило нравы и вкусы, оно омолодило людей, особенно женщин. В наши дни тридцатилетняя женщина молода. В эпоху Белинского это — пожилая дама, «бальзаковский возраст». Мария Васильевна Орлова даже как бы немного стыдится в свои тридцать лет стать невестой. В смущении пишет она об этом Виссариону, называя себя старой, дурной и т. п. Он отвечает ей:

«...Что же касается до старой, больной, бедной, дурной жены, sauvage * в обществе и не смыслящей

* Нелюдимой. *(Франц.)*



ничего в хозяйстве, которою наказывает меня бог,— то позвольте иметь честь донести Вам, Marie *, что Вы изволите говорить глупость. Я особенно благодарен Вам за эпитет: *бедной*; в самом деле, Вы погубили меня своей бедностью: ведь я было располагался жениться на толстой купчихе с черными зубами и 100. 000 приданого...»

Письма Белинского и Орловой по нежности, чистоте и поэтичности чувства, украшенного радостным юмором, принадлежат к лучшим образцам любовной эпистолярной лирики. Виссарион был преисполнен любовью. Все растворилось в ней — природа, отношения с людьми, литература. Теперь он приходил в восторг от романов Жорж Санд, которые раньше осуждал. Ныне он восклицал, что Санд раскрыла «таинство любви».

Его не покидало состояние восторженности. Стояли лунные вечера. Кабинет его в доме на Невском был полон серебряным сиянием. Он не зажигал света. Сквозь окно он смотрел на луну, он и к ней сейчас чувствовал нежность, потому что ведь она сопровождала его во время недавних прогулок с Марией в Москве, в Сокольниках. Он шагал по комнате, спотыкаясь о горшки со своими любимыми олеандрами, и напевал хрипловатым баском свою любимую мелодию из хора чертей в опере «Роберт-дьявол». Он не знал, куда девать себя. Ему хотелось принести Марии какую-нибудь жертву. Он бросил нюхать табак — ей не нравилась эта неизящная привычка.

Не в силах вынести одиночества, он выбежал на улицу. Он вспомнил, что нынче у Вержбицких две именинницы. Он забежал в кондитерскую и в цветочный магазин.

* Мария. *(Франц.)*

У Вержбицких полно гостей. Его тотчас втянули в кадриль. Он все путал, кругом хохотали, он больше всех. Вернувшись домой, он написал письмо Марии:

«...бокал шампанского крепко ударил мне в голову... Мне совсем бы не надо пить вино; но когда все веселы и сам себя чувствуешь веселым — ну как удержишься, чтоб не подурачиться? Мне же так ново и непривычно быть веселым...»

Можно ли не посочувствовать милому Неистовому, прочтя эти слова, такие простые и грустные и вместе радостные! Он вступил в незнакомый край, в котором никогда не был: в край личного счастья.

На другой день он пошел обедать к Комаровым. Там знали о его романе с Марией. Ее тезка, Мария Александровна Комарова, почему-то была раздражительна и делала язвительные намеки. Белинский в ответ только блаженно улыбался. В конце концов Мария Александровна выпалила:

— Какие вы любите губы — толстые или тонкие?

Белинский сказал смеясь:

— Толстые, как у коровы.

Мария Александровна с досадой поджала свои пухлые губы.

Белинского ревновали к будущей жене, и притом не только женщины, но и мужчины, его друзья.

В эти же дни перед Белинским возник соблазн. Горячий поклонник его, некий Всеволод Андреевич Косиковский, богатый петербуржец, предложил Виссариону поехать с ним за границу. Маршрут: Германия, Франция, Голландия, Италия. В собственном экипаже. На два года. Косиковский просил Белинского об этом как об одолжении. Он щедро оплачивал бы его общество — шесть тысяч рублей,— нет, не

взаймы, а просто за удовольствие иметь Белинского своим спутником, ибо, как выражался Косиковский, «Виссарион Григорьевич богат познаниями». Он горячо убеждал Белинского согласиться. Мало того: он подослал их общего приятеля Комарова к Краевскому, чтобы тот — упаси боже! — из деловых соображений не удержал Белинского в Петербурге.

Разумеется, никакие Краевские не могли бы помешать Виссариону. Да к тому же Краевский поддержал предложение Косиковского.

— Это путешествие,— сказал он Белинскому,— поможет вам укрепиться в своих воззрениях с большей уверенностью.

Белинский отказался. Сейчас у него был здесь магнит посильнее. Он даже не заикнулся Марии о предложении Косиковского. Просто поблагодарил его за интересное и лестное предложение и вежливо отказался, туманно объяснив это некоторыми причинами личного свойства.

Неожиданно у Белинского с Марией начались споры. Между спорящими сторонами залегли восемьсот верст, отделяющие Москву от Петербурга.

Но разве только это? Никто не существует в безвоздушном пространстве, каждый несет с собой атмосферу привычной среды — привязанностей, родственного деспотизма, представлений, доставшихся по наследству, о чести, о приличии, страха перед общественным мнением и так далее, и так далее. Спор шел о том, где венчаться: в Петербурге или в Москве?

Мария за Москву. Ну как же, где это видано, чтобы невеста ехала к жениху? Это только в королевских семьях бывает наоборот. Все московские родственники, тетушки, кумушки, салопницы, вся эта чиновная челядь, по выражению Белинского, «подонки, отстой, изгарь татарской цивилизации», чопорная

madame Cherpiot — начальница института, дядюшка, по словам Кетчера,— «неумолимый взяточник», отец, по определению самого Виссариона,— «истинный представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота»,— все это восстало, требуя венчания в Москве со свадебным пиром, многочисленными гостями, криками «горько!» и всей пьяной шумихой и опошляющими публичными церемониями, оскорбительными для чувства Белинского.

Письма Неистового, призывающие Марию пренебречь обывательскими условностями,— это целая литература, страстная, убедительная. Она не убедила Марию.

Виссарион сдался. В полных горечи строках он сообщает о своем согласии приехать в Москву.

И все-таки эти бомбы, которые он метал из Петербурга в Москву, в конце концов взорвали цитадель мещанства, в которой укрылась Мария.

Она не приняла жертву Белинского. Она сама принесла жертву. Она написала, что едет в Петербург. Все ж таки это был подвиг любви. Получив это письмо, Виссарион схватил перо и написал:

«...я без ума от радости, что Вы едете, благословляю Вас и путь Ваш. О, если бы Вы знали, сколько Вы делаете для меня этой поездкою и какие новые права приобретаете ею на меня и жизнь мою!»

Они повенчались, как хотел Белинский, без всякого шума в маленькой церкви Строительного училища на Обуховском проспекте близ 1-й роты Измайловского полка. Свидетели — ближайшие друзья из круга Белинского. С его стороны — Комаров, Вержбицкий и Языков, со стороны невесты — Кульчицкий и Тютчев. Совсем ненужно было столько свидетелей, их натащил в церковь Панаев, и Белинский рассердился, хотя в общем был весел.

Из церкви — на квартиру к Виссариону. Мария упросила Панаевых посидеть, выпить чаю. Торжество было омрачено в самом прямом смысле слова: комната заполнилась дымом. Кухарка, нанятая Авдотьей Панаевой, что-то сожгла в кухне. Впрочем, это не испортило молодым радостного настроения.

Конечно, друзья ревновали Виссариона к Марии. Они обожали его. В своем обожании они доходили до того, что считали его своей собственностью. Вдруг явился кто-то со стороны, не из их кружка, чужак, и покусился на их кровное достояние, на их сокровище, ограбил их! Озлился даже добрейший Панаев и незамедлительно донес Герцену:

— Орландо Фуриозо женат и упивается семейным счастьем. Супруга взяла его в руки...

Как будто можно взять в руки молнию!

Особенно ярился Николай Николаевич Тютчев. Округлое лицо его, опушенное волнообразной бородой, дышало презрением, когда он говорил о Марии. Он обвинял ее в злодейском плане: она, видите ли, затвердила литературные рассуждения Виссариона, вычитанные из его же статей, и этим завлекла его в супружеские сети. Тютчев придирался и к ее наружности:

— Смотрите на ее походку, какая-то угловатая, неграциозная...

А наблюдая ее бережливость, уверял, что она скупа. Ему вторила молодая жена. Николай Николаевич женился недавно, и Шурочка Тютчева, собственно, почти и не знала Марию.

Тургенев Иван Сергеевич, впрочем не пощадивший почти никого из своих друзей, написал о Марии несправедливую злобную эпиграмму. Невзлюбил ее

и Некрасов. Даже деликатный Кульчицкий утверждал, что Белинский «сделался идиллик и овцелюб».

Кавелин Константин Дмитриевич, тоже некогда член кружка, называл Марию женщиной посредственной, якобы не давшей счастья Белинскому. Правда, у него хватило честности тут же признаться, что мало ее знает и говорит с чужих слов. Зачем же такая поспешность? Не честнее ли было разобраться самому, чем вторить брюзгливому ворчанью членов кружка, «ограбленных» Марией?

Ах, почему Константин Дмитриевич не дал себе труда прислушаться к другим мнениям! Герцен, например, пренебрег язвительным намеком Панаева и дружески поздравил Белинского. Или — Гончаров. Дело даже не в том, что Иван Александрович не был членом кружка, подобно Тютчеву и другим, и не испытывал от женитьбы Белинского ревнивого чувства потери. Позволю себе утверждать, что автор «Обломова» и «Обыкновенной истории» разбирался в людях не хуже чиновника департамента сборов и податей Н. Н. Тютчева. А может быть, даже и несколько лучше.

— В семейной жизни трудно отыскать человека, который бы с большим уважением обращался к жене, чем Белинский,— сказал Гончаров.

Этим отношением Виссариона к Марии был тронут и Анненков. Именно он объяснил, почему Белинский с такой стремительностью, «изумившей,— по выражению Анненкова,— его друзей» (прибавлю: и раздражившей), расстался со своим одиночеством:

— Он встретил привязанность, которая наносила удар его скептическому пониманию самого себя, сохранившись через значительный промежуток времени.

Этот сухой, но проницательный человек (тоже, кстати, не член кружка) сумел разглядеть силу и длительность большого чувства Виссариона к Марии,— то же, в сущности, что другими словами выразил Герцен, сказав, что у Белинского «в груди гигантская способность любви и даже самоотвержения».

А сколько тоски, слегка замаскированной юмором, в письмах Белинского к жене из-за границы:

«...Чувствую, что пока не получу от тебя доброго письма, не буду спокоен и жить мне будет тяжело...»

«...Выздоравливай непременно, если хочешь, чтобы я выздоровел, и живи непременно, если хочешь, чтобы я жил...»

«...Мне не скучно, я гуляю, ем, пью, ничего не делаю, дамы со мной любезны донельзя — кажется, тут и грешно и стыдно было бы помнить, что женат и есть жена, а ведь помнится. Да это еще куда бы ни шло, а то ведь хотелось бы увидеться, как будто и бог весть, как давно не виделись...»

Вернувшись из-за границы, Белинский тяжко болел. Понадобилось случиться этому несчастью, чтобы хулители Марии разглядели наконец ее благородное и нежное сердце, полное любви к Виссариону.

Теперь Александра Петровна Тютчева говорила:

— Эта женщина, право, заслуживает всеобщее уважение: так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму...

Конечно, люди проницательные ценили и уважали Марию и раньше. Достоевский просил своего брата позаботиться о Марии, когда с ребенком она приехала на лето в Ревель:

«Я люблю и уважаю этих людей... М-м Белинская весьма слабая, пожилая и больная женщина. Они люди добрые... Ради бога, брат, постарайся».

Часть III.
РУБИЩЕ ГЕНИЯ

Спутники и прохожие

В умственной деятельности нет ни званий, ни подов; есть сила, а сила эта — талант. Снисхождение обидно для таланта; в нем нуждается одна бездарность.

Белинский

Павел Васильевич Анненков интересовался всем. Неглубоко, но широко. От Пушкина до Маркса. В этой огромной галерее нашлось местечко и для Белинского. Павел Васильевич был любознательный путешественник. Не боец, о нет! Наблюдатель. Он никогда не спорил. Он слушал и соглашался. Он соглашался со всеми. Поэтому в большом обществе, где происходило столкновение мнений, он помалкивал. А оставшись наедине, поддакивал собеседнику. Как-то, вернувшись из-за границы, Белинский рассказывал друзьям о встреченном им в Кельне соотечественнике:

— Как истинный русак, он умеет говорить в духе каждого мнения, то есть приноровляться, но своего не имеет никакого. Ругал Францию и говорил, что недаром французы отдают преимущество нашему образу правления. Я его осадил, и он сейчас же согласился со мной...

Рассказывая, Белинский посматривал не без лукавства на присутствовавшего при сем Анненкова.

Тот погладил свою полную щеку и сказал рассудительно:

— А не был ли ваш собеседник попросту полицейским шпиком?

— Весьма возможно,— беззаботно согласился Неистовый.

Пробовал себя Павел Васильевич и в художественном роде. Однако повести его так плохи, что вошли в литературных кругах в поговорку. Не желая обидеть этого в общем обязательного и услужливого человека, Белинский сказал ему:

— Не то чтобы у вас было мало таланта, но род вашего таланта не такой, какой нужен поэту. Для прозаика же у вас гораздо больше таланта, чем сколько нужно...

Сыграла ли роль эта характеристика, полная дипломатической тонкости, или Анненков сам убедился в своей творческой несостоятельности, но только он больше никогда не возвращался к художественному жанру. Он обратился к жанру мемуарному. И здесь он успел куда больше. Человек наблюдательный, много видевший, широко образованный, он оставил интересные воспоминания, написанные хоть и вяло, но изобилующие ценными сведениями и любопытными подробностями.

Так-то оно так. Сведения ценны, подробности любопытны. А главное? А сердцевина? Вот тут-то и приходится сказать, что Павел Васильевич ухитрился вынуть из Белинского его окровавленное страстью сердце революционера и всадить туда пластмассовый орган добродетельного мещанина:

«...ни один из его приговоров ни в печати, ни в устной беседе не дают права узнавать в нем, как того сильно хотели его ненавистники, любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, пита-

ющегося надеждами на крушение общества, в котором живет... у Белинского не было первых элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить...»

Вот такое сладенькое блюдо приготовил обязательный и услужливый Павел Васильевич Анненков из Виссариона. Этот раздел своей книги Анненков мог бы озаглавить: «Неистовый в сиропе».

Инженер-прапорщик в отставке Федор Достоевский написал роман «Бедные люди». Ему двадцать четыре года. Невысокий, щуплого сложения. Курносенькое лицо его неспокойно, рот почему-то дергается, серые глаза, мечтательные, острые, бегают, точно ищут чего-то. Необщительный, даже мрачный. Снимает квартиру вместе с Димой Григоровичем, тоже бывшим воспитанником Инженерного училища, что в Михайловском замке. Красивый малый, щеголь, светский болтун, дамский угодник. Ничего общего с Достоевским, за исключением того, что тоже пробует себя в литературе и даже тиснул в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»» (некоторые называют их: «Инвалидные прибавления к русской литературе») рассказик «Собачка», а в одном сборнике — очерк «Петербургские шарманщики».

Квартирка их на углу Владимирской и Графского: две комнаты, кухня. Крайней властно завладел Федя Достоевский, в проходной предупредительно устроился добряк Дима Григорович. Живут молодые люди не очень сытно. Верховодит угрюмый Федя. Вертлявый веселый Дима во всем слушается его. В Достоевском чувствуется какая-то нервная сила.

Вдруг предложил он Григоровичу, что прочтет ему
 свой роман. И хоть не мала рукопись, страниц двести,

Федор прочел ее залпом. Дмитрий был потрясен. Он взял рукопись, чтоб отнести ее Некрасову. Достоевский не отдавал. Впервые Григорович не подчинился ему.

Он сам прочел роман Некрасову. Была глубокая ночь, когда он закончил, почти утро. И все-таки они пошли к Достоевскому, подняли его и излили ему, изумленному и восхищенному, свои восторги.

Наутро (собственно, в тот же день) Некрасов принес «Бедных людей» Белинскому.

— Новый Гоголь явился! — начал Некрасов.

Виссарион охладил его скептическим замечанием:

— У вас Гоголи как грибы растут. Вы-то сами написали чего-нибудь? Садитесь, читайте.

Не дерзая ослушаться, Некрасов принялся читать стихи каким-то странным однообразным напевом.

— Хорошо,— сказал Белинский,— хорошо, что вы пишете не о деве и не о луне.

— А иные считают, что я упрощаю поэзию, низвожу ее...

Белинский перебил его:

— Нападать на поэзию за то, что она оземляет идеи, все равно что нападать на математику за то, что она исчисляет и измеряет. Читайте еще.

Услышав стихотворение «В дороге», Неистовый обнял Некрасова:

— Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!

Когда же он услышал «Родину», он заставил Некрасова записать ему это стихотворение.

— Выучу наизусть,— сказал он и тут же повторил запомнившиеся ему начальные строки:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,

Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства...

Когда Некрасов ушел, Виссарион сказал Марии:

— Страшно хорошо! Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!

А когда вечером снова пришел Некрасов, Виссарион закричал:

— Куда вы пропали? Немедленно приведите Достоевского! Да поскорее!

И трепещущий Достоевский предстал перед Неистовым.

— Да вы понимаете ли сами-то, что̀ вы такое написали? Вы до самой сути дела дотронулись. Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему — и будете великим писателем!..

Белинский говорил, задыхаясь от возбуждения, голос его, как всегда в такие минуты, становился высоким и тонким.

И поползла по Петербургу слава о рождении нового огромного писателя. Она проникла и в Москву, и Вася Боткин сказал, что у этого молодого писателя «при всей его тугости и смуте есть глубокое чувство трагического».

Достоевский зачастил к Белинскому. Виссарион привязался к нему, уже назвал его раз-другой «молодым глуздырем», давал ему советы не только творческие, но и житейские:

— Не продешевите себя, Достоевский. Наши журнальные и издательские дельцы быстро вас окрутят. Меньше двухсот рублей ассигнациями не берите за печатный лист. Не профанируйте себя, не разбрасывайтесь. Я очень верю в вас, Достоевский. Что вы читаете? Знаете ли вы книги таких двигателей чело-

вечества, как Жорж Санд, Пьер Леру, Прудон? Читали Фейербаха? А Штрауса «Жизнь Христа»? Если нет, возьмите у меня, только верните. Нынче мыслящий человек не может не быть социалистом. Как вы думаете?

Достоевский упивался похвалами Белинского. Он вошел в его кружок.

— О, я буду достоин этих похвал, — говорил он брату, — и какие люди, какие люди!

Он имел в виду Некрасова, Панаева, Тургенева, Анненкова.

— Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они...

Белинский хотел видеть его всегда — не только у себя, но и в тех домах, где он сам бывал. Привел его к Панаевым, и Достоевский немедленно влюбился в Авдотью Яковлевну. Он думал, что этого никто не видит, не отводил от нее глаз и не замечал, как насмешники Тургенев и Языков перешептываются за его спиной.

Однажды он получил записку от Белинского:

«Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам, Вас проводит человек, от которого Вы получите эту записку. Вы увидите всех наших, а хозяина не дичитесь, он рад Вас видеть у себя».

Записку принес Тимофей Иванович Всегдаев. Он с интересом вглядывался в юного писателя, прославившегося так стремительно. Достоевский не то по застенчивости, не то по заносчивости говорил по дороге мало. А скромный Всегдаев не досаждал ему вопросами. Так молча проделали они весь путь к Комарову. Там было большое общество.

Некрасов читал смешные пародии на доносительские стихи Н. Языкова. Белинский хохотал. Это была

одна из первых «вылазок» Достоевского в люди. Все с любопытством разглядывали его. Он не знал, как вести себя. Он увидел Авдотью Панаеву. Она приветливо кивнула и поманила его. Он вспыхнул и направился к ней. Виссарион перехватил его:

— Успеете еще к дамам.

Усадил рядом с собой. Он явно гордился им, любовался. Таков уж был Неистовый: если признает кого-нибудь, отдаст ему себя безраздельно. Именно Белинский, его страстные речи проложили Достоевскому дорогу в кружок Петрашевского.

— Я уже в сорок шестом году,— вспомнит впоследствии Достоевский,— был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским.

Вскоре Достоевский принес Белинскому повесть «Двойник». Виссарион устроил у себя специальный вечер, чего почти никогда не делал, созвал гостей. Читал сам Достоевский, он был хорошим чтецом. Таких восторгов, как после «Бедных людей», не было. Все же Белинский похвалил силу и полноту вещи, ее, как он выразился, «оригинально-странную тему». Однако не скрыл своего недовольства тяжелым слогом:

— Вам надлежит, Достоевский, избавиться от затрудненного способа изложения, добиться более свободной и легкой передачи мыслей.

Слова эти вызвали одобрительный гул. Кто-то, кажется Маслов, крикнул:

— Многое натянуто!

Достоевский побледнел. Белинский ринулся в его защиту:

— «Двойник» — произведение необыкновенного масштаба. Честь и слава молодому писателю, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и гово-

рит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это люди, ваши братья!»

Сказал и вызывающе оглядел окружающих. Тургенев шепнул на ухо сидевшему рядом с ним Всегдаеву:

— Что-то я не вижу здесь обитателей раззолоченных палат. Уж не вы ли?

Тимофей Иванович не удержался от улыбки.

Достоевский перехватывал все взгляды, все усмешки. Он чувствовал, что новая повесть не имеет успеха, что Белинский хвалит ее как-то через силу. Он озирался как затравленный. Это была легко ранимая душа. Самолюбие непомерное, гордость сатанинская, нетерпимость. Он озлобился.

Этого только и нужно было Тургеневу. Удивительное дело: при блистательном уме и благородстве характера он порой находил удовольствие в том, чтобы донимать людей эпиграммами, пародиями, а иногда просто колкими репликами в живом разговоре. Вместе с Некрасовым он сочинил и пустил по рукам стихи:

Рыцарь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Достоевский порвал с ним, и с Некрасовым, и с Панаевым,— в общем, со всем кружком. И хотя Белинский решительно не одобрил новую его повесть «Хозяйка», к нему единственному Достоевский сохранил хорошие чувства.

«Только с ним,— писал он брату,— я сохранил добрые отношения. Он человек благородный».

Как бы резко ни осуждал Белинский и «Хозяйку» и «Господина Прохарчина», именно ему принадлежит поразительное пророчество о Достоевском:

«...его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много в продолжении его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».

Много позже Достоевский случайно встретился с Белинским на улице. Это было у Знаменской церкви. Белинский только что переехал в новую квартиру на Лиговке. Хлопот было! Мебель, книги свозили из трех мест. Зато квартирка! Простор — шесть комнат, и недорого. Да и место отличное — рядом Невский. Правда, самый конец его. Но зато — вокзал чугунки. Он еще только строится — зрелище захватывающее. Сюда и совершал прогулки Белинский, здесь-то и произошла встреча с Достоевским.

— Я часто хожу сюда,— признался Виссарион.— Все смотрю, как строится вокзал. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне сердце!

— Вы считаете это важным?

— Да, Достоевский! Это усилит промышленность, торговлю, переплетутся интересы людей всех сословий и классов, люди вступят между собой в живые и тесные отношения.

— А не становится ли наш век слишком прозаичным?

Белинский иронически покосился на Достоевского.

— Бедный наш век! — сказал он с притворным сожалением.— Сколько на него нападок, каким чудовищем считают его! И все это за железные дороги, за пароходы...

Со стороны будущего вокзала, обшитого лесами, доносились лязг, свистки. Иногда подымался черный дым и что-то невидимое ухало тяжело и мерно.

Белинский прислушивался к этим звукам с явным удовольствием. Взглянул на Достоевского, как бы приглашая его соучаствовать в переживаниях, как в театре во время удачного пассажа зрители сочувственно поглядывают друг на друга, сопереживая наслаждение.

Достоевский пожал плечами:

— Это все внешнее,— сказал он,— далекое от жизни духа.

Белинский вскричал:

— Неверно! Все это: и паровые машины, и железные дороги, и электрические телеграфы — все это что же такое, если не победа духа над своими древними врагами — материей, пространством, временем? Это предвестник освобождения человека от материальных забот, унижающих душу, от рабства нужды и вещественности!

Достоевский заметил, что Белинский сильно подался, похудел, ссутулился. Но говорил с прежним воодушевлением, горячо и вместе с тем просто. Достоевский подумал, что вот человек, который никогда не рисуется, который говорит кровью сердца, и его снова потянуло к Неистовому, и захотелось рассказать ему про пятницы у Буташевича-Петрашевского, про вольные речи, которые там звучат, про поклонение Фурье, про свободолюбивые думы. Но не сказал. Подумал, что эта тайна принадлежит не только ему.

Хоронили Полевого Николая Алексеевича.

Уже перед самым выносом тела подкатил в карете с гербами добрый князь Одоевский. Постоял с при- 305

стойно грустным видом у гроба. Выразил соболезнование брату покойного, Ксенофонту Алексеевичу, и укатил.

Погода отвратительная. С Невы дул сырой февральский ветер с мокрым снегом. У гроба было много литераторов. Пришли даже и те, кто еще при жизни отшатнулись от Николая Алексеевича. А некоторые даже перестали с ним здороваться после крутого поворота в его жизни. Когда журнал его «Московский телеграф» был закрыт за либеральное направление, Николай Алексеевич сильно испугался, свернул красное знамя свободомыслия и сбежал в Петербург. Здесь он, по выражению Герцена, «на пятый день по приезде сделался верноподданным». Ныне смерть примирила с ним. Помнили только о светлом периоде его жизни, о том полезном, что он сделал для русской культуры.

Подошел редактор «Пантеона» поэт Аполлон Григорьев в славянофильском зипуне, довольно щегольском, из-под которого выглядывала поддевка. Он долго грустно вглядывался в лицо покойника, лежавшего в открытом гробу. Потом распахнул зипун, ему всегда жарко, стали видны голубые плисовые отвороты поддевки. Подошел к Григоровичу, взял его под руку.

— Это ушла эпоха,— сказал он задумчиво.

Григорович кивнул головой.

— И какая эпоха! — продолжал Аполлон.— Ведь Полевой только впоследствии дошел до квасной кислоты и нравственной сладости.

— И политической неразберихи,— сказал Григорович шепотом, чтобы не услышал брат покойного.

— А в ту пору он стоял высоко,— добавил Григорьев.

Он снова покосился на покойника и сказал:

— Конечно, он давно уже покойник. Мумия тридцатых годов. Его позорные празднoшатания по российской словесности начались с того момента, как он протянул руку Булгарину, это было...

Григорович толкнул его в бок:

— Вот он сам!

Приближался Булгарин.

Грузный, толстопузый, косоногий, в старопольском кунтуше со шнурами на груди. Он растроганно приложил платок к глазам, протиснулся к гробу и взялся за край его.

— Нет уж, позвольте,— сказал Петр Андреевич Каратыгин,— не тот знаменитый трагик из Александринки, а брат его, Каратыгин 2-й, тоже актер и водевилист, к тому же славившийся острым языком.

— Хочу отдать последний долг,— сказал Булгарин хрипло и отрывисто,— почтить память... нести гроб с незабвенным...

— Полноте, Фаддей Венедиктович,— сказал Каратыгин 2-й,— зачем вам? Вы уже при жизни довольно его поносили.

И решительно отстранил Булгарина.

Процессия двинулась. Булгарин постоял, постоял... Мело. Он покрывался крупными хлопьями, снег таял на нем, он тяжело дышал, потом громко сплюнул, повернулся, собираясь уйти...

— Нет уж, Фаддей Венедиктович, постойте-ка, да подойдите поближе. Давайте потолкуем. Пришла ваша очередь. Так, стало быть, из России вы дезертировали к Наполеону в 1811 году.

— Я не дезертировал, я просто...

— Бежали в Варшаву. Но до этого вы служили в русской армии и участвовали в военных действиях

против Наполеона. А в 1812 году вы были в войсках Наполеона, наступавших на Москву, не так ли? Вам удалось удачно отступить — в этом вы всегда были мастер,— и в следующем 1813 году вы сочли за благо сдаться в плен, следуя своей неизменной жизненной философии — всегда быть на стороне победителей. Вы благоразумно предпочли сдаться в плен пруссакам, а не русским, у которых вы числились дезертиром. Но нечуткие пруссаки передали вас, как изменника, русским. Позвольте, я еще не кончил. Тут ведь наступает самый темный и непонятный момент в вашей пестрой жизни: вместо петли на шею вы стали редактором «Северной пчелы». Очевидно, именно в этот момент вы сделались ancilla politiae *.

— Чего?

— Ах, вы не знаете по-латыни? Не хотелось бы прибегать к грубым уточнениям. Но что делать, скажем понятнее для вас: вы купили себе жизнь тем, что стали платным агентом III Отделения, иначе говоря, полицейским шпиком по литературной части.

— Я патриот!

— Допустим. Но вы почему-то доказываете ваш патриотизм доносами. При этом вы доносчик сладострастный, то есть такой, который от своих доносов не только получает профит, но и испытывает извращенное наслаждение.

— Все, что я делаю, я делаю по доброй воле.

— Фаддей Венедиктович, побойтесь бога! Не вы ли обратились к вашему высокому начальству, графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу, с нижайшей просьбой: «Позвольте испросить наставление, какими правилами должны мы руководствоваться в критике?»

* Служанка полиции. *(Лат.)*

— У меня есть читатели. И даже поклонники.

— Не сомневаюсь. Белинский, между прочим, сказал, что наша публика — мещанин во дворянстве; ее лишь бы пригласили в парадно освещенную залу, а она уж из благодарности, что ее, холопа, пустили в барские хоромы, непременно остается всем довольною. Да, у вас есть читатели. Немного, но есть. Откуда они берутся? Белинский прав: от отсутствия публичности.

— Как, как? Остро! Запишу.

— Позвольте, Булгарин, это же в частном письме.

— Для высшей власти нет ничего частного. И вообще не думайте, что мне сладко.

— А что?

— Недавно и мне сильно попало от властей.

— Вам? Может ли это быть? За что?

— За то, что я написал, что в Петербурге часто бывает плохая погода...

— И это все?

— Клянусь! Меня вызвали в III Отделение и намылили голову: «Вольнодумничать вздумал? Климат царской резиденции бранишь? Знаем мы, что за «климат» ты имел в виду. Смотри, брат!..» А я ведь, верите ли, чисто о погоде.

— Верю. Вам ведь, Булгарин, в общем-то на все наплевать. Знаете, что сказал о вас Павлов?

— Какой? Николай Филиппович? И знать не хочу.

— Забыть изволили? Так я напомню: «Булгарин не понимает, или лучше, не хочет понять, что мы любим Россию больше его: ведь ему стоит дать лишний рубль, так он пойдет в лакеи к Франции, Англии, Германии и к кому угодно».

— Сам-то Павлов хорош: женился на богатой уродливой Каролине Яниш. Что ж... Я его не осу-

ждаю. Кому деньги не нужны! Одним литературным трудом много не нагребешь.

— Поэтому вы и берете взятки.

— Ну, это уж слишком!

— Полноте, Фаддей Венедиктович, не скромничайте, это вам совсем не к лицу. Кому не известно, что вы за взятки рекламируете в своих статьях и рассказах товары коммерсантов, чья торговлишка плохо идет,— портных, кондитеров, виноторговцев, фруктовщиков...

Он не дослушал, пошел, волоча толстые ноги, громадина, покрытая снегом, пошел к себе домой на Невский, где уже ждала немецкая его жена и ее тетка, домашние деспоты, перед которыми он трепетал. Они отнимали у него все доходы от «Северной пчелы». Он получал от них на табак да на извозчиков какие-то копейки. Как же не брать с торговцев взятки, о которых дома не догадывались?

Он шел, вздыхая, снег таял на нем и вокруг, с крыш капало, под ногами хлюпало, он оглянулся, чтобы посмотреть на своего странного собеседника, но, видать, и тот растаял, как снеговик в оттепель...

Слева — направо и справа — налево

Для меня дышать одним воздухом с пошляком и бездушником все равно, что лежать с связанными руками и ногами.

Белинский

Зимние утра в Петербурге начинаются поздно. В одиннадцать еще темно, на столе у Белинского горят свечи. Как славно пишется о том, кого любишь!

«Крылов выразил — и, надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского духа: его здравый практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. Многие хотят видеть в Крылове непременно баснописца, мы видим в нем нечто большее, басня только форма...»

— Барин, к вам.

Белинский отложил перо и повернулся к кухарке:

— Сколько раз я просил не называть меня «барин». У меня есть имя.

— Да уж больно оно диковинное.

— Кто ко мне?

— Господин Герц.

Белинский с шумом отодвинул кресло, вскочил:

— Герцен? Какими судьбами?

Поспешил к дверям.

В комнату вошел юноша, маленький, румяный. Он сказал смущенно:

— Меня зовут Герц Карл Карлович. Я из Москвы, привез вам письма...

Белинский засмеялся:

— Простите, бога ради. Я должен был сразу догадаться. Герцен оборвал бы звонок, загремел бы хохотом, рассыпал бы десяток острот тут же, снимая шубу, очаровал бы кухарку... К тому же Герцен субъект запрещенный за вольные мысли о полицейских.

Карл Карлович склонил свое краснощекое лицо. Потом спросил почти шепотом:

— А это верно, что полицейский убил прохожего?

— Убил да ограбил. У Синего моста. Да вы можете говорить полным голосом. В моем доме шпионов нет.

— Позвольте узнать, кто же донес на Герцена?

— Почта.

— Это как же понимать?

— А очень просто. Об этом убийстве Герцен написал отцу. На почте в «черном кабинете» вскрыли письмо. В итоге — ссылка. Потому друзья мои и отяготили вас просьбой...

— Помилуйте! Я счастлив познакомиться с вами.

Он вынул из внутреннего кармана письма.

— Много благодарен. Так... Стало быть, от Герцена и от Грановского...

Все чаще приходилось прибегать к оказиям. Так, Кетчер передал Белинскому «Deutsch-Französische Jahrbücher» *, только что вышедший под редакцией Маркса и Руге. А так как в немецком он был не силен, то Кетчер перевел для него все, что нашел в сборнике наиболее интересного.

Тайная полиция — знаменитое III Отделение — уже знала о существовании этого ежегодника. Его прислал парижский агент Я. Толстой с присовокуплением верноподданнической аннотации, где он писал, что сборник этот изобилует «гнусными подстрекательствами и опорочением всего, что достойно самого высокого уважения: ничему нет пощады, нет для этих людей ничего святого!» Вот как живописно выражался царский шпик в своем служебном усердии!

Белинский читал «Jahrbücher» с карандашом в руке. Ему понравилась мысль Бакунина в его письме к Руге:

«Мыслителю и поэту дозволено предвосхищать будущее и строить новый мир свободы посреди груд разложения и тлена, нас окружающих».

Дойдя до памфлетного стихотворения Гейне о ба-

* «Немецко-французский ежегодник». *(Немецк.)*

варском короле Людвиге, Неистовый рассмеялся про себя и также обвел его одобрительной чертой.

В статье Маркса «К критике гегелевской философии права» он отчеркнул слова:

«Религия есть лишь призрачное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начнет двигаться вокруг себя самого».

Кетчер носился с «Ярбюхером» по всем друзьям. Он уверял, что Белинский под действием этой книги стал другим человеком. Это преувеличение в кетчеровском духе в конце концов рассердило Виссариона. Во-первых, шум этот небезопасен. А во-вторых, как отписал Белинский Герцену:

«Кетчер писал тебе о парижском «Ярбюхере», и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел,— и все тут. Истину я взял себе — и в словах *Бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я по-прежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал».

Истину Белинский извлек из статьи Маркса. Разумеется, и это письмо пошло в обход почты, оказией.

Что-то менялось в отношениях между Белинским и его друзьями. Старое монументальное здание дружбы начало давать трещины. Порвав с «Отечественными записками» и уйдя в «Современник», Белинский полагал, что все пойдут за ним. Пошли. Но и «Отечественные записки» не покинули.

А между тем все резче стала обозначаться межа между двумя журналами. Там у Краевского — разлив либерализма, снисходительного к самодержавию, порой и к крепостному праву. Здесь у Белинского — революционный демократизм, прощание с социалистическими утопиями, стремление к революционному действию.

Да, покачнулись старые дружеские связи. Возраст, что ли, сказался... Но ведь, в сущности, зародыши этого в дремлющем состоянии лежали в минувшем. Вспомнить хотя бы Неверова...

В студенческие годы Януарий Михайлович ходил в свободомыслящих. Организовал «Дружеское общество», где читались запрещенные стихи Пушкина, Рылеева. Когда арестовали членов подпольного политического кружка Сунгурова, не кто иной, как Неверов, собирал деньги для арестованных, что было вовсе небезопасно. Действительно, полиция разнюхала эти связи, дело дошло до царя. Николай I приказал установить за Неверовым тайный надзор и соизволил выразиться, что оный студент «добрый малый, но глуп». Второй части этой характеристики нельзя отказать в меткости, а первая, право, наводит на размышления.

Все же Януарий Михайлович был во время оно товарищем Станкевича. Однако когда Станкевич начал тяготеть к политическому действию, Неверов не ощутил таковой потребности. И в назидании Станкевича: «Если хочешь быть принятым с почестями, вооружись медным лбом, отращивай пузо»,— Неверов словно и не заметил иронического смысла, а, кажется, принял этот совет всерьез.

Он благополучно закончил курс в Московском университете, защитил звание магистра, слушал лекции в Берлинском университете, где он, по мнению

Герцена, окончательно ослабил свои способности философией и филологией. Вошел в доверие к министру Уварову, получил место инспектора Рижской гимназии. В ту пору Уваров предпринял насильственное обрусение Остзейского края с помощью чиновников типа Неверова.

Явился Януарий Михайлович как-то на литературную вечеринку к Панаеву. Тот не очень был разборчив в гостях, за что ему не раз попадало от Белинского, да и от Герцена. Кстати, в тот вечер оба они тоже были у Панаева. Неверов, повояжировав за границей, считал себя вправе поучать замшелых российских бирюков, каковыми он считал в общем всех присутствовавших.

Он стоял посреди комнаты и ораторствовал. Его тонкогубый щелевидный рот не закрывался, синие очки, коими он прикрывал свое одноглазье, сверкали победоносно, лицо изображало сухость, иронию и торжество. Нес он какую-то вполне благонамеренную чушь.

Белинский полулежал на диване, отчаянно скучал. Томился и Герцен, нервно шагавший по комнате. Когда он в очередной раз прошел мимо Виссариона, тот поймал его за фалду фрака, притянул к себе и шепнул:

— Слышишь, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит. Будь отцом родным, одурачь его как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь остротой, ты это лучше умеешь. Ну, утешь.

— Ты что же меня натравливаешь, как бульдога на крысу,— сказал Герцен, смеясь.— Я ж этого господина почти не знаю, да и не прислушиваюсь к тому, что он говорит.

А Неверов, отчитав Кольцова за то, что тот сме-

нил кафтан на фрак, вдруг стал поносить Чаадаева за его «Философическое письмо».

— Считаю,— сказал он своим непреложным тоном,— поступок его презренным и гнусным. Такого человека уважать нельзя.

Герцен остановился.

— А я считаю,— сказал он холодно,— что слова «гнусный» и «презренный» в применении к человеку, который смело высказал свое мнение и пострадал за него, такие слова сами по себе гнусны и презренны.

Януарий Михайлович нахмурился.

— Не согласен,— сказал он высокомерно.— Чаадаев оскорбил народ. Наше отечество едино с народом, и разрушать это единство преступно. Есть святыни, милостивый государь, до которых нельзя касаться.

Только Герцен собирался обрушиться на Неверова, как подбежал соскочивший с дивана Белинский. Он был бледен, в глазах прыгали искры.

— Полюбуйтесь на него! — закричал он, указывая на Неверова.— Вот они высказались, инквизиторы, цензоры, запретители, мастера водить мысль на веревочке! Что за обидчивость такая? Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь ссылают — не обижаемся. А тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить. Отчего же в странах более образованных, где, кажется, чувствительность должна быть развитее, чем в Костроме да в Калуге, не обижаются на слова?

Вокруг них собирались. Бородатый Сатин смотрел на Белинского с одобрением. Толстый очкастый Ефремов — с возмущением. Щеголь Панаев — со смешанным выражением восторга и беспокойства. Восхищение Белинским боролось в нем с гостеприимными рефлексами хозяина.

Неверов улыбнулся с видом превосходства.

— А я вот как раз сейчас оттуда,— сказал он,— из образованных стран, на кои вы ссылались, хоть сами там и не были. Так вот, представьте себе, там есть тюрьмы, куда запирают безумцев, оскорбляющих то святое, что чтит целый народ. Да-с, сударь, в более образованных странах, как вы изволили выразиться, за это ввергают в тюрьмы. И прекрасно делают. Прекрасно!

Белинский слушал, скрестив руки на груди. Казалось, он вырос. Лицо его было недвижно, словно вытесано из гранита. Только глаза излучали гневный блеск. Он заговорил в наступившем безмолвии тихо и необыкновенно внятно, чеканя каждое слово:

— А в еще более образованных странах ставят гильотину, на которой казнят тех, кто находит это прекрасным.

При слове «гильотина» Иван Иванович Панаев сделал испуганное движение, окружающие мелкими шажками стали отдаляться, а Неверов как-то поблек и залепетал:

— Несмотря на вашу нетерпимость, Виссарион Григорьевич, я уверен, что вы согласитесь со мной в том, что...

— Никогда! — сказал Неистовый.— Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!..

Многие засмеялись. Авдотья Яковлевна позвала к столу — ужинать. Неверов отказался и ушел. Белинский посмотрел ему вслед и сказал почти грустно:

— А ведь когда-то он был человеком...

Ну, а Кетчер? Как же он? А ведь был совсем такой свой. Угловатый, но добрый. Грубый, но прямой. Бесцеремонный, но честный. Мировоззрение? У Кет-

чера? У Николая Христофоровича? Мировоззрение вполне шампанское. Кому Гегеля, а кому «вдову Клико». Впрочем, к концу жизни у него образовалось мировоззрение. И довольно дурно пахнущее. Он стал стремительно праветь. Славословил царя, поносил Герцена и грязнил память Белинского. Да, к концу жизни он оправдал одну из своих кличек: «Дикарь по убеждению». Впрочем, Белинский давно назвал его «духовным циником».

Да ведь и Катков был некогда другом. Правда, для этого сближения Белинскому пришлось в первый же момент знакомства преодолеть — и не без труда — нерасположение к Михаилу Никифоровичу. В ту пору он был еще просто Миша, семнадцатилетний студент-словесник.

Не много времени понадобилось Неистовому, чтобы распознать сущность Каткова и назвать его «Хлестаковым в немецком вкусе». Белинскому претила его приподнятость.

— Он было вошел на ходулях,— заметил Виссарион,— но наша полная презрения холодность заставила его сойти с них.

Да и вообще Белинский считал, что Катков «не вошел в наш круг, а пристал к нему». Очень меткое замечание! Ибо, в сущности, Миша, превратившийся уже в Михаила Никифоровича, мечтал о чиновничьей карьере.

И все же он был в кругу Белинского, и либеральничал, и числился в своих. Временами Виссарион перебарывал свое инстинктивное отвращение к нему, старался быть объективным, хвалил некоторые статьи его и переводы. Но какое-то постижение соглашательской сути Каткова, его внутренней опустошенности,

его беспринципного политического карьеристского устремления всегда, в общем, жило в Белинском.

Резкий вольт направо Катков сделал по возвращении из Берлина. Услышав его речи в духе реакционного шеллингианства, увидев его кошачьи глаза, Белинский, уже материалист и социалист, признался себе и друзьям, что дружба с Катковым — Виссарион назвал ее «мнимая дружба» — кончилась. Неприятно действовало и чисто физическое сходство Каткова с разоблаченным провокатором Милановским. К этому времени Михаил Никифорович преисполнился большим уважением к самому себе, и Белинский говаривал, что он «пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть».

Однако никто не мог предполагать, до какой степени политического падения дойдет некогда такой чистый и восторженный студентик Миша. Уже много лет спустя на одном из Пушкинских праздников Катков дружески потянулся с бокалом к Тургеневу. Но тот демонстративно отвернулся.

Можно удивляться столь коренному изменению человека — от розового романтика до черного мракобеса.

Но Белинский еще в сорок третьем году, наблюдая вернувшегося из Берлина Каткова, сказал:

— Этот человек не изменился, а только стал самим собой.

Но именно ему на склоне лет протягивал руку Василий Петрович Боткин... Да, да, я не оговорился, тот самый Вася Боткин, когда-то один из сердечнейших друзей Виссариона. Долгие годы его ближайший соратник. Либерал. Западник. Почти социалист. Лучше даже сказать так: спохватившийся буржуа.

Василий Петрович много путешествовал по Европе. Но не только. Он был туристом и в философии. То, что для других стало содержанием жизни, то для Василия Петровича было эстетическим времяпрепровождением. Белинский подметил в нем эту дилетантскую черту. Когда Боткин на время увлекся Огюстом Контом, ну, просто совершил partie de plaisir * в позитивизм, Белинский заметил ему:

— Твое новое практическое направление, соединенное с враждой ко всему противоположному, произвело на всех нас равно неприятное впечатление, на меня первого. Но я понял, что ты все-таки остался отчаянным теоретиком, для которого спор о деле гораздо важнее самого дела...

Что ж, значит, у Боткина не было убеждений? Были. Одно из них состояло в том, что он не видел в русском народе стремлений к политическим свободам. Сын и наследник богатого купца, он до смерти боялся революции. Дружба с Белинским, единомыслие с ним перестали его устраивать. За спиной Неистового он нашептывает Краевскому:

— Скажу вам по секрету: я считаю литературное поприще Белинского поконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно и больше такта, и больше знания...

А в редакции «Современника» на ушко о Белинском, в общем, то же:

— Нельзя же из уважения к прошлому принимать все марания окончательно исписавшегося и выдохшегося господина...

Вот так друг! И это было сказано незадолго до появления знаменитого письма Белинского к Гоголю, потрясшего всю Россию.

* Увеселительная прогулка. *(Франц.)*



Даже сдержанного Анненкова поташнивало от этой манеры Боткина, «одновременного,— по словам Павла Васильевича,— плевания и целования, которые он производил на одном и том же лице».

Что, разве раньше этого двуличия не было видно? Было, поскольку еще несколько лет назад Тургенев написал о Боткине подражание известному стихотворению Пушкина «Анчар» и древом яда изобразил Василия Петровича:

К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Один Панаев набежит
И, корчась в муках, дале мчится...

У Герцена тоже для Боткина ботаническое сравнение:

«Боткин, постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе...»

Василий Петрович правел безудержно. Даже освобождение крестьян ему казалось слишком радикальной реформой. Либерал-западник, он становится реакционным монархистом. Теперь это был озлобленный мракобес, обливавший помоями Белинского и Герцена.

Тургенев встретил его в Париже и отшатнулся.

«Из русских,— написал он Анненкову,— почти никого нет, кроме В. П. Боткина, который, entre nous soit dit *, окончательно превратился в безобразно эгоистического, цинического и грубого старика».

Вернувшись в Россию, Боткин принялся строчить доносы на «Современник», который он называл «вонючей лавочкой Некрасова», а его сотрудников — «окружающих нас собаками».

Позорная старость...

* Между нами говоря. *(Франц.)*

— И это писал Кавелин, которого мы так любили и отпускали три года назад с такими надеждами...— сказал Герцен с грустью и негодованием.

О чем, собственно, речь? О пакостной брошюре Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян», где он предупреждал царское правительство, чтобы оно не давало стране конституцию.

Предупреждал... На самом деле присоединялся к царским чиновникам, поддерживал самое правое крыло в правительстве.

— Твоя брошюра,— продолжал Герцен с горечью,— кладет между нами предел, через который один шаг и есть — твое отречение от нее, как от ошибки.

Кавелин не только не отрекся, но через некоторое время приветствовал арест Чернышевского.

Так, так, и тут оговорки нет — это тот самый Кавелин, один из круга Белинского. Ленин отметил впоследствии Кавелина, как «одного из отвратительнейших типов либерального хамства».

— Всякий рано или поздно попадает на свою полочку,— говаривал Белинский.

Все они попали на свою полочку, одни раньше, другие позже,— и Кавелин, и Катков, и Кетчер, и Ефремов, и Неверов, и Боткин. Полочка-то неказистая, замусоренная, а иногда густо попахивающая жандармской сбруей. Одних манило на полочку честолюбивое стремление к служебной карьере, других — эгоистическое желание сытно жить, третьих — страх, четвертых — просто глупость.

Герцен называл их «догнивающими трупами» и говорил, что они, «крестясь и отплевываясь, бежали,

зажимая уши, и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции».

Бежали слева — направо.

В это время Белинский шел справа — налево.

Теперь вы у нас один

> Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородной наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом смотришь, тут же, пред вашими глазами и нагадит вам.
>
> *Гоголь.* «Мертвые души»

Анненков, плотный, успокоительно-солидный, сидел в углу в глубоком удобном кресле. На лице его, волооком, пучеглазом, с несколько выпяченными губами, было, как всегда, выражение грустной значительности. Он ждал, покуда Гоголь прочтет статью Белинского. Гоголь примостился у окна. Он быстро бегал маленькими карими глазами по страницам журнала. Казалось, он водил по строкам не только глазами, но и длинным острым носом, слегка искривленным и имевшим в себе что-то птичье. Сходство с птицей подтверждалось тем, что он склонял голову немного набок. То и дело он нетерпеливо встряхивал головой, отбрасывая белокурые волосы, спадавшие на лицо.

Иногда он вскакивал и шагал по комнате из угла в угол, цепляясь за стулья, увлеченно читая на ходу. Длинные полы темного сюртука взметались над

коричневыми штанами, по-модному узкими, плотно обтягивающими его кривоватые ноги. Дойдя до стены, он резко поворачивался, и сюртук, распахнувшись, показывал зеленый бархатный жилет с красивыми сверкающими пуговицами, как бы бриллиантовыми. Широкий галстук черного бархата завязан шикарно небрежным узлом.

«Как с модной картинки»,— думал Анненков, оглядывая небольшую фигурку Гоголя. Павел Васильевич вспомнил Тургенева, который говорил, что Гоголь, несмотря на все свое щегольство, похож на провинциального учителя.

«А в то же время,— подумал Анненков,— в нем есть что-то необыкновенное, болезненное, умное, беспощадное и очень странное. Да, в нем есть что-то нетипичное, его не включишь ни в какой ряд. Он один такой. Его отлили, а форму разбили...»

Гоголь отложил журнал.

— Прочли?

— Да. Интересно. Лестно для меня. Тонко. Вот послушайте.

Он говорил отрывисто, отсекая слова. Он прочел:

— «Еще создания художника есть тайна для всех, еще он не брал в руки пера, а уже видит их...» — Гоголь прервал себя: — Значит, образы людей.

— Понимаю.

— «...видит их ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, избражденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца...»

Он перевел дыхание. Украина отдавалась в его словах оканьем и легким придыханием «г», которое он как бы выдыхал на манер латинского «h».

— «...также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет их и свяжет между собой...»

Он снова отложил журнал.

— А ведь этот Белинский,— сказал он,— сам художник. Наши критики так не пишут, они жуют какую-то скучную жвачку, они пишут друг для друга, а не для читателя. А этот... О!

Опять взял журнал.

— Слушайте. «Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно».

Гоголь удовлетворенно помотал головой.

— А ведь это совершенно истинно, Павел Васильевич. Как вы думаете?

— По-моему, безусловно,— солидно промурлыкал Анненков.

— А вот послушайте: «чувство глубокой грусти, чувство соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя...» Как он понял меня! Он единственный сумел разглядеть тайную суть моих писаний. Ведь до сих пор меня трактовали как писателя комического, балагура...

— Читайте дальше.

— Ну, тут обо мне такое, что даже неловко.

Анненков взял журнал и сам прочел своим медлительным голосом с благопристойными интонациями:

— «...господин Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо господин Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он

является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным».

Гоголь махнул рукою:

— Ну, уж это он...

Анненков взглянул на него. Даже когда Гоголь говорил серьезно, где-то в уголках его полных губ таилась усмешечка. Но глаза! В них сейчас пылало счастье.

Не все поняли «Ревизора». Добрейший Иван Иванович Лажечников, очень любивший Белинского, восстал против похвал, которые Виссарион расточал этой, как выразился Иван Иванович, «потехе русского театра». Этого Белинский не мог вынести при всей своей любви к Лажечникову. В рецензии на его роман «Ледяной дом», который он похвалил и по справедливости, и по своему доброму к автору отношению, он все же не удержался от сдержанных, но четких возражений. Говоря о двух образах романа (один из них — Тредьяковский), Белинский замечает:

«Оба они были бы прекрасно изображены, если бы автор не сердился на них и не выказывал к ним своего отвращения и презрения... Поэт не судья, а свидетель, и свидетель беспристрастный... Так натуралист не брезгает никакой гадиной, равно дорожит чучелом отвратительной лягушки, как и чучелом миловидного голубя... Загляните в «Ревизора» Гоголя: дивный художник не сердится ни на кого из своих оригиналов, сквозь грубые черты их невежества и лихоимства он умел выказывать и какую-то доброту...»

Люди и с более тонким вкусом, Станкевич например, не сумели оценить «Ревизора»:

««Ревизор» далеко отстал от «Миргорода». Пьесы это не жанр Гоголя...»

Вот как опростоволосился этот несомненно проницательный знаток литературы. Не приняла его возвышенная лирическая душа сатирического блеска «Ревизора». Ну, а Неверов, конечно, вприпрыжку за Станкевичем.

И в Петербурге, в Александринке, на премьере — ужасный провал.

Пьесу спас Неистовый. Он переломил ее судьбу. Он бросился в яростную защиту. Он назвал ее гениальной, а Гоголя — великим мировым художником. Он открыл людям глаза на «Ревизора». Он ввел его в высокую литературу и вернул театру. Гоголь, угнетенный облавой на свою пьесу, ожил, прочтя в статье Белинского «Горе от ума» восторженные страницы о «Ревизоре»:

«Видите ли, с каким искусством,— писал Белинский, подробно разбирая «Ревизора»,— поэт умел завязать эту драматическую интригу в душе человека, с какой поразительной очевидностью умел он представить необходимость ошибки городничего? Если теперь не видите — перечтите комедию или, что еще лучше,— посмотрите ее на сцене; если и тут не увидите, так это уж вина вашего зрения, а мы не берем на себя трудной обязанности научить слепого безошибочно судить о цветах».

Белинского в свою очередь обрадовала радость Гоголя. Всю жизнь Виссарион гордился своим открытием «Ревизора». Он называл это победой критики прямой над критикой уклончивой.

Наконец они познакомились. Это произошло в Петербурге. Гоголь приехал туда вместе со старым знакомым Виссариона — Аксаковым-отцом, «отесенькой», как называли его близкие. Сергей Тимофеевич немедленно зазвал к себе Белинского. А вскоре состоялся обед у князя Одоевского. С Виссарионом

пришел туда и Панаев. И очень кстати. Он оживлял общество. Гоголь был сумрачен, молчалив. Белинский от стеснительности тоже помалкивал. Княгиня замкнулась в высокомерном молчании. Одоевский был рассеян и ничего не замечал. Когда пауза в общей беседе затягивалась до размеров неприличных, Иван Иванович со свойственной ему легкостью в разговоре заводил речь о чем попало.

Внезапно Гоголь обратился к Белинскому, тот вздрогнул от неожиданности:

— Как вам понравился Петербург?

Белинский пробормотал:

— Здесь все умнее, в Москве душевнее.

И с ужасом подумал:

«Боже, как глупо!»

Добавил:

— Невский проспект — чудо, так бы и перенес его, да Неву, да несколько человек в Москву.

У Гоголя на лице язвительная улыбка:

— А мне равно томительно и здесь, и там...

— Понимаю вас,— сказал Белинский.— Хорошо бы зарыться в деревне.

Гоголь как будто удивился:

— А что там? Доберутся до вас и в деревне.

Белинский рассмеялся:

— Вы правы. Там найдет тебя предводитель дворянства, исправник, земский суд, поп, пьяный лакей... Да еще черт дернет подписаться на журналы — будешь видеть, как ерничает Сенковский и как гадит Полевой...

Гоголь сказал совсем тихо:

— Хочу в Италию. В отдалении от России о ней лучше пишется.

«Мертвые души» московская цензура зарезала. Гоголь попросил Белинского — он на две недели приехал в Москву — протолкнуть их через петербургскую цензуру. Тут начались приключения рукописи. Питерская цензура свирепствовала не менее московской.

— Вы, живя в своем Китай-городе,— сказал Виссарион Щепкину,— и любуясь в полноте московского патриотизма архитектурными красотами Василия Блаженного, ничего не знаете, что деется в Питере...

Вместе с рукописью Гоголь послал письма Плетневу, Александре Осиповне Смирновой и князю Одоевскому.

Плетневу он писал:

«...Удар для меня неожиданный: запрещают всю рукопись... Обвинения, все без исключения, были комедия в высшей степени. Как только Голохвастов услышал название «Мертвые души»,— закричал голосом древнего римлянина: — «Нет, этого я никогда не позволю; душа бывает бессмертна... автор вооружается против бессмертия»... Вы должны действовать теперь соединенными силами и доставить рукопись государю. Я об этом пишу и Александре Осиповне Смирновой... Рукопись моя у князя Одоевского»...

Белинский, стало быть, с рукописью «Мертвых душ» — к князю Одоевскому. Тот — к графу Виельгорскому, с тем чтобы он передал ее министру Уварову. На беду (а как потом оказалось, на счастье) Уваров в этот момент охорашивался перед зеркалом, готовясь на придворный бал. До Гоголя ли тут! Уваров швырнул рукопись цензору Никитенке:

— Разберись, милый!

Никитенко, навострив цензорские очи, принялся читать. И случилось чудо: читая «Мертвые души», Никитенко забыл свое служебное положение. Ру-

копись превратила его из цензора в человека. Читая, он смеялся, грустил, негодовал, восхищался. Он вычеркнул только несколько фраз и — это было наиболее болезненным — эпизод о капитане Копейкине.

Белинский тотчас отослал рукопись Гоголю. Потом жаловался Щепкину:

— И тут горе: рукопись отослана на имя Погодина, а Гоголь ее не получил. Я думаю, что Погодин ее украл, чтоб променять на толкучем рынке на старые штаны и юбки: или чтоб, притаив ее до времени, выманить у простодушно обманывающегося насчет сего мошенника — Гоголя еще что-нибудь для своего холопского журнала «Москвитянин».

В конце концов рукопись дошла, и после мучительных цензурных мытарств поэма Гоголя вышла в свет. Действие ее было подобно грому среди безоблачного неба. Ни одна русская книга еще не производила столь потрясающего впечатления.

Герцен назвал ее криком ужаса и стыда, историей болезни, практическим курсом изучения России.

Белинский, прочтя «Мертвые души» еще в рукописи, сказал, что они написаны горечью любящего сердца. В годы торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарностей, пустоцветов и дождевых пузырей, ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности, писал он, появилось творение чисто русское, национальное, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстной, нервической, кровной любовью к плодовитому зерну русской жизни.

Белинский не давал себе труда обращать внимание на тявканье Булгарина из подворотни «Северной пчелы», где он писал о «Мертвых душах»:

«Спрашиваю всех русских людей, всех читателей русского языка и словесности, видели ли они, читали ли что-либо подобное и где тут смысл и язык?»

Можно было оставить в пренебрежении и нелепости князя Вяземского, который писал о Гоголе:

«Он первый «Мертвыми душами» дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и мелко придирчивой».

Но как пренебречь самим автором «Мертвых душ»? Он ведь поспешил отмежеваться от утверждения Белинского, что поэма Гоголя «настоящий портрет русской жизни». Он восклицал:

— Большая часть читателей впала в глубокую ошибку, приняв «Мертвые души» за портрет России.

Он был осторожен. Он не хотел, чтобы его включали в лагерь Белинского. Он хотел сохранить дружбу с писателями-аристократами. Ему не чужд был снобизм. Кроме того, он просто испугался. Но, как всегда, и здесь, в этом опровержении, была лукавинка, было скрытое издевательство над теми, кто ему поверит. Все-таки он написал: «Большая часть читателей впала в ошибку», как бы подчеркивая словами «*большая часть* читателей», что правота на стороне большинства. По существу он не спорил с Белинским: он с ним согласился.

Да, он был очень осторожен. Литература кишела доносами. Князь Вяземский Петр Андреевич, например, написал в «Санкт-Петербургских ведомостях», что «Гоголя хотят поставить главой какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя»...

Когда Гоголю понадобилось встретиться с Белинским, он встретился. Но — тайно. Крупнейший писатель и крупнейший критик эпохи сошлись, как конспираторы, как заговорщики. Не везло Белин-

скому на дружбу с великими. Да какое там на дружбу, просто на встречи, иногда даже на знакомство. Вспомним, что и Пушкин когда-то просил Нащокина передать Белинскому «Современник» — но тайно от московских младо-аристократов. Вспомним насмешливый тон Лермонтова в разговоре с Белинским в Пятигорске. А единственный серьезный их разговор произошел наедине, чуть ли не в тюремной камере. В сущности, Белинский под конец жизни был одинок. Одни ушли слева — направо, другие оказались Белинскому не под рост, мелковаты. Станкевич умер. Бакунин далеко. Герцен далеко. Некрасов? Сказывалась разница в летах. Панаев? Слишком легкомыслен, поверхностен и при всей своей талантливости и передовых взглядах — свистун и верхогляд.

Нет, врете... Гоголя я вам не отдам, сказал Неистовый, мысленно обращаясь к тем, кто увидел в Гоголе защитника реакции. Он пытается отвратить Гоголя от московских мракобесов. Он пишет Гоголю письмо, полное грусти и надежд:

«...судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова — и оставляет в добром здравии Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и в Москве; она украшает «Моквитянин» вашими сочинениями — и лишает их «Отечественные записки»».

Белинский мог бы прибавить к именам талантливых писателей Полежаева, Рылеева. Он мог бы расширить — и, к сожалению, значительно — и список негодяев: Сенковский, Погодин, Шевырев, последние два — друзья Гоголя.

«Вы у нас теперь один»,— пишет он в том же замечательном письме.

Однако, прочтя гоголевский «Рим», Белинский огорчился. Ему пришлось написать, что Гоголь «отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство». Он писал необычно мягко. Ему было больно за Гоголя. Он чувствовал, что в его гений прокрадываются какие-то гибельные искажения. Он тут же пролил в свою критику «Рима» ложку меда, заметив, что там «есть удивительно яркие и верные картинки, но...»

Не мог же он пойти против своей эстетической совести, не мог не написать «но»:

«...есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим и — что всего непостижимее в Гоголе...»

Ну, просто непостижимо! Белинский не мог понять этих потрясающих провалов вкуса:

«...есть фразы, напоминающие своей вычурной изысканностью язык Марлинского».

Откуда сие в Гоголе? Белинский не был бы Белинским, если бы не вскрыл истинной причины этого провала: от политической отсталости, от отсутствия, как выразился Белинский, «богатства современного содержания».

Нисхождение Гоголя начинало бросаться в глаза.

— Как, вы хотите,— сказал Чаадаев о нем,— чтобы писатель, даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтобы голова у него не закружилась? Это просто невозможно...

Гоголь был неприятно поражен отзывом Белинского о «Риме». Он уже считал Белинского своей собственностью, своим присяжным панегиристом. И вдруг эта собственность осмелилась высказать свое недовольство. Гоголь обиделся и пожаловался на

Белинского, да кому! — Шевыреву, жесточайшему ненавистнику Виссариона, его врагу номер один!

Но Гоголь уже начал скорбный путь навстречу своим религиозно-мистическим заблуждениям, он уже спешил в строй защитников самодержавно-бюрократической николаевской монархии.

Губернаторша

...Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь!

Белинский.
«Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя».

К весне театральный сезон в Москве закончился, и Михаил Семенович Щепкин стал готовиться к гастрольной поездке в провинцию. Уже пришли каретники, ладили во дворе тарантас.

Ах, этот тарантас! Он снился Виссариону — так не терпелось ему поехать. Еще зимой было уговорено: Щепкин берет Белинского с собой.

— Сделать верст тысячи четыре на юг, — восклицал Виссарион, — дорогой спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая, а гурий не надо — черт с ними!

Иные из друзей опасались, под силу ли Белинскому тяготы длительного путешествия. Сердясь, Неистовый отвечал:

— Еду не только за здоровьем, но и за жизнью. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как Михаил Семенович,— да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее.

А тут и деньги подошли. Стало возможным семью отправить на лето в Ревель на взморье.

В знаменитом этом тарантасе Белинский со Щепкиным и выехали светлым солнечным утром.

Кетчер, конечно, не пропустил случая устроить шумные проводы. Экипажи провожающих — там были Герцен, супруги Панаевы, Огарев, картавый остроумец Евгений Корш, Грановский, Алексей Галахов, красавец Сатин, юный Костя Барсов, на которого Кетчер изливал желчь своего темперамента, изрядно разбавленную шампанским,— почетным эскортом окружили тарантас, то обгоняя его, то плетясь рядом.

Хлопотун Кетчер с полдороги помчался вперед и на первой станции поджидал компанию. Разостлал скатерть на траве, разложил пироги, ветчину, жаркое... Белинский, как всегда на проводах, томился. А судьба его такая, что куда бы он ни ехал, непременно за ним увязывались провожающие. И ничего не поделаешь, ведь это из любви. Сам-то Виссарион не пил и вскоре оказался в другом душевном ключе, нежели остальные. Да и вообще он не жаловал пьяных, за исключением, быть может, Мочалова, гению которого прощал все.

Дорога до Калуги утомительная, вся в рытвинах, трясло, как на море в качку. К тому же дождь лил, словно на дворе октябрь. Крыша тарантаса прохудилась, путешественников стало заливать, они продрогли.

Но вот наконец и город.

Остановились в номерах. Стены грязные, со следами клопов. Половой принес нечищенный самовар и стал протирать стаканы грязной салфеткой. Все это, впрочем, не омрачило Белинскому радостно-возбужденного настроения.

После спектакля Щепкина пригласили на ужин к губернатору Смирнову. Разумеется, и Белинского с ним. Он весело вскричал:

— Я — хвост кометы!

Щепкин ему с упреком:

— Зачем ты себя принижаешь!

— Ладно, ладно, все равно пойду. Там у меня приманка.

Приманка — прославленная красавица и умница губернаторша Александра Осиповна Россет-Смирнова, фрейлина двора, знаменитая литературная дама, друг Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Жуковского, Вяземского.

В первые минуты знакомства совсем не поразила она Белинского. Черты лица ее показались мелкими. Да еще эта башня из черных волос с вдетой в них розой. Но стоило Смирновой разговориться, и она стала необыкновенно привлекательной. Прелесть ее лица открылась в его живости. Всегда оно в движении, полно жизни, энергии, великодушия.

Виссарион знал, что ей уже под сорок. В ту пору дамы в этом возрасте переходили на положение пожилых. Александра Осиповна выглядела на добрый десяток лет моложе своих тридцати семи. И не в том дело, что кожа ее сохранила девичью свежесть, стан — стройность, что из пены кружев нежно мерцали низко оголенные покатые плечи. И это, конечно, тоже. Но что молодило Смирнову более всего — именно вот эта вот естественная и непринужденная

оживленность всего ее существа, ее быстрая и горячая сообщительность.

— Вы женаты?

— Да. Имею дочь.

— Вам трудно... Здоровье ваше, я слыхала, не из крепких. Вы молитесь?

— Я атеист.

— Мне жаль вас...

Она молча, слегка склонив набок голову, и вправду с сожалением смотрела на Белинского. А он не понял, о чем, собственно, она сокрушается — о его нездоровье или о его безбожии.

Он отвечал затрудненно, робел, сердился на себя за эту робость, боялся, что выглядит смешным. Он не знал, что эти его смущение и робость, сквозь которые вдруг ослепительно вспыхивали чистота и отвага, именно этот удивительный душевный сплав придавал ему обаяние неотразимое.

Иногда он не слушал, что она говорит. Он смотрел на нее и восхищался. «Свет не убил в ней,— думал он,— ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез»...

— Я читала, что̀ вы написали о Гоголе.

Он встрепенулся:

— Я горжусь тем, что первый поднял «Ревизора».

— Как вы можете говорить, что вы подняли Гоголя! Ведь вы его браните за прелестную итальянскую повесть!

— Вы имеете в виду «Рим»? Что ж, там есть и много хорошего, есть удивительно яркие и верные картины действительности. Но эти напыщенные фразы!..

— Ах, оставьте! Это придирки. Нет, нет, не возражайте. Я знаю, вы хотели бранить эту повесть за направление, но убоялись цензуры.

— Направление этой повести в самом деле...

Он удержался от резкости и закончил:

— Неприглядное.

— Почему же?

— Да хотя бы потому, что она дает возмутительную характеристику французскому народу. Вечный покой уснувшего Рима он противопоставляет бурлящему новыми идеями Парижу. Я преклоняюсь перед Гоголем, но, согласитесь, его сближение с журналом «Москвитянин» явно пошло ему во вред.

— Не нахожу. Сейчас он готовит новую книгу. И это будет поразительная книга. Может быть, она превзойдет все им написанное. По скромности своей он пишет... Да я вам прочту.

Она вынула из ящика китайского столика резную шкатулку. Отомкнула ее ключиком и извлекла объемистую пачку писем. Развернула одно из них.

— Вот что он написал мне из Франкфурта: «...я делал насилие самому себе возвести дух в потребное для творения состояние... чтобы... возвратились бы душе животворные минуты творить и обратить в слово творимое... Это будет небольшое произведение и не шумное по названию...»

Она подняла глаза на Виссариона. Но по его лицу нельзя было догадаться, что он об этом думает. Он сказал:

— Да, я слышал от разных лиц об этом замысле Гоголя. Позвольте узнать, давно ли письмо это написано?

Она перевернула страницу:

— Второго апреля сорок пятого года. Но это не единственное упоминание о будущей книге в письмах его ко мне.

Она выбрала из пачки другое письмо:

— Вот, например, из Праги.

— Какое большое! А не позволите ли мне самому глазами его прочесть?

Она снова посмотрела на Виссариона и смелым жестом протянула ему письмо.

— Что ж, читайте. По-моему, это готовые страницы будущей книги.

Полистав письмо, Белинский сказал:

— А ведь мне уже случалось слышать об этом письме.

Она удивилась:

— Каким образом?

— А таким, что Петр Александрович Плетнев получил от Гоголя копию этого письма. На нем уж и заголовок стоял: «Что такое губернаторша». Не удивляйтесь. От людей, посещающих Николая Михайловича Языкова знаю, что Гоголь писал ему из Рима — это были рассуждения касательно поэзии — и просил сберечь его письма, ибо из них может составиться книга, по словам Гоголя, «полезная страждущим на разных поприщах». Не правда ли, странный язык усвоил себе в последнее время Николай Васильевич? От Плетнева же сведения, что Гоголь высылает ему из Карлсбада рукопись этой новой книги, составленной из таких вот назидательных писем.

Александра Осиповна пожала плечами. Уж не огорчена ли она тем, подумалось Виссариону, что не ее одну, оказывается, избрал Гоголь в восприемники своих мыслей?

— Не знаю о письмах к другим лицам,— сказала она,— но в этом письме...

Она взяла письмо из рук Белинского.

— ...он пишет мне об обязанностях губернаторши влиять на жен чиновников, бороться с их расточительностью, ибо отсюда — взятки, лихоимство...

— Я знаю... Гоголь для некоторых дам является чем-то вроде духовника.

Он думал, что она обидится. Нимало! Она подхватила:

— Да, да! Для Аннет Виельгорской, например.

Виссарион решился:

— А для вас?

— Для меня? Нет, тут дело проще. Я сама сказала ему: «Послушайте, вы влюблены в меня».

— Так и сказали? И он?

Виссарион почувствовал, что рядом кто-то стоит, взглянул и пожалел о сказанном. Это был муж Смирновой, высокий, белокурый, с вяло-иронической усмешкой на узком лице в очках. Никакой в нем губернаторской сановности, похож скорее на профессора из немцев, нестарого, но уже засушенного. У Белинского в голове вертелась эпиграмма на него остроумца Сергея Соболевского, ходившая по рукам в Москве и Питере. Он никак не мог вспомнить ее целиком, вначале там был мадригал к Смирновой...

Нисколько не смутившись соседством мужа, Александра Осиповна продолжала:

— А Гоголь после этого убежал и три дня не показывался.

Белинский подумал: «Она любит очаровывать, и ей это легко дается». Он чувствовал, что сам поддается ее чарам.

Вдруг заговорил муж своим несколько гнусавым голосом:

— Ты помнишь, мой друг, Гоголь сказал тебе: «Вы перл всех русских женщин, каких мне случалось знать».

Губернатор произнес это с некоторой гордостью. По-видимому, это признание знаменитого писателя считалось одним из драгоценных украшений дома

Смирновых, вроде картины Тинторетто, висевшей тут же на стене в дорогой золоченой раме.

Белинский удивился простодушно, по-детски, как с ним это не раз случалось:

— Так сказал Гоголь? Этот человек монашеской жизни?

Наконец всплыла в голове первая строфа из эпиграммы:

Не за пышные плечи,
Не за черный ваш глаз,
А за умные речи
Обожаю я вас...

— Друг мой,— снова заговорил муж,— Гоголь сказал, что любит тебя во Христе.

Она захохотала:

— Не знаю, большой ли это комплимент для женщины, если ей признаются, что любят ее во Христе. Как вы думаете, Белинский?

Ему вспомнилось дальше:

По глазам вы плутовка,
По душе вы — дитя,
Мне влюбляться будь ловко,
В вас влюбился бы я...

Он оглянулся на губернатора. Его не было. Неслышно ступая в мягких сапогах, Смирнов отошел к окну, там вокруг Щепкина собралась кучка гостей, он что-то им рассказывал. Слышны были взрывы хохота. Глядя в узкую спину Смирнова, тесно обтянутую мундиром, сразу вспомнил Виссарион последнюю строфу:

Что сказать мне о муже?
Похвалить, так солжешь;
А глупее и хуже
С фонарем не найдешь.

Смирнова с улыбкой смотрела на Белинского. Он почувствовал себя свободно, раскрепостился наконец. Сказал с досадой, даже грубовато:

— Знаю, что вы хотите сказать мне.

— Что?

— То же, что и Гоголю: что я влюблен в вас.

— И что же вы ответите?

Он посмотрел на нее смело:

— Да, влюблен.

— Мне нравится ваша откровенность.

— Влюблен,— повторил Белинский.— Так и отпишу жене: влюбился. Думаю, что и она за глаза по моим рассказам влюбится в вас.

Кажется, эта перспектива не очень обрадовала Смирнову. Она подозвала Ивана Аксакова. Он нехотя подошел. Он сторонился Виссариона с тех пор, как идейные разногласия отдалили Белинского от Аксаковых. Из всей их семьи только старик Сергей Тимофеевич остался дружен с Неистовым. Впрочем, Ивана против воли тянуло к Белинскому, к его открытой щедрой душе. Да и Виссариону был Иван симпатичен, и он отделял его от Хомякова с Шевыревым, славянофильство которых сильно попахивало тщеславием и корыстным прислуживанием властям. Здесь в Калуге Иван служил в уголовной палате и в доме губернатора был своим человеком.

— Вот Иван Сергеевич предостерегает меня, чтобы я была осторожнее. Здесь такие сплетники. Но я не институтская девочка и ни для кого на свете не хочу стеснять свою свободу. Пусть про меня говорят что хотят, я выше этого. Да вы что не смотрите на меня, Иван Сергеевич?

— Боюсь — сгорю. Ваши глаза — огонь.

Она засмеялась:

— А Пушкин сказал о них: «взгляд холодный».

У Белинского вырвалось:

— Не может быть!

Покраснел, пробормотал:

— Простите...

Она словно и не заметила его смущения. Выдвинула ящик китайского столика, достала оттуда альбом в парчовом переплете:

— Читайте.

Белинский прочел на первой странице строки, начертанные рукой Пушкина:

Исторические записки А. О. С.***.

— Пушкин побуждал меня писать мои мемории. Но смотрите дальше.

Дальше в виде эпиграфа — той же рукой:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный...

Она захлопнула альбом:

— Выходит, что я хвастаюсь.

— Неужто вы ожидали,— сказал Иван,— что он уподобит ваши глаза звездам? Такая банальность недостойна Пушкина, так мог бы выразиться Бенедиктов.

— Или Вяземский,— добавил Белинский.

И продекламировал:

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном бледной полночи?

Она отмахнулась веером, сказала недовольно:

— Поразительно, до чего этот неглупый человек

безвкусен в поэзии. Но вернемся к Гоголю. Вы не понимаете его. Ведь он хочет добра. Вы не любите Гоголя. Но будьте к нему справедливы, даже не любя.

Белинский насупился. Он чувствовал, что в нем закипает раздражение. Иван Аксаков смотрел на него настороженно.

— Я люблю Гоголя,— сказал Белинский тихо,— но всегда следую старой латинской пословице: Платон мне друг, но истина — больший. Истина так же есть предмет и цель искусства, как и философии. Иначе чем бы искусство было выше игры в карты?

— Хорошо, пусть так,— сказала Смирнова, блеснув глазами.— Ну, а если Платон — человек большой, а истина — сморчок. Как тогда?

«Умна,— подумал Виссарион с восхищением,— чертовски умна».

Она вынула листок из пачки писем:

— А вот другое письмо Гоголя. Он мне пишет из Неаполя. Хотите, прочту?

И, не дожидаясь ответа, начала:

«Как мне приятно было получить ваши строчки, моя добрая Александра Осиповна...» Ну, и так далее... Вот: «Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которых напичкали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами...»

Она с торжеством посмотрела на Белинского. Он пожал плечами.

— Что, не согласны?

— Слишком общо. Каких, собственно, французских писателей имеет в виду Николай Васильевич? Они ведь весьма разные.

— Конечно, Жорж Санд! Ведь перед ней расшибают лбы наши отечественные идолопоклонники в ослеплении всем иностранным.

Иван Аксаков одобрительно кивнул головой.

— Санд, к вашему сведению,— сухо сказал Белинский,— есть без сомнения первый поэт и первый романист нашего времени.

Она энергично замотала головой. Высокая прическа качнулась, и Виссарион с опасением покосился на нее: вдруг рассыплется, рухнет?

— И слышать более о Санд не хочу,— сказала Смирнова.— Но вы не дочитали этого большого письма.

— Я прочел достаточно. В этом письме Гоголь призывает жен чиновников не щеголять нарядами, и тогда мужья перестанут брать взятки.

И, не меняя тона, Белинский продолжал:

— Это хорошо, а еще будет лучше, если жены чиновников оставят дурную привычку поутру и вечером пить чай или кофе, а днем обедать...

Она пыталась прервать его, но он говорил, все повышая голос:

— ...а заодно бросить и другую вредную привычку — покрывать свою наготу чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой мешковины...

Вряд ли Александра Осиповна восстала по призыву Гоголя против мотовства и лихоимства чиновников канцелярии ее мужа. Да зачем, собственно, ей было так далеко ходить? Не проще ли поинтересоваться, из каких таких средств окупались ее наряды, выписанные из Парижа, и бриллианты, украшавшие ее мраморные плечи? Некоторый свет на это прольет вскоре статья в герценовском «Колоколе» под названием: «Воровство-мошенничество чиновника Арсеньева с участием гражданского губернатора Смирнова»...

Она встала. Литературная богиня вдруг исчезла, теперь перед Белинским стояла светская дама, смотревшая на него с холодной благожелательностью хозяйки аристократического дома.

Он тоже поднялся, поцеловал ей руку, молвил:

— Могу только сказать словами Лермонтова из стихотворения, обращенного к вам, Александра Осиповна: «Все это было бы смешно...»

Она закончила:

«...когда бы не было так грустно».

Она одарила его на прощанье улыбкой любезной, чуть высокомерной.

Третья столица

> Одесса лучше всех губернских городов, это — решительно третья столица России, очаровательный город...
>
> *Белинский*

Через Воронеж и Харьков, засим через Екатеринослав и далее через Херсон и Николаев путешественники выехали на дорогу к Одессе. Долго ехали древним чумацким шляхом по колеям, глубоко вдавленным в жирный чернозем. Стояла жара, все вокруг побурело, изредка задувал ветерок, по степи катились шарообразные сквозные перекати-поле, цепляясь за иссохший бурьян.

Небо без единого облачка казалось выстиранным. Воздух простеган зноем. Мнилось, надо продираться сквозь гигантскую, горячо натопленную печь.

Щепкин задыхался. Тучное тело его почти без шеи обливалось потом, мало не плавилось. В конце

концов он вылез наружу, на облучок, и сидел там, отфыркиваясь, обвевая себя широкой соломенной шляпой.

Белинский менее подвержен жаре. Он пробовал читать, да не читалось. Опустил на колени «Терезу Дунойе» Эжена Сю и уставился в окошко на бесконечную ровную степь. Постепенно он поддавался ее молчаливому очарованию. Полно! Такому ли уж молчаливому? Степь шуршала, звенела, клекотала... Из травы вспархивали куропатки. Вон вдали парит орел, распластав величественно крылья над прозрачной опорой воздуха. Пролетела стайка ворон, что-то бормоча картаво... А это мелькнул не грач ли? Как кристаллики, мерцают под солнцем слюдяные крылышки стрекоз.

Виссариону показалось, что пробежал заяц, а может быть, это метнулась тень лошадиной ноги. Среди выутюженной травянистой глади вдруг выскочил из земли столбик. Внезапно он шарахнулся и поскакал. Белинский рассмеялся:

— Суслик...

Ближе к вечеру, когда все полиловело, застрекотали невидимые сверчки.

Обогнули курган. На склоне его, словно задумавшись о своей каменной жизни, стояла скифская баба с едва намеченным носом и глазами, с чудовищными грудями и животом, на котором явственно завивался пупок.

Заночевали в дороге, сон сморил сразу, даже не поужинали, и у Щепкина ночью — голодные кошмары.

— Представь себе,— говорил он утром,— мне подали во сне невообразимый ужин: на закуску — перенегреты, засим абебетическую колбасу, а на десерт — пирожки с затянухой... Ничего, вкусно...

— Вы же все это выдумываете,— хохотал Белинский.

Монотонность езды усыпляла Виссариона. Степь источала скуку. Но — благодетельную. Он погрузился в нее по макушку. Скука нежила его, как теплая ванна, он отдыхал.

Словно что-то вспомнив, он вынул из кармана тетрадку и принялся писать. Щепкин покосился на него и молвил ворчливо:

— А кто клялся, что работать в дороге не будет?

— Какая ж это работа, просто заметки для памяти, путевой дневник, что ли...

Щепкин покачал головой:

— Дневник в наши дни вести небезопасно. Он склоняет к вольным откровенностям. А вдруг — донос, обыск... Нет, нынче не время для таких шалостей.

Белинский беспечно махнул рукой:

— Семь бед — один ответ. А хотите, прочту?

И стал читать:

«Был я недавно в Москве — преглупый город!.. Там все гении и нет людей, все идеалисты и нет к чему-нибудь годных деятелей... Через несколько лет будем ездить в Москву по железной. В Питере об этом все толкуют — ибо в нем всех это интересует; в Москве никто не говорит, ибо железная дорога — факт, а не фраза; если ж говорят — то весьма глупо. Москва гниет в патриархальности, пиэтизме и азиатчине. Там мысль — грех, а предание — спасение. Там все Шевыревы, исключение остается слишком за немногими людьми».

Щепкин рассмеялся. Потом стал серьезным:

— Сурово.

Вздохнул, добавил:

— Вот только здесь, в безлюдной степи, и слушать такое...

Хороша степь, да в меру. Однообразие ее начинало угнетать.

— Повторение пройденного...— ворчал Виссарион, отваливаясь от окошка.

И вдруг вдали что-то вспыхнуло, заголубело, словно небо осело, продавило горизонт. Но голубизна эта гуще, мясистее, нежели небо, вдается в синеву. Виссарион поначалу не понял, вглядывался, щурясь. Уж не мираж ли? А Щепкин молвил равнодушно:

— Вот и море.

— Одесса! — радостно оживился Белинский.

— Ну, до Одессы еще добрых тридцать верст.

Версты эти, впрочем, пролетели довольно быстро. Стал виден маяк, и вот тарантас в клубах пыли тарахтит по Херсонской улице. Белинскому не сидится, он кидается от одного окошка к другому.

— Оригинальный город! — восклицает он.— Ни на что не похож. Как я рад, что я здесь.

Ему казалось, что он чувствует запах моря, что в воздухе — рокот прибоя, а на губах — соль...

Окна в гостинице смотрят на море, а от немощеной улицы, от бульвара летит мерзейшая пыль, в горле першит, начинается кашель, пришлось опустить жалюзи. Михаил Семенович удалился по своим театральным делам, а Белинский вышел погулять. Море манило его. Он шел вдоль бульвара, где еще виднелись развалины турецких бастионов, миновал импозантный дворец царской любовницы княгини Нарышкиной. Долго стоял вверху гигантской лестницы подле изящного памятника герцогу Ришелье. Стал считать ступени, но после полутораста бросил.

Далеко внизу по узкой улочке вдоль моря быки влачили фургон с бочками, видать винными.

В порту оживление необычайное, суда толпятся у причалов и на рейде. Одни разгружаются, другие берут грузы прямо в море со шлюпок. И все это отсюда сверху — и быки, и тюки овечьей шерсти, и глыбы мрамора, и самые люди — кажется миниатюрным, ненастоящим; великий художник — пространство — отточил их очертания, сделал их игрушечными, елочными.

Но Белинский не только любовался. Зрелище это интересовало его и стороной экономической. Он хотел знать, каков ввоз, и как он соответствует вывозу, и как это влияет на благосостояние людей, и как растут капиталы, и каково живется простому народу. Ему казалось, что здесь, в Одессе, эти основания жизни выражены нагляднее, обнаженнее, чем в Петербурге, не говоря уже о Москве с ее застылым усадебным бытом. Он дал себе слово узнать у местных старожилов все подробнее, с цифрами, обязательно с цифрами!

На другом краю бульвара стоял губернаторский дворец. Белинский подумал: «А ведь и здесь губернаторша дама литературная...» Он что-то смутно слышал — не от Нащокина ли? — о сложных отношениях между Пушкиным и Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой. «Любопытно бы взглянуть... Да ведь нет их сейчас. Воронцов нынче наместником на Кавказе...»

Под дворцом — обрыв крутой, лесистый, ниспадающий до самого моря. Оно сегодня неспокойное, ревет, почернело, оправдывает свою кличку. Но его так много, и небо, опрокинутое над ним, так велико, что от этих необъятных пространств исходит ощущение свободы и величия. Белинскому не хотелось уходить, тут дышится так вольно...

— Все улажено,— сказал Михаил Семенович, войдя в номер.— Открываем водевилями.

— Какими? — слабым голосом отозвался Белинский.

Он лежал на кровати, отдыхал после прогулки.

— «Жена, каких много, муж, каких мало», «Стряпчий под столом» и...

Белинский поднялся и сказал в сердцах:

— Нельзя открывать гастроли этакой чепухой. Почему «Ревизора» не даете?

— Дадим завтра, и то только одно второе действие. Играть некому, Жураховский набрал в труппу бог знает кого. Ролей не знают, хватают чужие реплики...

Щепкин махнул рукой.

Белинский нахмурился:

— Писать обо всем этом буду.

Взял шапку:

— Идемте, Михаил Семенович. Гулять по Одессе — истинное наслаждение.

— Что-то ты нынче очень бледен, Виссарион Григорьевич.

— Это ничего. Мне хорошо. Идемте. Город необыкновенный!

— Нет, милый, никуда ты не пойдешь. Изволь ложиться в постель и отдыхать. Я тебе молока принес. Ишь, какой гуляка нашелся!

Виссарион не слушал, рвался в город. С момента выезда из Москвы им владело юношеское оживление. Да и вообще-то оно с возрастом не умирало в Белинском. А сейчас усилилось благодаря попечениям Щепкина, чисто отцовским. Михаил Семенович поистине смотрел за ним, как за ребенком. Своими заботами он как бы ввергал Виссариона в детство. Всплыло не истраченное в свое время ощущение сыновности. Оно

было для Виссариона ново и отрадно. В сущности, он ведь рос в безотцовщине.

Так он и признался Щепкину. Разговор у них зашел о Тимоше Всегдаеве, о лености его мысли, о вялой его покорности.

— А ведь малый славный,— сказал Щепкин,— да видно, вырос в среде, которая не воспитала в нем характера.

— Ах, уж мне эта пресловутая среда! — отмахнулся Белинский.— Все валят на среду да на воспитание. А ведь дело вовсе не в этом, а в том, что у Тимофея в жилах не кровь, а щи, притом — кислые. Вот в этом все дело, а не в среде...

Он вдруг замолчал. Он вспомнил о Григории Белынском, отце своем. Вот уж у кого не щи в жилах! Нет,— угрюмое буйство, почти безумие... Да только ли у него! А свирепый изувер — отец Некрасова! А отец Достоевского! Сам-то Федор молчит, а от людей слышно, что старик Достоевский — жестокий и сладострастный самодур и что даже якобы убит своими же крепостными... Так что ж это — среда?

Щепкин покачал головой:

— Мой-то был ко мне добёр.

— Наверно, в крестьянстве иначе.

— Какой же я крестьянин! Я из тех же, что и ты, Белинский, из кутейников. Не знал разве? Как же! Прадед мой, как и твой дед, был священником: отец Иоанн. Служил где-то в Калужской епархии. Это впоследствии несчастным случаем сына его, стало быть моего деда, затолкали силой в крепостные.

— Беззаконие!

— Ишь, чего захотел — законности! Она у нас только писаная, для вывески. А втихую — произвол.

Виссарион положил руку на руку Щепкина и сказал:



— Твердо знаю то, что и я, и Некрасов, и Достоевский выросли на почве мятежа против своих отцов. Какая же тут, к черту, наследственность? А впрочем, если хотите, и вправду наследственность, только вывернутая наизнанку...

Он замолчал. Над ним склонилось лунообразное, полное нежности лицо Щепкина...

Ему захотелось назвать Михаила Семеновича так, как Костя и Ваня Аксаковы называют своего отца: «отесенька». Но он постеснялся. Он только сказал смущенно:

— Вы смотрите за мной, как дядька за недорослем...

Все же Виссарион много гулял. Вставал рано, в семь часов. Щепкин — на репетицию, Белинский — на прогулку, пока свежо, пока жара не донимает, до полудня, стало быть, о наступлении коего аккуратно извещает пушка, совсем как в Питере.

Легко одетый — белые панталоны, белый же пыльник, прюнелевые сапоги, соломенная шляпа,— шел он на Екатерининскую улицу. Там вели раскопки старого турецкого кладбища. Улица обрывалась резко, переходила сразу в степь. Виссарион стоял на ее краю и дышал с наслаждением. Пряно пахла полынь, спрыснутая росой.

А когда он шел обратно, из двора вышел толстый арнаут в красной феске и бархатной безрукавке с золотыми блестками, перепоясанный по большому животу кожаным кушаком с серебряными насечками. Белинский залюбовался этой живописной фигурой. В руках у арнаута объемистый горшок. Важно прошествовав до канавы для стока воды, он выплеснул туда из горшка. Тяжелая вонь ударила Белинскому

в нос. Он бросился прочь, прижав к лицу платок. Теперь он держался подалее от уличных канав, оттуда несло нечистотами.

Показались водовозы. Они сидели верхом на бочках и выкрикивали певучими голосами: «Воды до мытья! Воды до еды! Воды! Воды! Бегите сюды!» Из дворов выбегали люди с ведрами. Белинский тотчас заинтересовался: сколько стоит вода?

— Пара ведер пятак, господин.

Он вспомнил, что вчера в гостинице с него за бутылку воды (противно теплой, в Одессе нет льда) содрали целковый.

На перекрестке, осторожно шагая, он перешел мостки, проложенные над канавами, то и дело прикладывая к носу платок. Странный город! Диковинное смешение — мраморные колонны, нарядные кофейни, итальянская речь на улицах, элегантная толпа европейского облика — и дикая грязь, зловоние, варварское неустройство, азиатчина...

Иногда Белинского сопровождал Александр Иванович Соколов. Виссарион быстро с ним сошелся и, по своему обыкновению, тотчас перешел на «ты». Да и трудно было противиться дружественному натиску этого добродушного услужливого человека.

Александр Иванович — начальник городской больницы. Но, кажется, ею он занимается менее всего, а более всего театром. И вообще, что называется, душа общества, остряк, кутила, застольный оратор, говорун, завсегдатай литературных вечеров, дружеских пирушек, театральных премьер и даже ученых заседаний.

У Белинского к нему рекомендательное письмо от Герцена, товарища Соколова по Московскому университету. В первые минуты знакомства Соколов
 самым видом своим отвратил от себя Белинского.

Некогда тоненький студентик, к тридцати годам он окончательно сложился в сутуловатого толстяка. Шея исчезла, голова все глубже уходит в плечи,— уж не утонет ли она в этом тучном теле, подобном говяжьей туше вроде тех, кои мясники вывешивают в лавках на стальных крючках?

Однако в этом массиве жира жила нежная, восторженная душа.

Он сразу потянул Белинского в узкий полутемный Красный переулок, названный так потому, что там продавался красный товар, притом не только в лавках торговых рядов, а попросту на улице со столов. В Одессе — вольная гавань, порто-франко. Ввозимые из-за границы товары не облагаются пошлиной. Чего тут только нет! Лионские шелка, венецианское стекло с вживленным в него золотом, шотландские пледы, женевские часы, вина Португалии, Венгрии, Франции, богемский хрусталь, последние причуды парижской моды и даже — во дворах, конечно,— венские коляски.

Белинский никогда не был привержен к вещам. Однако и он поддался магии приобретательства. Освобожденные от пошлины товары соблазняли своей дешевизной. Виссарион сшил себе сюртук и пальто, купил полторы дюжины рубашек голландского полотна, дюжину носовых платков фуляровых да еще дюжину батистовых для жены и свояченицы. А в письме к жене оправдывался:

«...В Питере дюжина платков (большие, прочные, плотные) стоили бы рублей 30, если не больше... Сегодня принесут мне от портного суконный сюртук и триковый сюртук-пальто. Сукно по 25 р. аршин, и Михаил Семенович говорит, что в Петербурге такое

сукно стоит 35 р.; а весь сюртук с прикладом и работою стоит 125 руб. ассигн., а сюртук-пальто 80... Ведь это не мотовство...»

Себе, стало быть, подумал он, сюртук да пальто, а жене и сестре ее платочки... Жидковат гостинец! Да что поделаешь! Здесь-то, в самом городе, все дешево. Да ведь самый город обведен таможенным кругом.

И он приписал в письме:

«Вы, пожалуй, за этот гостинец вместо спасибо еще разбраните меня. Но что ж было делать? Материал на платье в Одессе купить нельзя: таможня пропускает только шитое и надеванное (почему платки ваши будут обрублены и сполоснуты)...»

Из Красного переулка подались по соседству на Греческий базар. Здесь поражало обилие овощей, фруктов. Огурцы, помидоры, абрикосы, вишни, черешни лежали грудами просто под деревьями.

— А ведь абрикосам еще не время,— удивился Белинский.

— Привозные, из Константинополя,— отвечал Соколов, скучая.

Он не понимал интереса Белинского к вещественной прозе жизни. А тот все выспрашивал и записывал в свою книжечку: «Фунт простого хлеба — 1 копейка. Фунт мяса — $1^1/_2$ коп. Кура или пара цыплят — 20 коп.»...

Добрейший Александр Иванович недоумевал. Он полагал, что сфера Белинского — область духа. Сам-то Соколов никогда не покидал высот искусства. В конце концов он не выдержал и спросил:

— Прости великодушно, Виссарион Григорьевич, для чего тебе знать все это?

— Для познания жизни,— объяснил Виссарион.— Никто из нашего круга не вникает в экономическую сторону, за исключением разве Боткина.

— Ну, он просто по роду деятельности своей, как совладелец отцовской фирмы.

— Ну, а я,— засмеялся Белинский,— бескорыстно. Пойми, дорогой Александр Иванович, промышленность, торговля, хлебопашество, оборот товаров, морские сообщения, железные дороги, все это — материальные основы общества. Искусство, которое мы с тобой так любим, тоже не свободно от их влияния.

Соколов качал головой, притворно соглашался, но в душе считал это новым чудачеством увлекающейся натуры Белинского.

Не одни только фрукты, да живность, да сласти на Греческом базаре. А вообразите, и книги. Лежат они прямо на мостовой, тут и Вальтер Скотт, и «Азбуки-веди», и Поль де Кок, и «Часослов», и какие-то греческие фолианты. Одну книгу Виссарион, к удивлению Соколова, схватил тотчас: «Чаромутие, или священный язык богов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем, с прибавлением обращенной им же в прямую истоть Чаромути и черной истоти языков русского и других славянских и части латинского».

Белинский обожал такие чудацкие книги. Полистав ее, он с восторгом прочел Соколову:

«Господь смирил гордость человека смешением языков. Сие смешение есть чаромутие».

У Белинского бывало так, что он привязывался к какому-нибудь слову и долго носился с ним. Так случилось и с «чаромутием», которым он стал обозначать всякую чушь, нелепицу, белиберду.

Завернули они с Соколовым в книготорговлю Н. А. Клочкова. Вот где книжное богатство! Питер-

скому Смирдину кой в чем не уступит, право! А кой в чем и превзойдет. Сыщи-ка там, к примеру, «Войнаровского» Рылеева! Запрещенная поэма казненного декабриста! А здесь она преспокойно лежит на видном месте. Правда, не продается, а только — на прочет в библиотечном порядке. Да залог больно велик — пятьдесят рублей, знают в Одессе цену книгам.

— Да и вообще у нас в Одессе дышится свободнее,— сказал Соколов не без самодовольства.— А что бы тебе, Белинский, да Герцену, да Огареву перебраться к нам сюда? Затеем журнал да заживем припеваючи. Ведь ты сам говорил, что южный климат оживит тебя, а в здоровом состоянии и работается лучше.

Белинский поморщился и ничего не ответил.

«Славный малый,— подумал он,— но впал в провинциальное прекраснодушие».

А «славный малый» продолжал настаивать, не замечая признаков гневного нетерпения, закипавшего в Неистовом. Размахивая короткими ручками, Соколов расхваливал уже не только климат, но и какие-то «либеральные послабления», якобы процветающие в Одессе. Белинский, хмурясь, глянул на него, и быть бы грозе, если бы в эту минуту внимание его не было отвлечено зрелищем, разыгравшимся посреди улицы. Команда арестантов в своих позорных полосатых робах разгребала с мостовой тяжелую глинистую кашеобразную грязь и наваливала ее в телеги. Какой-то прохожий пытался сунуть арестанту краюху хлеба, но конвойный отогнал его.

— Либеральные послабления,— пробормотал Виссарион.

— Так ведь это каторжники,— сказал Соколов, лучезарно улыбаясь.— Какие-то умные головы придумали, видишь ли, мостить улицы одесским камнем-

ракушечником. А он оказался слишком мягким и весь превратился в глину. Вот ее и счищают...

Раздался свисток и команда: «Отдыхай!» Арестанты положили лопаты и сели кто куда, плюхались прямо в глину. Один, впрочем, немолодой, остриженный, как все они, наголо, подошел к тротуару и сел на обочину совсем близко от Белинского.

Виссарион спросил его:

— За что тебя?

— Беглый я,— отвечал тот неохотно.

— Откуда?

— Из Тульской губернии Богородицкого уезда деревня Нижняя Грачевка господина Комаровского.

— Поймали, стало быть? Отчего не вернули?

— Вернули... Да я там с господином Комаровским поспорил.

Тут Соколов ввернул, подмигнув Белинскому:

— В мнениях не сошлись?

— Не сошлись,— спокойно подтвердил арестант.— Пырнул я его.

— То есть как это?

— Очень просто: вот так вот.

Арестант взмахнул рукой, да так лихо, что Соколов отпрянул.

— Ножом, что ли? — спросил он.

— Зачем ножом? — сказал тот вроде как обиженно.— Не с большой дороги мы.

И, сплюнув, пояснил:

— Косой.

— Ну,— сказал Соколов,— тебя за это по головке не погладили.

— Зачем по головке? По другому месту.

Внезапно он повернулся спиной и задрал рубаху. Спина вся была в багровых шрамах, в застарелых кровавых струпьях.

Добродушное лицо Александра Ивановича передернулось от жалости и отвращения. Он потянул Белинского за руку:

— Пойдем...

Но Виссарион не двигался. Он словно окаменел. Не отрываясь смотрел он на арестанта. Он знал, что тот говорит правду. И в то же время издевается над ними: на лице равнодушие, а в глазах насмешка.

— Ну, а в первый раз,— сказал Белинский,— зачем бежал от помещика? Тоже повздорил или что другое?

— Зачем повздорил? На юг потянуло. Тут, сказывали, жизнь легкая.

И вдруг запел, перебирая в такт песне босыми ногами, густо облепленными глиной:

А в Одессе добро жить,
Мешком хлеба не носить,
На панщину не ходить,
Подушного не платить...

Белинского охватил знакомый приступ тоски. Не часто она приходила к нему. Гораздо чаще — возмущение. Оно — от силы. А тоска — от бессилия. Как одолеть этот тупой, этот мрачный, этот на тебя отовсюду давящий гнет? Заносишь на него руку, и, как во сне, удара не получается. Локти раздвинуть некуда — стены рядом. Застенок...

Подошел конвоир.

— Ну, ты, убивец,— сказал он,— довольно представлять.

Кинул ему кандалы. Тот сам надел их на щиколотки и пошел, волоча лопату, даже не взглянув на Соколова и Белинского.

Звякая цепями, пошлепала по грязи шеренга арестантов.

Друзья присели на скамью в городском саду в приятной тени акации. Глаза отдохновенно упирались в пятнистую кору платанов.

Соколов тщился всячески развеселить Белинского, гаерничал, сплетничал о друзьях острым язычком своим. Делал он это не только потому, что по легкости натуры не терпел возле себя никакого уныния, но также из жалости к Виссариону, желая как-нибудь вытеснить его тягостные впечатления.

— Хочешь, расскажу анекдотец? Свеженький! Прямо из печки.

— Мы говорим с тобой на разных языках,— сказал Белинский с досадой.

Вдруг улыбнулся слабо, прибавил:

— Чаромутие.

Соколов вздохнул, умолк, и таким образом одесский анекдот образца 1846 года навсегда пропал для потомства.

— Все эту полосатую команду забыть не можешь,— жалобно протянул Соколов.

Вдруг оживился:

— А вот, смотри, другая команда, серенькая!

По аллее городского сада шествовала группа молоденьких девушек в серых холщовых платьях до пят, в грубых башмаках.

— Институток проветриться вывели,— заметил Соколов.

Шли они строем, по двое в ряду, опустив глаза. Впереди — классная дама, тоже молодая, сама, вероятно, вчерашняя институтка, тоже с потупленными глазами и всем своим видом выражая неприступность.

— На вид ледяной дворец. А ведь тронь ее...— начал Соколов.

— Знаю,— усмехнулся Белинский,— у меня жена институтка.

Теперь-то он уж хорошо знал, что под этой маской замкнутости, под этим институтским панцирем — жар и чувствительность, обнаженное сердце, нервозность, доходящая до судорог. Нежность и сострадание сжали ему сердце...

Вечером в гостинице, скинув одежду — вечер был удушливо жаркий — и попивая домашний лимонад, приготовленный Щепкиным, Виссарион писал жене письмо, как всегда, с подробным описанием всех впечатлений за день и — между прочим:

«...Благодаря тебе, братец ты мой, тебе, милая моя судорога, я знаю толк в этого рода холодных лицах...»

Трехэтажное «Заведение теплых морских ванн» на Приморской улице совсем близко от гостиницы — только сойти с бульвара к морю по гигантской лестнице.

Погрузившись в ванну, Виссарион почувствовал, что зеленоватая вода эта подымает его, выносит вверх. Он рассмеялся и принялся намыливать голову. Что за черт, не мылится! Еще раз. Еще! Только и добился того, что волосы слипаются, словно их смолой окатили. Он тихонько ругнулся и бросил. Потом почувствовал, что слабеет и понял, что вода слишком горяча. Разбавил холодной, но слабость не проходила.

Пошатываясь, побрел в гостиницу. Там рухнул на кровать. Михаил Семенович забеспокоился, привел врача, хорошего своего знакомого Ивана Яковлевича Видинского. Нашелся и у Виссариона общий с ним приятель — Петр Григорьевич Редкин, московский профессор-юрист.

— Я был с ним довольно близок во времена моей гегельянской молодости,— говорил Виссарион в то

время, как доктор выстукивал и выслушивал его впалую грудь.

— И что же, нынче он все такой же «радыкальный»? — спросил доктор, подражая малороссийскому произношению Редкина.

Виссарион засмеялся:

— Ой нет! Он ударился в божественность. В то время как мы все давно отошли от юношеского увлечения «мировым духом», Петр ухитрился сотворить из этого «духа» своего личного боженьку.

Доктор спрятал стетоскоп в карман.

— Могу вас успокоить,— сказал он,— ничего серьезного у вас не нахожу. Недомогания ваши от нервов. Ну, и как же Редкин сейчас?

— Стало быть, ванночки ему дозволены? — спросил Щепкин.

— Ни в коем случае. Настоятельно советую купанье в открытом море.

— Это вы меня утешили! — обрадовался Белинский.—А Редкина я давно не видел, но со слов Герцена знаю, что Петр, как выразился Александр Иванович, постригся в гражданские монахи и пишет боговдохновенные статьи с текстами из Гегеля и Евангелия...

Морские купанья понравились Виссариону. Он почувствовал прилив сил. Стал бегать на море по два раза в день.

Соколов предостерег его:

— Поначалу море всегда бодрит. А потом изнуряет. Нет, Виссарион, я предпочитаю нашу спокойную среднерусскую природу. Лес! Разве сравнишь коварное море с лесом, честным, устойчивым!

— И я люблю лес,— отвечал Белинский.— Но так ли уж он честен? Вот, скажем, лес стоит передо

мной, как стена. Иду на него. А он отступает. Нагоняю. Он пятится. Бежит от меня. Но дружелюбно. Как бы приглашает к себе. Но это же военная хитрость. Потому что через некоторое время я замечаю, что вокруг меня встали зеленые стены. Я окружен. Я обволокнут лесом. А море, Александр, все же честнее. Оно играет в открытую. Нет в нем этой притворной ласковости, заманчивой и обманчивой. Решив погубить, море бросается на тебя с яростью тигра. Нет — тысячи тигров!

Именно такое море Белинский полюбил более всего. Он чувствовал себя сродни ему.

«...я поутру купался, а часа через три опять пойду,— писал он жене.— Чудо, что за наслаждение! Сегодня море в волнении, волна подхватит тебя, взнесет на гору, сбросит вниз, окатит с головою; вода теплая, погода чудная, хоть и с ветром! Купанье уже оказало благодетельное влияние на мои нервы: я стал крепче, свежее и здоровее.»

Так казалось ему.

Почти каждый день к ним в номер забегал содержатель труппы Жураховский, пожилой, очень подвижный господин с приятной улыбкой на длинном лошадином лице. Сам старый актер, неплохой когда-то комик, он теперь совсем не играл и только в случае крайней необходимости заменял отсутствующего актера.

— Конечно, он мой старый товарищ,— говорил Щепкин по его уходе,— но при случае обдерет меня как липку. Как будто и свой брат актер, а вместе с тем предприниматель. Ушел в театральную коммер-

цию. Это бывает в нашей среде — выделяется из актеров человек, в котором деловое сильнее художественного. Он и становится дельцом.

Белинский окунулся с головой в театр, ходил не только на спектакли, но и на репетиции, толкался за кулисами среди актеров, слушал сплетни, давал советы и часто что-то записывал в свой путевой дневник.

Ему нравилось самое здание Одесского театра. Его строил знаменитый Тома де Томон. Театр стоял на холме, оттуда видно море, с другой стороны тянется прямая как струна Ришельевская улица. Сбоку небольшой публичный сад «Пале-Рояль», набитый модными лавками, кофейнями, старыми платанами, под которыми стоят тонконогие столики и порхают лакеи с подносами в руках.

Самые спектакли, однако, разочаровывали Белинского.

Он признался в этом Щепкину. Тот махнул рукой с безнадежным видом:

— Ералаш! Гастрольное дело.

— Ну так что?

— Как что? Все держится на одном актере, на мне, или на Живокини, на Григорьеве. А прочие набраны с бору по сосенке. Ролей не знают, полуграмотные, путают, перевирают. Бестолковщина! Пошлость! Не художество, одно актерство, притом нижайшего пошиба.

— Я «Ревизора» вчера смотрел. Действительно, публика отнеслась сдержанно.

— Тут, кстати, актеры не виноваты.

— Кто же?

— Сама публика: половина ее — взятки берущая, половина — взятки дающая. Как может им понравиться «Ревизор»!

— И об этом надо писать. Из моей поездки, Михаил Семенович, хочу сделать статью. В самом деле, не время ли написать о театре русском, о причинах падения сценического искусства, которое только и держится такими блестящими талантами, как вы, как Мочалов.

— Мы разные.

— Знаю. Мочалов не работает над ролью. Он ждет нисхождения на себя некоего духа. То есть — вдохновения. Низошло — Мочалов непревзойденный Гамлет или Карл Моор. Не дождался духа — Мочалов рядовой актер, не удосужившийся овладеть ролью.

— И не только это. Разные амплуа! Куды мне с моей квадратной фигурой лезть в Гамлеты или в Чацкие, в Хлестаковы! Я уже по самому физическому складу — Городничий, Фамусов.

— Не скромничайте, Михаил Семенович, это вам не к лицу. Главное свойство вашего неподражаемого искусства в том, что вы в одно и то же время умеете возбуждать и смех и слезы.

— А я главное, батенька, вижу в том, чтобы уразуметь, в чем сердцевина роли. Вот Фамусов. Помните эту его реплику после того, как он накрыл дочь с Молчалиным: «Дочь! Софья Павловна! Срамница! Бесстыдница! Где? С кем?» Вот в этом «с кем?» — ключ ко всей роли. Понял, в чем суть-то? Не то потрясло этого барина, что Молчалин низок нравственно, а то, что он низок социально, он из другого слоя, из низшего. А Фамусов не хочет впускать в свой слой постороннего. Сословия и ранги не должны смешиваться. Вокруг каждого слоя очерчен магический круг, его же не прейдешь. Вот в варварской тупости этого барства — ключ к роли Фамусова.

Разговор этот происходил за кулисами во время антракта. Щепкин гримировался, накладывал на лицо

румяна, подсинивал веки, половчее приноравливал парик, подминая под него остатки седых волос. В дверях толпились поклонники, не смея войти.

Вдруг, раздвигая толпу, вошел полный высокий генерал. Несколько офицеров и чиновников сопровождали его.

Щепкин тотчас встал. Белинский остался сидеть. Генерал, впрочем, не обратил на него никакого внимания.

— Рад видеть залетную московскую птичку в нашем богоспасаемом граде,— сказал генерал, благосклонно протягивая руку.

«Залетная птичка» согнул свой объемистый стан.

— Но позвольте узнать, Михаил Семенович,— продолжал генерал, разглаживая пышные подусники,— отчего французский актер, хотя бы второклассный, ловок и свободен на сцене, тогда как наши и первоклассные-то связаны, а вторые уж бог знает что?

Щепкин выпрямился. Что-то непривычно жесткое мелькнуло в его полузагримированном лице.

— А это,— сказал он,— оттого же, отчего я перед вами встал.

Генерал надменно приподнял брови:

— Это как понимать?

Щепкин сказал, еще больше оттачивая в каждом слове свою и без того чеканную дикцию:

— А так, что вот я старик, к тому же усталый, а не смею с вами разговаривать сидя. Снимите крепостное иго, и мы станем развязны и свободны.

Генерал нахмурился, и вся свита насупилась. Но тут же сообразив, что лучший выход из положения — бегство в шутку, генерал раскатисто рассмеялся. И вся свита — кто рассмеялся так же раскатисто, кто только хихикнул, кто улыбнулся беззвучно, в зави-

симости от чина. Милостиво кивнув, генерал со свитой удалился, звеня шпорами, а чиновники за неимением шпор просто гремя каблуками не менее молодцевато.

— Это кто же?

Щепкин опустился на стул, как-то сникнул и сказал устало:

— Одесский военный губернатор Ахлестышев.

— Какая кнутобойская фамилия!

— По Ивашке и рубашка...

Вечером облегченно вздыхали: на город ниспадала прохлада. Луна лила свой платиновый блеск на бульварные аллеи, расстилала на море платиновый мост. Белинский подолгу смотрел на эту зыбкую сияющую дорогу, изредка ее пересекал черный четкий чертеж фелюги. Так хорошо было в эти часы на бульваре, что в иные вечера Белинский не шел в театр, отговариваясь нездоровьем.

Дождавшись конца спектакля — об этом извещал шум на улицах, наполнявшихся народом,— он шел в «Пале-Рояль». Ему полюбился этот небольшой квадратный сад, ярко освещенный множеством плошек, в которых пылало конопляное масло. Лавки здесь закрывались поздно. Виссарион старался не тратить денег, но не удержался, купил себе камышовую палку с набалдашником в виде бронзовой головы герцога Ришелье. Опираться на нее, правда, было не очень удобно, поскольку крючковатый нос герцога впивался в ладонь. Но Неистовый радовался покупке как ребенок, а потом грыз себя за мотовство.

За его столиком обычно собиралась одна и та же компания. Сбился свой одесский кружок. Неизменно приходил Соколов со своим другом неразливанным —

Ильиным. Остроумный, образованный, резкий в суждениях, Николай Ильин сразу понравился Белинскому. Всезнайка, обладатель поразительной памяти, он снабжал Виссариона сведениями историческими, географическими, экономическими, делился с ним воспоминаниями о Пушкине, хоть уже более двух десятков лет миновало с тех дней, когда Ильин кутил с Александром Сергеевичем здесь же, в «Пале-Рояле», или в ресторане Сезара Оттона...

...Шум, споры — легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Оттоном...

Подсаживались к столику Белинского молодые профессора Ришельевского лицея, недавно приближенного по учебной программе к университету,— математик Брун, словесник Зеленецкий, астроном Петровский, статистик Мурзакевич. Виссариону интересно было общаться с ними, хоть он и считал их суждения об искусстве чуть старомодными, сентиментально-восторженными, дожевывающими отсталые немецкие эстетики.

Конечно, как во всякой большой компании, затесались в этот кружок и люди скучные, педанты, шумные назойливые остряки. Все льнули к Белинскому, искали его дружбы. Виссарион легко сходился с людьми,— разумеется, с теми, кто ему по нраву.

Примкнул к этой компании некто Всеволод Спиридонович. Белинского позабавило это соединение звучного, как бы княжеского имени с простонародным, что ли, отчеством. Чаромутие!

Фамилия его как-то затерялась. Да и была ли она когда-нибудь произнесена вслух? Известно только, что Всеволод Спиридонович приехал недавно из Питера, влекомый чисто научными интересами. Он изу-

чал, по его словам, скифские древности. Был обходителен, весел, что называется рубаха-парень, большой мастер устраивать пикники, взгляды радикальнейшие, никогда не спорит, а, подхватив мысль собеседника, тотчас развивает ее. Притом всегда скажет что-нибудь приятное в своем оглушительно-дружелюбном стиле, даже иногда делает маленькие подарки, дешевые правда, но ведь дорого внимание. Ко всему Всеволод Спиридонович стихотворствовал. Белинского вирши его ужаснули.

— Как вы терпите этого бездарного субъекта в своей компании? — спросил он Соколова.

Тот ответил, разводя руками:

— Бездарный, но свой.

Не стихи эти, однако, насторожили Виссариона. Он почуял во Всеволоде Спиридоновиче что-то искусственное, какую-то натянутость. Однако ничего конкретного, просто запашок. Может быть, все дело в попытках Всеволода Спиридоновича преодолеть собственную неуверенность? В таком случае его надо только пожалеть. Действительно, думалось Белинскому, этот малый быстро угадывает, кем его считает тот или другой человек, и столь же быстро, может быть, бессознательно, с актерской гибкостью и свойственной ему непреодолимой тягой к приспособлению, становится именно таким, каким, по его мнению, он кажется тому или другому человеку, в данном случае — мне, Белинскому. Может быть, только мне с моей повышенной чувствительностью чудится в «революционных» разглагольствованиях Всеволода Спиридоновича что-то вымученное, чужегласное.

Иногда посреди общей шумной беседы Всеволод Спиридонович вдруг исчезал. В конце концов Виссарион спросил его нетерпеливо:

— Куда это вы вдруг пропадаете?

Тот быстро ответил:

— Учусь на привидение.

И сам захохотал. Острота имела успех. Смешно стало и Белинскому, хотя его, как ревнителя чистоты языка, покоробил этот вульгаризм: «учусь на».

Попивая недурное одесское вино «Шато Маразли», разговаривали о театральных постановках, о продлении порто-франко еще на пять лет, о прелестных обитательницах некоего особняка на бульваре, доступного только мужчинам, об эллинистических надмогильниках, только что найденных в раскопках под Одессой, но преимущественно все-таки о литературе. Ильин превозносил злободневные романы Эжена Сю, «Парижские тайны» главным образом. Зеленецкий и Брун их уничижали. Все взгляды обратились на Белинского, он молчал, ему не хотелось говорить. Но когда Всеволод Спиридонович скаламбурил: «Сю сюсюкает», Виссарион сказал мягко:

— Полегче с Эженом Сю, друзья. В «Парижских тайнах» столько любви к человечеству, благородных инстинктов, столько страниц, запечатленных признаками высокого таланта!

— И при этом...— начал Всеволод Спиридонович.

— Знаю, что вы хотите сказать,— прервал его Белинский,— да, весь роман основан на мелодраме, столько неестественных лиц, особенно между отличающимися по части добродетели!

— А это расплата: не гонись за современностью,— вставил Соколов.

Белинский склонил голову в знак согласия, но, впрочем, тут же заметил:

— Ты прав только отчасти, Александр. Конечно, хуже всего Сю даются добродетельные лица. Почти всегда они неестественны до смешного и приторны до отвратительности.

— Руку, Белинский! — вскричал Всеволод Спиридонович.

— Нет, руки я вам все-таки не дам, потому что самая тема романа Эжена Сю возвышенна и правдива. Он хотел представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златого тельца обществу зрелище несчастных, осужденных на невежество и нищету, а невежеством и нищетой — на пороки и преступления.

Неистовый произнес это с такой горячностью, что никто не решился возражать. Он оглядел умолкнувшую компанию, улыбнулся, отпил вина и сказал:

— Но, конечно, слабости его романов в их мелодраматических преувеличениях. Характеры небывалые, вроде принца Родольфа,— словом, много ложного, неестественного, а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда — на целое произведение.

Всеволод Спиридонович воспрянул:

— Здесь-то и зарыта собачка!

— Но,— сказал Белинский, сурово на него глянув,— все-таки не в этом главные недостатки Эжена Сю. Они — в его политической слепоте, в его вере в конституционную мишуру, в филантропию, в доброту богачей, в спасительное действие буржуазных реформ, в поверхностный, внешний и формальный демократизм.

— Здорово! В самую точку! По-нашему! По-простецки! — вскричал Всеволод Спиридонович.

Он смотрел на Белинского преданными глазами.

Белинский пожал плечами. Приятно, конечно, иметь поклонника, да еще такого восторженного. Но снова при этом у Виссариона оскомина, словно он переел сладкого...

Одесские каретники поработали на славу, перебрали рессоры, обтянули колеса новыми шинами, подправили кузов. Тарантас выглядел как новенький.

И вот он опять катит по Херсонской улице, вздымая клубы пыли. И после краткой задержки у таможенной заставы выкатывается на вольную степную дорогу.

Но уж не бросается к окошкам Виссарион. Опостылела ему эта бесконечная голая, солнцем выжженная Новороссия.

Он мечтательно уставился в потолок. Он едет в Симферополь, а мнится ему Петербург. Да, его тянет домой. Надоели эти наскоро слепленные спектакли, надоели случайные знакомства, надоело безделье. К себе хочется, к Марии и Оленьке, даже к этой глупой обидчивой Агриппине, к своему рабочему столу, к друзьям, к журналу!

Думая так, он нет-нет да поглядывал беспокойно в заднее окошко.

Щепкин очнулся от дремоты, некоторое время понаблюдал Виссариона, потом спросил, зевая:

— Ты что так суетишься? Забыл что-нибудь? Так вернуться не поздно.

Белинский не отвечал.

— Или высматриваешь кого?

— Да. Охотника.

Михаил Семенович засмеялся:

— Ну где же в этой пустыне охотники! Тут и дичи нет.

— А я чем не дичь?

Что-то в голосе Виссариона поразило Щепкина. Он внимательно посмотрел на него:

— Ты это серьезно?

— Знаете, Михаил Семенович,— только не смейтесь! — после моего афронта с Милановским,— помните, я вам рассказывал про подосланного шпика, который втерся ко мне в доверие? — после этого, возможно, что я стал излишне мнителен.

— Не мудрено,— проворчал Щепкин, снова погружаясь в дремоту.

Так славно спится под плавные качания рессор...

Письмо

Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России.

Белинский. Письмо к Гоголю

Виссарион лежал на полу на спине, махал руками и ногами и кричал потешным голосом:

— А ну, ко мне! Быстренько!

Крошечная Оленька со всех ног бросилась к отцу, началась возня. Виссарион щекотал ее легонько, она била его кулачками, он притворно рычал и целовал ее куда попало, оба катались по полу и хохотали.

Свояченице Агриппине это не нравилось: непорядок, даже буйство. Но Мария, удивительно похожая на сестру, но в отличие от нее очень красивая, останавливала Агриппину:

— Ne les empêchez pas... *

Когда Виссарион начал подыматься, он рухнул об-

* Не мешайте им... *(Франц.)*

ратно на пол. Суставы не повиновались. Не было силы в коленях, в спине. И глухая томительная боль в груди. Пришлось сестрам подымать его, усаживать в кресла. Он долго надрывно кашлял.

Да и вообще здоровье его сильно пошатнулось. Это всем бросалось в глаза. Чувствительный Всегдаев потуплял глаза при виде Виссариона. Другие значительно переглядывались за его спиной. Белинский и сам, смотря в зеркало, улыбался с горькой иронией. Старик! А ведь ему только тридцать шесть... Он был смертельно бледен, словно обескровлен. Иногда только на впалых щеках вдруг проступали горячечные пятна. Дышал он трудно и торопливо.

Что делать? О водах Зальцбрунна рассказывали чудеса. Будто ослиная сыворотка в смеси с водами по способу доктора Цемплина воскрешает умирающих. Домашний врач Белинских доктор Тильман горячо советовал поехать в Зальцбрунн. Но заграничная поездка, столь доступная любому из его друзей — Васе Боткину или Анненкову Павлу Васильевичу, молодому Ивану Тургеневу, Саше Герцену, даже Ивану Ивановичу Панаеву, заложившему для этого своих мужиков,— для Неистового была невозможна. Он, как и был, так и остался бедняком.

Совесть, что ли, заговорила в друзьях. Пошла переписка между питерскими и московскими. Деньги-то нужны немалые. Особенно после императорского указа о заграничных паспортах. Стоимость паспорта вдруг взлетела до пятисот рублей. Да еще ввели всякие ограничения — моложе двадцати пяти лет не выпускать за границу, жену без мужа — тоже. Дома сидите, русские люди, нечего таскаться по заграницам, навидаетесь там на Западе всяких вольностей, да и вернетесь в отечество напичканные дерзостными мыслями, начальству только неприятности.

Одновременно с ограничением выезда за границу — по случайному, конечно, но весьма знаменательному совпадению — законодательное творчество Николая I родило на свет в том же сорок пятом году еще одно мероприятие:

«Его величество из предполагаемых мер признает удобнейшей заменить кнут увеличенным числом ударов плетьми рукою палача на лобном месте...»

В Москве по субботам бывший кружок Белинского обычно собирался поочередно у каждого из своих. Нынче встретились у Боткина в Петроверигском переулке. Хозяин дома поставил на стол объемистую железную банку. Верно, от чая. Наглухо закрытая, только в крышке — щель. Когда все собрались, Боткин попросил внимания:

— Господа, я прочту вам письмо, которое получил от Белинского. Только заклинаю вас — никому ни слова. В строгой тайне! Согласны? Так слушайте.

Василий Петрович вынул из кармана письмо, поправил на голове сбившийся парик и начал читать вслух:

«Поездка моя на воды — миф. Некрасов не в состоянии дать мне 300 руб. серебром, которые должен он Герцену. Твои 2 500 слишком неопределенны и гадательны... Скажу тебе откровенно: эта жизнь на подаяниях становится мне невыносимою... Да что говорить об этом. Конечно, на этот раз дело идет о спасении жизни. На всякий случай напиши мне, в чем должен состоять мой максимум, чтобы съездить на 3 месяца только на воды в Силезию и больше никуда. А поездка эта не только облегчила бы — излечила бы меня. Я знаю моего доктора: он не послал бы меня
 тратиться черт знает куда только для развлечения.

Он человек правдивый, и, когда я был близок к смерти, он не скрыл этого от жены моей...»

Боткин оглядел окружающих.

— Так вот, господа. Надо спасать Белинского. Огарева здесь нет сейчас, но он обещал дать 600 рублей. Анненков посулил, что пришлет 400 франков.

— Даю пятьсот рублей,— сказал Мельгунов.

Корш молча подошел к банке и опустил туда записку.

— Тридцать рублей серебром,— сказал он,— более не могу.

Один за другим подходили и бросали в банку деньги либо записки.

Когда Боткин подсчитал, то вместе с обещанными собралось две с половиной тысячи.

5 мая Белинский выехал за границу.

Еще до отъезда Белинского прошумела его рецензия на книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»,— «едва ли не самая странная и не самая поучительная книга,— по словам Белинского,— какая когда-либо появлялась на русском языке!..»

Рецензия эта была, в сущности, плач по Гоголю. «Тут дело идет,— восклицает Белинский,— только об искусстве, и самое худшее в нем — потеря человека для искусства».

Книга эта воспринималась Белинским как трагическая ошибка гения. Ведь Гоголь сам затаптывал свои произведения. «Мертвые души» он называл «недоноском», «карикатурой», «Ревизора», потрясшего Россию реалистическим изображением ужасной николаевской действительности, Гоголь свел к «истории моей собственной души».

В своей рецензии Белинский негодовал по поводу

этого странного самоуничижения Гоголя, которое так обрадовало реакционную критику.

«Когда мы хвалили сочинения Гоголя,— писал он,— то не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях, а судили о них сообразно с теми впечатлениями, которые они производили. Так точно и теперь мы не пойдем к нему спрашивать его, как теперь прикажет он нам думать о его прежних сочинениях и о «Выбранных местах из переписки с друзьями»... Какая нам нужда, что он не признает достоинства своих сочинений, если их признало общество?»

Встретив как-то Павлова, с которым он был в довольно прохладных отношениях, Белинский бросился к нему и долго жал ему руку,— так понравилась Виссариону статья Павлова об этой книге Гоголя.

— Я полностью согласен с вашей мыслью о том,— сказал он,— что эта несчастная книга Гоголя, перенесенная в художественное произведение, в те же «Мертвые души» или «Ревизор», была бы превосходна, ибо ее чувства и понятия принадлежат Хлестаковым, Коробочкам, Маниловым. Это так умно, так умно, что мочи нет!

Однако если литературные заблуждения Гоголя огорчили Белинского, то подлинное возмущение его вызвали реакционные политические высказывания в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Снисходительное отношение создателя «Мертвых душ» к мордобойным крепостническим нравам вызывает горестное негодование Неистового:

«Хорош и этот совет,— пишет он в своей рецензии,— «Мужика не бей: съездить его в рожу еще не большое искусство»... автор учит помещика ругаться с мужиками... Что это такое? Где мы? уж не перенеслись ли мы в давнопрошедшие времена?..»

Белинский отказывается понимать, как мог великий писатель договориться в своей книге до заявления, что русский народ не стремится к грамотности. С явно ощутимой болью за Гоголя пишет он в своей рецензии:

«...Если бы захотел он (Гоголь) пожить в той России, которую так расхваливает, живя в разных немецких землях, и поприглядеться к простому народу, о котором судит так решительно, не зная его,— он убедился бы, что эти быстрые успехи в деле распространения грамотности в простом народе основаны на сильном стремлении, какое он оказывает к учению».

Он задается вопросом:

«Зачем написана эта книга? Это так же трудно решить, как и то, зачем написаны автором эти строки: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!..»»

На поставленный вопрос Белинский отвечает не здесь, а в письме к Василию Боткину, который, как ни странно, осудил рецензию Белинского как «необдуманную».

«Ты,— пишет ему Белинский,— решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно... Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошей, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству... Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней *только* заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости».

Не знаю, польстило ли Гоголю одобрение этой его книги Булгариным:

«...последним сочинением он (Гоголь) доказал, что у него есть сердце и чувство и что он дурными советами увлечен был на грязную дорогу, прозванную нами натуральной школой. Отныне начинается новая

жизнь для г. Гоголя, и мы вполне надеемся от него чего-нибудь истинно прекрасного».

Эту похвалу Гоголю Боткин назвал: «хуже пощечины».

Статьей Белинского Гоголь был задет чувствительно. Он пожаловался Шевыреву. Он излил обиду Прокоповичу и даже облек его тонкой дипломатической миссией:

«Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа относительно меня... Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам...»

Прилагаемое письмецо было написано в довольно раздраженном тоне. В нем слышались интонации сановника, распекающего подчиненных за нерадение и самоуправство. Все облито соусом ханжеского христианского смирения, за которым, конечно, проглядывает сатанинское высокомерие:

«Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде... Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говорящих о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорящие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать только в голове рассерженного человека, ищущего только того, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон...»

О, если бы Гоголь знал, какое извержение вулкана вызовет это «прилагаемое письмецо!»

Прокопович не сумел тотчас передать его Белинскому, потому что тот уже был за границей. Понадобилось время, чтобы оно дошло до Зальцбрунна. Сам

Прокопович, этот слепо преданный Гоголю друг, не

очень был доволен «письмецом» и даже осмелился представить Гоголю свои робкие возражения, на которые тот, впрочем, не обратил никакого внимания.

«Мне кажется,— писал Прокопович,— ты очень ошибаешься, воображая, что статью свою Белинский написал, приняв на свой счет некоторые выходки твои вообще против журналистов. Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление...»

Вот и Зальцбрунн. Белинский сразу к доктору Цемплину.

Низенький широкоплечий старик с непомерно большой головой, с выправкой военного и бородой Саваофа. Излучает доброжелательство и заражает надеждой. Правда, на обратном пути в отель этот молодой насмешник, Ваничка Тургенев, сказал, что в Цемплине есть что-то от циркового престидижитатора. Белинский рассердился:

— Слушайте, Тургенев, вам лишь бы подковырнуть все равно кого. Отвратительная, доложу вам, манера втаскивать всех в лужу, в которой вы сами барахтаетесь.

Увидев, что Тургенев смутился, сказал добродушно-ворчливо:

— Смотрите, в угол поставлю.

Тургенев рассыпался в извинениях. Признал, что неправ, что есть у него такая черта: править язык на людях, как правят бритву на оселке. Про себя же подумал, что если даже этот карлоподобный Цемплин и шарлатан, все равно Неистовый верит в него, а вера творит чудеса.

Читая историю болезни Белинского, составленную еще в Петербурге доктором Тильманом, доктор

Цемплин, можно сказать, расцветал от удовольствия, словно читал интереснейший роман. Потом сказал решительно, что ручается за полное выздоровление г-на Белинского. Тургенев переводил, расцвечивая при этом обещания доктора еще более обнадеживающими красками.

Белинский несколько огорчился, когда доктор запретил ему кофе,— только теплое молоко. И ни в каком случае не переедать.

— У вас, у русских, есть неумеренность в еде. И поменьше мяса.

Белинский свято все соблюдал. Пил сыворотку, кажется ослиную, а скорее козью. Пил воду из источника и так просто, и в смеси с молоком. И стало его проносить с неслыханной силой. Но доктор Цемплин успокоил: так надо.

Жил Белинский вдвоем с Тургеневым, гулял, прислушивался к себе тревожно и томился.

Он с жадностью внимал рассказам о чудесах зальцбруннских вод. Тургенев старался поддерживать в нем эту веру во всеисцеляющую мощь курорта. Показал ему одного немца, быстро взбегавшего по лестнице.

— А в прошлом году — он сам говорил мне — он с трудом волочил ноги, харкал кровью и кусками легких.

Белинскому казалось, что он чувствует себя лучше. И вправду, он меньше кашлял, легче ходил. Но приехавший к этому времени в Зальцбрунн Анненков не мог сдержать горестного изумления при виде Белинского, страшно худого, сгорбленного, явно чахнувшего. Даже голос его потускнел, стал глуше.

Анненков поселился с Белинским и Тургеневым. Дни тянулись однообразно, томительно. Иногда гуляли, но большей частью сидели в небольшом дворике

своего дома или в ресторане. Говорили о многом, о гоголевской переписке с друзьями, о славянофилах, о только что вышедшей книге Штирнера «Единственный и его достояние». Тургенев читал написанный здесь рассказ «Бурмистр», очень понравившийся Белинскому. Друзья старались не доводить разговора до спора, потому что, возбуждаясь, Белинский повышал голос и им овладевал изнурительный припадок кашля.

Тургеневу скоро надоел этот монотонный образ жизни.

— Еду в Берлин,— сказал он,— совсем ненадолго. Не хочется, а надо: знакомые уезжают в Англию, и я буду выглядеть свиньей, если не попрощаюсь с ними. Вернусь непременно, вы видите — я ведь и часть вещей здесь оставляю.

Действительно оставил. Но не вернулся.

Анненков тайком от Белинского справился у доктора Цемплина о состоянии здоровья Виссариона. Доктор отвечал туманно и все подчеркивал, что г-н Белинский очень болен.

Да и сам Белинский начал разочаровываться в Зальцбрунне, а особенно в докторе Цемплине.

— Это, кажется, самый обыкновенный доктор, какие бывают на всех водах в мире,— сказал он.— Он долго держит в своей руке вашу руку, нежно смотрит в глаза, но путевого от него ничего не услышишь. Я узнал ненароком, что он получает 50.000 годового дохода.

Анненков молча кивал головой. Потом сказал:

— Хорошие врачи в Париже. Там, например, выходили Языкову Елену Петровну. Она помирала от чахотки. Сейчас вернулась в Россию совсем здоровая.

У Белинского опять началась одышка, какие-то толчки в голове. Он перестал ходить к Цемплину и называл его не иначе, как шарлатан и каналья.

— Да,— сказал он,— Тургенев был прав...

Решили ехать в Париж к знаменитому доктору Тира́ де Мальмору.

Но до этого произошло событие огромной важности: Белинский написал письмо к Гоголю.

Но возможно ли частное письмо одного писателя к другому назвать событием в общественной жизни страны? Да! Ибо это был сокрушительный удар по феодально-крепостническому строю царской России, по ее социальному и политическому гнету.

Прокопович, не зная, где искать Белинского, чтобы передать ему «прилагаемое письмецо» Гоголя, обратился к Николаю Николаевичу Тютчеву. Тот через редакцию «Современника», то есть через Некрасова, отправил его в Зальцбрунн, и вот, наконец, оно оказалось в руках у Белинского.

Это было первое письмо, которым Гоголь удостоил Белинского. До сих пор он не писал Виссариону и на его письма не отвечал, предпочитая вместо ответа личное свидание, на которое он тоже приходил тайно от своих аристократических друзей.

Белинский начал читать «прилагаемое письмецо» довольно равнодушно. Но дойдя до слов: «...такая логика может присутствовать только в голове рассерженного человека»,— побагровел от внезапно нахлынувшего негодования и сказал прежним звонким отчетливым и высоким голосом:

— А! Он не понимает, за что люди на него сердятся,— надо растолковать ему это — я буду ему отвечать.

И он ему ответил.

И это было не только письмо к Гоголю. Это стало письмом к России.



Странно: ни вода зальцбруннского ключа, ни ослиная сыворотка, ни диетический стол не остановили болезни Белинского. А как только он начал писать, возник прежний Белинский — подвижной, энергичный, во всеоружии своих сил. Казалось, сама работа вливала в него бодрость. Он работал над письмом Гоголю. Даже стан его выпрямился, порозовело лицо, глаза вернули свой блеск, и возродилась его обычная рабочая аккуратность.

С круглого ломберного стола были убраны карты. В образцовом порядке разложены перья, карандаши, бумага, нож, чернильница. Рано утром Виссарион уходил к источнику пить воду. Вернувшись, выпивал чашку кофе, запрещенного доктором, и, усевшись на небольшой диван, писал. Он часто задумывался, откинувшись на спинку дивана. Он знал за собой свойство выражаться распространенно и сейчас сознательно умерял излишние длинноты, старался вмещать свои мысли, свой пыл в сжатые, емкие формы, отчего энергия выражений усиливалась и каждая фраза письма была как огневой залп.

Он и начал без предисловий и без общепринятого обращения по имени (как, впрочем, и Гоголь к нему). Он начал с существа:

«Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим, действительно, не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого досто-

инства; нельзя молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель...»

Белинский отказался объяснить появление книги Гоголя его умственным расстройством, он отвергнул эту версию. Он отвергнул также версию оторванности автора от России, версию дурного влияния. Он выдвинул версию корыстных целей Гоголя:

«Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас)...»

В литературных кругах было известно, что Гоголь через Уварова добился крупной денежной подачки от правительства — по тысяче рублей серебром ежегодно в течение трех лет. Унизительное письмо Гоголя к Уварову с раболепной благодарностью стало известно благодаря Уварову, который распространил его среди литераторов, видимо, с воспитательной целью.

Таким образом, Белинский имел полное право назвать книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» «проделкой для достижения небесным путем чисто земных целей» и объявить в лицо Гоголю, что «гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора».

Да, это письмо к Гоголю — о его постыдной книге, о страшном падении великого писателя. И в то же время это — последовательное разоблачение печально известной «триединой формулы» Уварова: самодержавия с его «огромными корпорациями разных слу-

жебных воров», православия — «опоры кнута и угодника деспотизма» и официальной народности страны, погрязшей в крепостном рабстве, «где люди торгуют людьми» и «сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками», ибо нет в них «чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе».

Письмо дышит горечью. Казалось, Белинский пишет его спокойно. Он был непривычно молчалив и задумчив. Исписанные листы он откладывал в сторону, потом собрал и переписал набело. Это продолжалось три утра. В час дня он прекращал писать. Шли обедать. Он ничего не говорил о том, что пишет. Третье утро было посвящено распределению и упорядочению написанного. То, что он написал последним, он переместил в середину. Это были слова надежды на то, что общество «видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности и потому всегда готово простить писателю плохую книгу, но никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность...»

Анненков ни о чем не расспрашивал Белинского, понимал, что любопытство со стороны может только помешать ему. На четвертый день Белинский вызвал его из мезонина:

— Хотите, прочту?

Павел Васильевич покойно уселся в кресло против Белинского. Он предвкушал удовольствие от мастерского, чинного и благопристойного писания Виссариона. Бедный толстый, благожелательный Анненков, всеобщий друг, любитель изящных компромиссов! При первых же словах письма он вздрогнул. Он бес-

прерывно ерзал в кресле. Его выпученные глаза не отрывались от Виссариона, в них были и страх и восхищение. Он представил себе состояние Гоголя, когда это огнедышащее письмо достигнет его.

— Поймите, Виссарион Григорьевич, вы препарируете Гоголя. Вы его вскрыли, вы обнажили пустоту и безобразие его идеалов, всех его понятий о добре и чести. Он будет подавлен и оскорблен.

Неистовый пожал плечами:

— А что же делать? Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него.

В этот момент ни Белинский, ни Анненков не представляли себе долговечности этого письма. Оно мгновенно разошлось по России во множестве списков, хотя за обладание им и даже просто за чтение его судили. И прошли годы, и не стало уже ни автора письма, ни его адресата, а письмо шло и шло по стране и гремело, и списки множились. Давно уже оно утратило значение частной переписки и превратилось в прокламацию огромной революционной силы. Оно было запрещено царской властью, и только в 1905 году его впервые широко опубликовали в России.

Жить! Жить!

> Белинский и его «Письмо» — это вся моя религия.
>
> *Тургенев*

В один из последних дней перед отъездом в Париж Белинский, Тургенев и Анненков обедали в ресторане

 за длинным столом табльдота. Там сидела и группа

иностранцев. Они о чем-то оживленно беседовали. Особенно горячо ораторствовал молодой румянощекий немец. Тургенев прислушивался. Мимолетная ироническая улыбка тронула его губы. Это не ускользнуло от внимания Белинского. Он спросил:

— Что этот бурш так ярится?

— Они говорят о том, что король распустил ландтаг за неумеренно резкую критику правительства.

— И этот немец возмущен? Молодец!

— Что вы! Как раз наоборот. Он сказал: «Я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс».

Белинский от изумления перестал есть, потом в сердцах ударил ложкой по столу и сказал:

— Тургенев, сделайте милость, скажите ему: «Я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут больше люблю горшок, чем суп».

Тургенев предостерегающе поднял руку и прислушался к молодому немцу. Снова усмехнулся:

— А сейчас он похвалил одного оратора в ландтаге за то, что тот, как он выразился, «умеренно парит».

— Мещане, филистеры! — сказал Белинский с отвращением.— Началось гладью, а кончилось гадью. Ландтаг вообразил себя народной властью, а король разогнал его и теперь ведет себя как победивший деспот...

Нищета народа, немощь представительных учреждений все больше убеждали Белинского в несбыточности идеалов утопического социализма.

В Дрезден прибыли в дождь. Впрочем, у Белинского было превосходное настроение. Он доволен, что

покинул наконец опостылевшее зальцбрунновское курортное захолустье. Доволен своим письмом Гоголю,— выговорился! Доволен и тем, что едет в Париж к знаменитому Тира́ де Мальмору. При мысли, что через несколько дней он увидит Герцена и Бакунина, ему делалось радостно. Наконец, ему было хорошо и оттого, что с ним Анненков. Быть может, не все в флегматичной всеядной натуре Павла Васильевича ему по душе. Но он заботлив, доброжелателен, верен своему слову,— не то что этот неугомонный Тургенев — чертовски талантлив, но непоседа, в голове ветер, никогда не знаешь, какое коленце он выкинет, да он и сам этого не знает.

Вот он мелькнул в Дрездене и мгновенно испарился зачем-то в Лондон. Обещал, впрочем, быть в Париже.

В Дрездене Белинский, конечно, первым делом — в знаменитую картинную галерею. И, сознательно не обращая внимания на другие картины, проследовал прямо к Сикстинской мадонне Рафаэля. Он увидел ее иначе, чем другие. Он обладал даром первовидения. Как реставратор снимает со старинной картины последующие наслоения, так Неистовый отбрасывал предыдущие заочные литературные представления и смотрел на мадонну глазами первооткрывателя. К тому же натура его воспламенялась от столкновения мнений. Он хорошо помнил статью Жуковского «Рафаэлева Мадонна», читанную еще в молодости. Он увидел сейчас в картине совсем другое. И впоследствии, вернувшись в Россию, он напишет в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»:

«...Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину... Статью Жуковского... знал... почти наизусть... и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления... Долго он смотрел

на нее... Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем Рафаэлевой,— две совершенно различные картины, не имеющие между собой ничего общего, ничего сходного... Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства... Это — как бы сказать — ideal sublime du comme il faut» *.

Белинский увидел в мадонне не романтический образ, мнившийся сентиментальному Жуковскому, а великосветскую даму. Она стояла на пороге своей небесной резиденции, милостиво дозволяя любоваться своим прекрасным лицом. А младенец Христос у нее на руках — такой насупленный, мрачный, совсем не похожий на всепрощающего бога. Уж не провидит ли он свою казнь, столь мучительную, что она не стоит воскрешения? Он старообразен, думалось Виссариону, этот младенец с недобрым лицом судьи и карателя...

В письме к Боткину из Дрездена Белинский выразится еще острее, чем в статье, не связанный литературным этикетом:

«Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский!.. Это не мать христианского бога; это аристократическая женщина... она глядит на нас с холодной благосклонностью, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас...»

О младенце Христе в этом письме Белинский пишет, что «у него рот дышит презрением к нам, ракалиям».

И хотя все его плебейское существо протестовало

* Высший идеал приличия. *(Франц.)*

против этой «придворной» живописи, он при этом однако не отрицает «благородство, изящество кисти».

Пышные телеса на картинах Рубенса ему не понравились, он назвал этого художника «поэтом мясников». Он не подозревал, что совпадает в этом мнении с знаменитым художником Энгром, который до того не любил живописи Рубенса, что, проходя в Лувре мимо его картин, открывал, по собственному признáнию, зонтик, чтобы не видеть их.

По дороге в Париж остановились в Кельне. Белинский смертельно устал. Последние полтораста верст от Эйзенаха до Франкфурта тряслись в дилижансе. Как назло, все пассажиры курили эти толстые немецкие вонючие сигары, и Виссариону временами казалось, что он задохнется. Во Франкфурте, где они ночевали, он немного пришел в себя. В Майнц, слава богу,— по железной дороге. Оттуда в Кельн по воде. Рейн, конечно, живописен, замки по берегам, виноградники, развалины, сильно смахивающие на театральные декорации. Но погода гнуснейшая — холодный ветер с дождем. Главное, деваться некуда: на палубе холодно и сыро, в каюте душно и опять курильщики сигар. Честное слово, еле живой добрался Белинский до Кельна и в гостинице — сразу в постель.

— Завтрашний день,— объявил Анненков,— посвятим осмотру Кельнского собора. А послезавтра — через Брюссель в Париж.

— Павел Васильевич, зачем же нам терять день? Завтра же с утра двинем в Брюссель.

Анненков изумленно посмотрел на Белинского:

— А Кельнский собор?

— А ну его к богу.

— Вы шутите!

— Нисколько. Я не намерен терять целый день из-за Кельнского собора.

Павел Васильевич даже онемел от удивления. Наконец обретя дар речи, он завопил:

— Пропустить Кельнский собор! Шедевр готики! Одно из чудес мира! Люди из-за океана специально приезжают любоваться им! Одна абсида этого собора — волшебство и греза!

— Обойдусь без абсиды.

Анненков вышел из своей обычной флегмы. Стучал кулаком, топал ногами, язвительно хохотал. Белинский был неумолим, и утром они уехали в Брюссель. Впрочем, по дороге видели Кельнский собор, и Белинский молвил, лукаво поглядывая на Анненкова:

— Обширное помещение. Комфортабельно устроилась католическая идея...

Павел Васильевич обиженно молчал. Так же, как и Тургенев, он не понимал, что Белинскому чуждо праздное туристское и в общем равнодушное любование обязательными достопримечательностями.

В Брюсселе Белинский все же уступил Анненкову, пошел с ним в собор.

— Дались вам эти соборы,— ворчал он.

К тому же там отпевали покойника, что тоже не прибавляло радости. Орган, правда, играл неплохо.

На следующий день раненько утром — в поезд и в тот же день — в Париже.

У Белинского приподнятое настроение. Остановились в отеле. Умылись, переоделись, взяли фиакр — и к Герцену.

Объятья, поцелуи, бессвязно радостные восклицания. По мелькнувшему на лице Герцена выражению жалостливости Белинский понял, как он изменился.

— Зальцбрунновские воды, говорят, действуют не

сразу, а по прошествии времени,— сказал он, как бы оправдываясь.

— Конечно, конечно,— поспешил согласиться Герцен.

Сам Александр Иванович тоже несколько изменился. Не от болезни, конечно, а просто завел себе более европейскую наружность: узкая, щегольски подстриженная борода, щеки бритые, усы изящным изгибом сходят к бороде — элегантно и солидно.

— Хочу завтра же съездить к доктору Тира́ де Мальмору.

— Зачем к нему? Он к тебе придет,— сказал Герцен.

— Удобно ли?

— Это уж не твоя забота. Да, какие у тебя планы на сегодняшний вечер? Поедем осматривать Париж. А теперь...

— А теперь садись,— сказал Белинский.— Садитесь все, я хочу почитать вам кое-что.

И он прочел собравшимся «Письмо к Гоголю».

Посреди чтения, когда Неистовый дошел до слов: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездной...» — Анненков тихонько вышел в соседнюю комнату.

— Я уже слышал,— шепнул он на ходу Герцену.

Он просто не хотел вторично быть свидетелем морального избиения Гоголя. Пусть Гоголь заслужил его, но разве нельзя было подобрать выражения более общепринятые, более деликатные, заключенные в какую-то дипломатическую оболочку? Вся натура Анненкова, склонная к соглашениям, к уступчивости, к сговорам, противилась неистовости этого гнева, этому рыку раненого льва, этому громовому красноречию,

похожему на инвективы пап римских или на грозные проповеди библейских пророков.

Голос Белинского в соседней комнате смолк. Поднялся возбужденный гул. Выбежал Герцен.

— Ты здесь, Павел Васильевич?

— Что скажешь о «Письме», Александр Иванович?

Герцен оглянулся, потом, нагнувшись к Анненкову, сказал:

— Это гениальная вещь! Да это, кажется, и завещание его...

Поехали осматривать Париж. Анненков кисло поглядывал на Белинского. Памятуя Кельн, Павел Васильевич не ожидал ничего хорошего от этой прогулки. Он предполагал, что Белинский будет морщиться, скучать. Он ошибся. Этот неглупый и наблюдательный человек, подолгу живший с Виссарионом, по-своему любивший его, не совсем его понимал. Он считал капризом то, что было убеждением Белинского. Непримиримую принципиальность его он принимал за бестактность. Равнодушие к красотам Кельнского собора — за бесчувственность. Он не понимал, что мертвая громада собора не связана в воображении Белинского ни с какими ассоциациями, тогда как Тюльерийский дворец, и площадь Согласия, и Пале-Рояль, и Лувр, и самая Сена — все это освящено памятью о Великой французской революции, дышит романами Жорж Санд и Бальзака, неотделимо от давних премухинских споров со стариком Бакуниным, от чтения «Монитора». И сейчас Виссарион, стоя на террасе Тюльери рядом с Герценом и Анненковым и глядя на Луксорский обелиск посреди площади Согласия, на античные колонны Бурбонского

дворца, на прелестный портик церкви Мадлен, на улетающую вдаль стрелу Елисейских полей, повторял восторженно:

— Сказка! Шехерезада! Чудо!

Доктор Тира́ де Мальмор совсем не похож на слащавого делягу из Зальцбрунна, как его?.. да, Цемплина. Нет, доктор Тира́ де Мальмор — тип ученого: молчалив, суховат, ничего не сулит и соглашается лечить Белинского только при условии, что больной поселится в его Maison de santé * в предместье Парижа Пасси.

— Поймите, месье,— сказал он, сдвигая густые брови,— вам нужны две вещи: воздух и режим. В моей лечебнице — сад, который примыкает к Булонскому лесу. Это резервуар замечательного воздуха. В десять часов вечера вы уже должны лежать в постели. В городе это вам не удастся. Кроме того, вам надо вдыхать специальное куренье. Я не возражаю, чтобы днем вы выезжали в Париж, но не надолго.

Он улыбнулся, внезапно лицо его стало добрым.

Решено: едем в Пасси!

Оба они, и Белинский и Бакунин, долго обнимались, долго трясли друг другу руки, долго не могли вымолвить ничего путного, а все какие-то выкрики:

— Ну, как ты?..

— Ох, какой ты стал, брат!

— Мишель, я просто глазам не верю, что мы вместе.

— Думал ли я...

* Санаторий. *(Франц.)*

— Да, брат, как в Премухине когда-то...

Похохотали, успокоились. Герцен смотрел на них ласково. Тургенев был растроган. Сазонов, Анненков и Рейхель деликатно отошли в сторону.

Во взгляде Бакунина подметил Виссарион ту же жалостливость, что накануне в глазах Герцена. Что поделаешь! Про Бакунина тоже не скажешь, что он пышет здоровьем. Худ, костляв. Львиная грива его поредела и кой-где поблескивает серебром. Лицо пересечено продольными морщинами — колеи времени! Усы разрослись, как у вахмистра сверхсрочной службы. Из-под полосатого жилета выглядывает несвежая рубаха.

— А ты, говорят, женился, брат. Вот и Адольф тоже,— Бакунин кивнул в сторону Рейхеля.

— А ты, Мишель?

— А я жду невесту — революцию!

И захохотал.

Потом Белинский прочел ему «Письмо к Гоголю». Бакунин похвалил энергию стиля, но заметил:

— И ты, Висяша, и Герцен, да в общем все, приезжающие из России, приносите новости литературные и университетские. Но это ж не главное. Скажите мне, какие в России новости политические?

— Сведения наши,— сказал Белинский,— зиждятся на слухах. Говорят, что крестьянские бунты размножились.

— Ну, вот видишь! Где? Сколько? Когда?

— Говорят, в Сибири и за Волгой,— сказал Герцен.— Но неточно. Возможно, что чаемое иногда выдается за сущее.

Бакунин досадливо поморщился:

— Вот вы мне все про Гоголя да про славянофилов. А я хочу слышать про дело, про революционное дело! В России, как я понимаю, при всей видимости

порядка полная анархия. Как же к этому относится народ? Предвидятся ли политические перемены? Если не снизу, то хоть сверху?

— Мне кажется, Бакунин,— сказал Герцен,— ты слишком разобщился с русской жизнью. Слишком вошел ты в интересы всемирной революции, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было событием не только литературным, но и политическим. А ты относишься к России как-то теоретически, по памяти, которая дает неправильное освещение сегодняшнему дню. У тебя исчезло чувство России.

— А такого чувства вообще нет,— заявил Бакунин.

— Думается мне, что это вопрос о корнях,— сказал Белинский.

Вопреки обыкновению, он говорил без запальчивости, задумчиво, как бы размышляя вслух:

— Да, о корнях. Ни одно поколение не может отринуть своих корней. Но попадаются люди, похожие на перелетные растения. Они летят и несут свои корни с собой. Им не нужна земля, они питаются из воздуха, все равно где. Не таков ли и ты, Мишель?

Бакунин засмеялся:

— Не вижу в этом ничего дурного.

— А я вижу! — вскричал Герцен.

Казалось, былой пыл Белинского перелился в него:

— Неужели ты воображаешь,— говорил он, иногда возвышая голос до крика,— что ваши эмигрантские беседы в кафе, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, что это — дело? Все, что вы говорите и пишете,— бесполезный шум, не доходящий до России. Вы какие-то плодовитые бесплодности. Да знаешь ли ты, что одна критическая статья Виссариона полезнее для нового поколения, чем твоя

 игра в конспирацию да в государственного человека.

Бакунин, высокий, исхудалый, сутулый сидел за столом, скручивал сигаретки и поглядывал насмешливо на Герцена и Белинского. Их доводы на него совершенно не действовали. Единственный голос, к которому он прислушивался,— это его собственный.

— Русская политика в тупике,— сказал он.— Надо уметь воспользоваться обстоятельствами. Ты, Герцен, все думаешь о статейках. Но статейки в «Современнике», эти твои «Письма с авеню Мариньи» истории не делают. Историю делают поступки.

Он вдруг повернулся к Белинскому:

— Что толку в твоей деятельности в Питере,— сказал он,— если каждую минуту к тебе может явиться будочник, схватить тебя за шиворот и поташить в кутузку? Вот и конец твоей революционной работе. Нет, Висяша, наша колония русских в Париже делает отсюда для России неизмеримо больше, чем там ты и все ваши Краевские.

Белинский вскочил. В нем словно ожила энергия.

— Ты меня возвращаешь к вопросу о корнях. Я без России — труп. Но, Мишель, и ты тоже. Ты фантазер, ты живешь в каком-то воображаемом, лунатическом мире...

Они много спорили в тот вечер. И хотя скачки́ их с темы на тему были головокружительны, в сущности, разговор шел об одном: как приблизить революцию, которая представлялась неизбежной, но чертовски запаздывала.

Сильно попало от Белинского Ламартину за поношение Робеспьера в его «Истории жирондистов», только что вышедшей:

— Ламартинишка-то умен вполовину, так и вертится, надеется когда-нибудь попасть в министры.

Не пощадил он и Луи Блана:

— Да он Вольтера совсем не понял! Как можно

было этого великого писателя третировать как бездарность?.. Это — узколобие! Это — французский Шевырев!

Молчавший до сих пор Герцен сказал:

— Не надо так швыряться ни Луи Бланом, ни, кстати, и Прудоном. Они много делают для расшатывания буржуазного общества. Они бьют по мещанскому растлению, которое пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Заметьте, что чем беднее здесь человек, тем он далее от мещанина в хорошую сторону.

Вдруг заговорил Анненков. Это было настолько неожиданно, что все с удивлением воззрились на него,— разверзлись уста молчавшего:

— Ты, Александр Иванович,— сказал он,— толкуешь слово «буржуази» туманно и неопределенно. Где ее граница? Можно ли поставить знак равенства между Ротшильдом и владельцем табачной лавочки?

— Что ж,— сказал Белинский,— может быть, это и верно. Необходимо расчленение. Вопрос о буржуазии еще не решен, его решит история. Но я знаю, что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором. Все в ней мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости.

Бакунин встал.

— Нет,— сказал он твердо,— вы все не о том. Все зло в буржуазии. Луи Блан прав: ее надо полностью уничтожить, и тогда все пойдет хорошо.

— Странный спор,— заметил Анненков,— спор, где обе стороны правы.

— Совершенно верно,— подхватил Герцен,— это, в сущности, спор о словах.

Виссарион положил руку на плечо Бакунину, как
 бы стремясь перелить в него силу своей убежденно-

сти, и заговорил тем страстным тоном, который так любил в нем Герцен:

— Пойми меня, Мишель: горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят. Торгаш есть существо по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное, ибо он служит Плутусу... Торгаш — существо, цель жизни которого нажива, поставить пределы этой наживе невозможно...

Распрощавшись с Белинским и Герценом, Бакунин пошел домой. Жил он за Сеной на улице Бургонь в скромной квартирке вместе с Рейхелем. Он ничего не зарабатывал и жил на счет Рейхеля, который давал уроки музыки.

Он остановился на мосту, оперся на перила. Обычное выражение ума и отваги сменилось на его лице гримасой досады, почти боли.

«Мне тридцать три года,— думал он, глядя в желтые воды Сены,— я еще ничего не добился. Жизнь идет мимо меня. Я полон энергии, я хочу действовать, но я не вижу точки для приложения своей силы. Народы спят, они не хотят пробуждения... Для чего я живу? Герцен прав: плодовитая бесплодность... Не разумнее ли броситься в воду и положить конец своему бесполезному существованию?..»

Но мы-то знаем, что Михаил Бакунин бросится не в воду, а в революцию, что он вскоре будет участвовать в Дрезденском восстании, а потом подымать поляков и вообще будет будоражить Европу в течение десятков лет. И все-таки Герцен был прав, назвав его плодовитой бесплодностью.

Гоголь откликнулся. В тот день Герцен повел Белинского обедать в ресторацию Кораццо в Пале-Рояле, чтобы показать ему, так сказать, Париж гастрономический. Он долго вдумчиво читал меню и заказал обед ошеломительный. Гарсоны порхали взад и вперед, то неся блюда с особым официантским шиком на поднятой руке, то катя их на передвижных столиках. Метрдотель со стреловидными усиками и мушкетерской эспаньолкой то и дело наклонялся к плечу месье Александра и обменивался с ним загадочным шепотом.

На первое был подан суп из черепах. Белинский отведал и одобрил. После говяжьего филе в мадере Виссарион объявил, что он уже сыт, но Герцен возмутился:

— А рыба?

Подали камбалу по-нормандски. Пришлось отведать. Все: метрдотель, официант и даже Герцен — настороженно смотрели на Белинского.

— Ну как? — спросил Александр Иванович обеспокоенно.

Неистовый ответил цитатой из «Мертвых душ»:

— «Произведение природы»!

Подошел запоздавший Анненков. Садясь за стол, сказал:

— От него как раз письмо.

— От Гоголя?

Анненков вынул из кармана письмо, но Герцен сказал:

— Не будем портить обед. Оставим письмо на десерт. Гоголь будет подан к кофе.

И захохотал. Виссарион улыбнулся и не возражал. Официант тем временем подал цыплят а-ля Маренго. Павел Васильевич извлек из необъятного кармана своего газету:

— А свеженький донос можно? Последний номер «Северной пчелы». Булгарин не дремлет.

Герцен сказал благосклонно:

— Донос можно. В качестве приправы. На кого?

— На меня, разумеется? — благодушно спросил Белинский, обсасывая косточку.

— Собственно, на всех, но главным образом на Герцена.

Александр Иванович выхватил газету из рук Анненкова.

— Ах, конечно,— сказал он, быстро пробегая газетные строки.— Вообрази, это по поводу заметки в «Revue Independante» *, где,— помнишь, Виссарион? — писали о нас как о «замечательных деятелях нового литературного движения в России». Подлец Булгарин тут как тут с доносом. Слушай: «Любопытно было б знать, кто сообщает эти *верные* — верные подчеркнуто — известия во французские журналы!»

— Что ж, мерзавец на посту,— заметил Белинский, все еще пребывая в мирном расположении духа.

— Зря вы, Виссарион Григорьевич, к этому так невнимательно относитесь,— молвил Анненков.— «Revue Independante» — журнал красный, во главе его Леру и Жорж Санд. Булгарин знает, что он делает. Добились же доносами того, что «Современнику» запретили печатать продолжение романа Санд «Пиччинино». В Петербурге у вас могут быть неприятности, да и немалые.

— Только-то из-за этой заметки? Полно! Дорогой Павел Васильевич, я обвешан доносами гораздо более увесистыми. Давайте-ка мы с вами лучше чокнемся этим прелестным «муммом».

Чокнуться-то Анненков чокнулся. Но не унялся.

* «Независимое обозрение». *(Франц.)*

— Да вы смотрите,— сказал он,— что пишет «Revue».

И прочел:

«К сожалению, мы вынуждены ограничиться лишь сообщением названий работ современных русских авторов. Эти авторы живы, находятся в России, и было бы неосторожно с нашей стороны подвергать рассмотрению их тенденции».

Герцен вздохнул:

— Намерения у «Revue» добрые, но такая заметка разозлит жандармов еще более...

За кофе вскрыли письмо Гоголя. Читал вслух Анненков своим мерным глуховатым голосом. Когда он дошел до слов: «...я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги, но ни одно из них не похоже на другое...» — Герцен рванулся вперед, желая что-то сказать, но Белинский жестом остановил его. Он слушал гораздо спокойнее Герцена. Того так и взмывали эти елейные, двусмысленные и благочестиво-ханжеские слова:

«...Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей, несоображении многих сторон, обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон...»

— Тартюф! — не выдержал Герцен и умолк под укоризненным взглядом Белинского.

Анненков закончил, сложил письмо, передал Белинскому. Герцен вопросительно посмотрел на него. Виссарион вздохнул и сказал спокойно, даже участливо:

— Какая запутанная речь! Да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту...

Он искренно жалел Гоголя, ведь он любил его.

Близился день отъезда. Лечение доктора Тира́ де Мальмора, казалось, возымело доброе действие. Белинский скучал в его санатории, но это была благодетельная скука. Он уже почти не кашлял, воздух свободно входил в легкие, исчезла головная боль.

Тира́ де Мальмор был им доволен.

— Признаться,— сказал он после тщательного осмотра,— я не ожидал такого быстрого действия лечения. Я смотрю на вас как на выздоровевшего. Если хотите, можете переехать в Париж.

Белинский с радостью покинул санаторий. Правда, и в Париже временами овладевала им тоска. Он скучал по дому, по Марии, по Оленьке. Он и не ожидал, что будет так тосковать по ним. Он писал жене часто и много.

Париж, огромный, шумный, блещущий огнями, порой наводил на него грустные мысли.

— Все здесь преувеличено,— говорил он,— помножено на громадные размеры. Все страсти здесь тоже должны быть огромны: алчность, разврат, легкомыслие. Но, конечно, и благородные порывы, и разработка идей и знаний. Чего больше? Как разобраться в этом умопомрачающем омуте? Да и вообще, нужны ли для прогресса такие грандиозные скопления населения, как Париж или Лондон?..

Любимым местом Белинского в Париже стала площадь Согласия. Туда он с Анненковым и пошел накануне своего отъезда.

Они взяли напрокат стулья у сторожихи, расположились на террасе. Какое мирное зрелище! И вместе — какое воинственное! Сколько исторических страстей разыгралось на этих камнях!.. Здесь покатилась голова Людовика XVI...

Виссарион что-то прошептал про себя.

— Что вы сказали? — спросил Анненков, пригнувшись к нему.

Белинский поворотился к нему и повторил:

— «Батько! Где ты? Слышишь ли ты?.. Слышу!.. и весь миллион народу в одно время вздрогнул».

Павлу Васильевичу показалось странным, что Белинскому вспомнилась здесь, в центре Парижа, сцена из «Тараса Бульбы». Виссарион тотчас понял это с той проницательностью, тем даром интуитивного постижения мыслей собеседников, которым так восхищался в нем Герцен, а ранее Станкевич.

— Не удивляйтесь, Павел Васильевич, — сказал он задумчиво. — Я люблю две нации — француза и русака, люблю их за общее им свойство. Работать не только для того, чтобы иметь средства к жизни, но и к наслаждению ею, — это значит понять жизнь человечески. В этом есть что-то широкое, поэтическое...

Прощальный вечер провели у Герцена.

Ночью Белинский укладывался. Оказалось, что много места занимают игрушки, накупленные для Оленьки. Более всего среди них радовали Виссариона альбомы с изображением зверей. Он хотел воспитать в дочери интерес к наукам, притом не столько к гуманитарным, сколько к естественным.

Да жена Герцена Наталья Александровна посылает Оле музыкальную игрушку. А их общая приятельница Мария Федоровна Корш — целый швейцарский домик.

Друзья боялись отпустить Белинского в дорогу одного. Тургенев обещал проводить его до Берлина. Потом разнежился, расщедрился душевно и сказал умиленно:

— Отец и командир! Так и быть, провожу вас даже до Штеттина. И правда, мне нужно бы срочно в Куртавнель. Но ради наслаждения побыть с вами, отец, побоку Куртавнель! Едем! Будете за мной как за каменной стеной.

А на следующий день «каменная стена» послал записку Марии Федоровне Корш:

«...Я еду сегодня. Не дайте Белинскому съесть меня живого. Будьте здоровы, до свидания через две недели...»

— Улизнул-таки в деревню к Виардо,— сказал Белинский с досадою.

Через несколько дней и он получил письмо от Тургенева:

«Вы едете в Россию, любезный Белинский; я не могу лично проститься с вами, но мне не хочется отпустить вас, не сказавши вам прощального слова... Надеюсь, что доктор Тира́ вам помог... Я хотя и мальчишка — как вы говорите — и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь... Надеюсь, если какая-нибудь дьявольщина не помешает, явиться в Петербург к Новому году. Что будет — то будет — великое слово фаталистов и людей безмозглых, как я... Да, ради бога, обратите внимание на вашу кухню — а то опять вы расстроите себе желудок... Крепко обнимаю вас. До свидания. Ваш Тургенев».

Но все-таки кто же поедет с Белинским? Анненков не собирается покуда покидать Париж. Рейхель не мог оставить Бакунина — тот пропадет без него.

Отыскался выход. Павел Васильевич нашел спутника Белинскому — привратника дома, где они жили. Славный старик Фредерик, немец, стало быть знает немецкий. Много лет живет во Франции, стало быть знает французский. Участник наполеоновского по-

хода в Россию, ординарец губернатора Москвы маршала Даву,— это обстоятельство преисполняло Фредерика особой любовью к русским.

Увы! На поезд Фредерик опоздал, потому что Белинский послал его на квартиру за оставленным там пунцовым халатом необыкновенной красоты, в котором Виссарион собирался блистать в Петербурге. Но в Брюсселе Фредерик нагнал Белинского и благополучно доставил его до Берлина. А там передал с рук на руки старому московскому знакомцу Дмитрию Щепкину, сыну Михаила Семеновича.

Вспомнили с Щепкиным старое, дачу в Химках и то, как Виссарион влюбился в Шурочку Щепкину, ныне, увы, покойную, сватовство Каткова и коварство Боткина. Щепкин занимался археологией, увлекался древним Египтом и нашел в Белинском благодарного слушателя.

Потом — Штеттин, морем до Кронштадта и, наконец, Петербург.

Стоял сентябрь, но улицы были покрыты снегом.

Европа осталась позади.

В малиннике

> Гете, как и Гегель, был в своей области настоящий Зевс-Олимпиец, но ни тот, ни другой не могли вполне отделаться от немецкого филистерства.
>
> *Энгельс*

Все удивлялись его здоровому виду. Париж сделал чудо: вернулся прежний Белинский, тот, когдатошний, вдруг бурно вскипающий радостью или негодованием, смотря по тому, какой частью повернулась к нему жизнь.

И в то же время что-то новое заиграло в нем. Широта взглядов и глубина суждений, обширные познания — все это издавна в нем. Сейчас же он прошел университет путешествий. Многое известное ему по книгам и по рассказам друзей он понянчил в руках, впитал в себя чувственно.

Несколько дней он гастролировал по друзьям питерским, рассказывал о виденном в Европе то у Панаевых, то у Миши Языкова, то у Тютчева Николая Николаевича, которого по-прежнему очень любил,— да и Мария Васильевна к нему благоволила,— а то и у себя в новой просторной квартире на Лиговке, со старыми липами во дворе и с двумя сидящими у крыльца львами несколько мопсообразной внешности, а то в редакции «Современника», куда, приехав, он с разбега врезался по макушку и где с таким талантом распоряжался Некрасов. А впрочем, Неистовый метнул в него стрелу:

— А все-таки вы...

Хоть Некрасов на десяток лет и моложе, Белинский никак не чувствовал себя взрослее его, нет, нет! Что-то было в Некрасове основательное, веское, не позволявшее назвать его, скажем, «молодой глуздырь» и обратиться к нему на «ты», а только:

— Николай Алексеевич! А все-таки не послушали меня, тиснули в седьмой нумер из этой Гетевой туши — «Избирательного сродства» — жирненький кусочек,— как вы его там назвали? «Отиллия»?

— Не я, переводчик назвал, Виссарион Григорьевич. А что, нехорошо?

— Кронеберг перевел, как всегда, недурно. А я, что ж, одержал блистательную победу по части терпения — прочел.

— Все-таки Гете,— смущенно сказал Некрасов,— да и роман знаменитый.

— Совершенно справедливо, сродство душ: девушка переписывает отчеты по управлению имением; герой романа замечает: чем дальше, тем больше почерк ее становится похож на его почерк. «Ты любишь меня!» — восклицает он, бросаясь ей на шею. Думал ли я, что великий Гете, этот олимпиец немецкий, мог впасть в такое неправдоподобие в этом прославленном его романе!

— Но ведь мысль романа...— пытался оправдаться Некрасов.

Белинский отмахнулся:

— Знаю, знаю! Умна и верна, но от такого художественного развития этой мысли увольте! Ладно, умолкаю.

Некрасов с облегчением вздохнул. Преждевременно, я сказал бы!

— Но,— продолжал Белинский, неумолимо тыча в него пальцем,— буду писать обзор литературы за год, уж роман этот не обойду молчанием, даром что он напечатан у нас в журнале.

Некрасов подумал легкомысленно: «До конца года забудет». Плохо же он знал Белинского, хоть и обожал его и считал счастьем работать рядом с ним.

Надо сказать, что друзья несколько переоценивали телесное воскрешение Белинского. Во время водворения на новую квартиру, всей этой беготни да суетни снова охватил его лихорадочный жар и изнеможение.

К кому обратиться? Да к кому же, если не к Тильману. Доктор, насупившись, посмотрел на свет парижские микстуры, зачем-то взболтал их и велел отставить. А Тира́ де Мальмора назвал шарлатаном. Хорошо Виссарион не послушал Тильмана, а послушал Марию и тайком от петербургского врача принимал лекарство парижского. И прошло нездоровье.

— Только как, Мари, сказать об этом Тильману? Обидится! Врачи — они ведь вроде вас, женщин, по части самолюбия и ревности.

— Это уж мое дело. Тут нужен такт. Я сумею так сказать, что все обойдется.

И обошлось. Тильман смягчился и разрешил продолжать лечение микстурами де Мальмора. Он только сказал, что эти парижские снадобья ничего особенного из себя не представляют, и он Тильман, сам, видите ли, ими лечит. Вот и пойми их, медиков этих...

На новой квартире в кабинете обои покойные, палевые, и все удобно — и мягкое зеленое кресло у стола, и две этажерки рядом с нужными для справок книгами и папками, и самый стол, обширный, с зеленым сукном по красному дереву, с глубокими недрами ящиков, с лампой, которая, впрочем, никогда не зажигается, ибо Виссарион не выносит запаха олеина, а пользует свечи с приятными абажурчиками. Радует глаз образцовый порядок, в коем разложены многочисленные перья, карандаши, востренькие перочинные ножички, кипки писчей бумаги, все аккуратно подобрано, очинено, все можно брать не глядя. И, как основной источник вдохновения,— чернильница тяжелого темно-синего стекла, успокоительно неисчерпаемая, могучая как утес. Словом, только пиши!

Свет льется из двух больших окон. Видно, как с лип слетают, кувыркаясь, желтые листья, предвестники промозглой, злой питерской осени. Но в кабинете тепло, уютно, только пиши!

Оглянешься — стены в книгах, целая библиотека. С высоты шкафов, из-под потолка, как с небес, Вольтер и Руссо осклабились мраморными улыбками.

И далее Пушкин, и Гете, и Гоголь. Подымешь глаза от стола, тебя встретят устремленные из рамок взгляды Жорж Санд, Шиллера и среди этих великих — незабвенный друг Амур-Ревнитель — Коля Станкевич. Все ждут, все зовут, все поощряют — только пиши!

А устал — то ли мысль заплутала, то ли слово нужное нивесть куда закатилось — не найдешь, то ли требуется изобрести какое-то ловкое выражение, чтобы проскользнуть сквозь цензурные клещи,— ложись на диван под картой Европы во всю стену, обитый пунцовой тканью под цвет парижского халата, поразмысли в неге, и сразу в голове прояснится, и пропавшее слово откуда-то выкатится, и для цензуры возникнет головокружительный выверт, только пиши!

— Да, уж теперь я в малиннике, а не в репейнике,— говорил Белинский.— Все же двенадцать тысяч в год получаю. Правда, из них большая часть — восемь тысяч — уже вперед забрана, и за время заграничной поездки ничего не отработано. Но ведь впереди не тьма кромешная, как было прежде. «Современник» спас меня и продолжает спасать. А главное, я могу делать что хочу. У Краевского я писал даже об азбуках, о песенниках, о гадательных книжках, о поздравительных стихах швейцарских клубов, о руководствах по выведению клопов. Мой труд нынче больше качественный, чем количественный. Уже не редакция мне говорит, что я должен делать, а я уведомляю ее, что я хочу или считаю нужным делать. Одна только беда... Удар сзади. И Боткин, и Грановский, и Кавелин продолжают сотрудничать в «Отечественных записках». Уговорились они погубить «Современник», что ли? Моему журналу надо стать на ноги, окрепнуть. А они, честные люди, остались вместе с этим пошляком и мерзавцем Краевским!

Все это он говорил Тимофею Всегдаеву, коего Неистовый давно привык рассматривать как сосуд, поглощающий его излияния. По покорной молчаливости своей и безоговорочной преданности Всегдаев вполне подходит для сего. Правда, на этот раз он не один: рядом, покручивая недавно отпущенную бородку-эспаньолку и зорко поглядывая по сторонам, сидит Валерий Разнорядов. Пришел он отдельно от Всегдаева, совершенно самостоятельно и притом не с пустыми руками, а с ворохом астр, да таких чудесных, что Виссарион ахнул от восторга и сразу расположился в его пользу,— вот ведь внимание какое! Тимоша косится на Валеру обеспокоенно: унюхал-таки, змея, как вернее всего подползти к сердцу Неистового — по дороге цветов!

— А я вот со своей повестью к Краевскому не пошел,— сказал Разнорядов с достоинством.

— Пойдешь,— вдруг пробасил Всегдаев и густо покраснел.

Разнорядов зыркнул на него с неудовольствием:

— Ты меня плохо знаешь, брат.

— Пойдете,— подтвердил Белинский с глубоким убеждением.

Разнорядов попробовал было сложить лицо в гримасу оскорбленной невинности, но так как оно никак не складывалось в этом направлении, то он бросил сие занятие и сказал:

— Но ведь «Отечественные записки» издаются в одном духе с «Современником», и можно только радоваться, что у нас вместо одного два хороших журнала.

Тут даже Тимоша глянул на него одобрительно.

Но Белинского это, видать, возмутило. Он взорвался криком столь бешеным, что в двери показалось

строгое, красивое и встревоженное лицо Марии Васильевны:

— Это ваше мнение! Что касается меня, то я думаю иначе. По моему убеждению, журнал, издаваемый свинцовой задницей...

Лицо Марии Васильевны мгновенно исчезло.

— ...вместо мыслящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного.

Он закашлялся, отпил из стакана воды, провел рукой по влажному лбу. Всегдаев встал.

— Мы утомили вас, Виссарион Григорьевич...

И посмотрел выразительно на Разнорядова. Но тот и не думал подыматься. Ногу заложил за ногу, вольготно откинулся на спинку дивана. И спрашивает:

— Что новенького готовите, Виссарион Григорьевич? Заждались мы ваших статей. А без них как без воздуха.

Белинский улыбнулся.

— Знаете ли, какие лучшие мои статьи? Те, которые не написаны. Я слагал их в голове во время поездок, гуляний, словом, в нерабочее мое время, когда ничто извне не понуждало меня приняться за работу. Боже мой! Сколько неожиданных мыслей! Сколько страниц страстных, огненных! И многое, что особенно хорошо в моих печатных статьях, большей частью — ослабленные отрывки из этих в праздной голове слагавшихся статей.

Он поднялся, зашагал по комнате, продолжая говорить:

— Я не обольщен моим талантом. Скажу вам, благо я уж разболтался, я знаю: моя сила не в таланте...

Он отмел энергичным жестом протестующие возгласы Всегдаева и Разнорядова.

— ...Да, не в таланте. А — в страсти, в том, что мои статьи и я — всегда нечто нераздельное.

— Но ваше письмо к Гоголю...— начал Валера.

Тимоша с ужасом посмотрел на него, потом на Белинского.

— Гоголь? — задумчиво повторил Виссарион, словно одно только это имя и дошло до него.— Гоголь не талант, а гений. Но гений бессознательный. И все гении действуют именно так. Я от этой мысли года три назад с ума сходил, а теперь она для меня аксиома без исключений. Петр Великий не исключение. Он был домостроитель, хозяин государства, на все смотрел с утилитарной точки зрения: он хотел сделать из России нечто вроде Голландии и построил Петербург — Амстердам. Но разве только одно это малое и вышло из его реформы? Гений — инстинкт, а потому и откровение: бросит в мир мысль и оплодотворяет его будущее, сам не зная, что сделал, и думая сделать совсем не то...

Он вдруг прервал себя и кинул взгляд на Разнорядова:

— А что вы там записываете?

— Ваши драгоценные мысли. Виссарион Григорьевич.

— Для чего?

А Всегдаев вставил угрюмо:

— И для кого?

— Для себя,— сказал Валера невозмутимо.

Вошла Мария Васильевна:

— Извинись перед друзьями, Виссарион. Тебе по предписанию врача сейчас надо принять микстуру, а потом спокойно лежать не менее часа.

— Только разговорились,— пробормотал Валера, пряча в карман истрепанную тетрадку.

А в новом кабинете действительно работается славно! За шесть дней — три с половиной печатных листа! Ничего себе, а? И вправду: только пиши!

Это был ответ заносчивому невежде Самарину, возомнившему себя мыслителем и вожаком того, что он называл: «московское направление». А «направление» это только и состояло, что из Шевырева, да Погодина, да Хомякова. Числились в нем еще Костя Аксаков да батюшка его Сергей Тимофеевич. Но чистоплотные Аксаковы брезгали вплотную приближаться к сим трем мостовым быкам «направления». В стороне держались и братья Киреевские. А более в «направлении» никого и не сыщешь.

Статьей своей Самарин вознамерился испепелить «Современник» и всю эту ораву «натуральной школы», сжечь дотла Некрасова, и Панаева, и Тургенева, и Кавелина, и Герцена, и Григоровича, и всех прочих «западников», но главным образом Белинского, оставив от него только чадящие головешки. Этот огонь, низведенный с беспорочных самаринских небес, именовался: «О мнениях «Современника» исторических и литературных» и был явлен в № 2 журнала «Москвитянин» за сорок седьмой год и подписан замысловатым псевдонимом: М... З... К.

Кавелин огрызнулся, правда, на статью Самарина. Но Белинский остался недоволен его сдержанным тоном. Надо было высечь и раздавить холодного, самолюбивого, завистливого, мелкого, посредственного литератора. Так же считал и Герцен, написав московским друзьям, что «Кавелин слишком серьезно возражал; его следовало бы истерзать колкостями».

Белинский и истерзал. Статью свою «Ответ «Москвитянину»» он не подписал, чтобы подчеркнуть, что она выражает мнение всей редакции «Современника». Но кто бы не узнал разящего пера Неистового!

«Писатели риторической школы,— писал он,— ставят в особенную вину Гоголю, что вместе с пошлыми людьми он для утешения читателей не выводит на сцену лиц порядочных и добродетельных. В этом с ними согласны и почитатели Гоголя из славянофильской партии... Они говорят: разве в жизни одни только пошлецы и негодяи? Что сказать им на это? Живописец изобразил на картине мать, которая любуется своим ребенком и которой все лицо — одно выражение материнской любви. Что бы вы сказали критику, который осудил бы эту картину на том основании, что женщинам доступно не одно материнское чувство, что художник оклеветал изображенную им женщину, отняв у нее все другие чувства?..»

В стекла бил дождь. Мир заволокся зыбкой пленкой. Искривились липы за окном, одна ветка беспокойно стучалась в стекло, словно просилась в теплый дом из промозглого колючего мира. Виссарион ничего не видел и не слышал, он писал:

«...Творчество по своей сущности требует безусловной свободы в выборе предметов не только от критиков, но и от самого художника. Ни ему никто не вправе задавать сюжетов, ни он сам не вправе направлять себя в этом отношении. Он может иметь определенное направление, но оно у него только тогда может быть истинно, когда без усилия, свободно сходится с его талантом, натурою, инстинктами и стремлением. Он изобразил вам порок, разврат, пошлость: судите, верно ли, хорошо ли он это сделал; а не толкуйте, зачем он сделал *это,* а не *другое,* или вместе с *этим* не сделал и *другого...»*

Вошла Мария Васильевна со стаканом чая, тихонько, стараясь не звякнуть, поставила его на стол и бесшумно удалилась.

Белинский потянулся рукой к этажерке, снял кни-

гу, полистал и, найдя нужное место, снова склонился над рукописью:

«...Недавно один из них, г-н Хомяков с редкой в наш хитрый и осторожный век наивностью объявил печатно, что в нем чувство любви к отечеству «невольное и прирожденное», а у его противников — «приобретенное волею и рассудком, так сказать, наживное» («Московский сборник», 1847, стр. 356). А вот теперь г-н М... З... К. объявляет в пользу себя и своего литературного прихода монополию на симпатию к простому народу!..»

Тут Белинский подумал: а не вписать ли ему коечто, ставшее известным о Хомякове, о его бессовестной эксплуатации своих крепостных? Отчизнолюбец этот держал почту в Тульской губернии. Ямщики — всё его крепостные. Так как этот прирожденный обожатель народа заботился больше о лошадях, чем о людях, то он пригрозил ямщикам, что у кого падет или испортится лошадь, того этот патриот и гуманист отдаст в солдаты. Да так и делал.

Да нет, не стоит. Хомякову и так недавно попало от него, Белинского, за надутую величавость его статьи «О возможности русской художественной школы», за самохвальство, лицемерие и деланную, крикливую любовь к народу.

Виссарион снова вернулся к Самарину, высмеял его утверждения о том, «что русскому обществу надо воротиться назад и снова начать свое самобытное развитие с той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться с народом, который будто бы сохранил в чистоте древние славянские нравы...»

Он задумался. Ему казалось, что он что-то упустил в предыдущих звеньях своей статьи, какую-то важную мысль, какое-то очень нужное уточнение. И не мог вспомнить. Это было признаком того, что он

устал. Может, отдохнуть? И в этот момент, когда подымался с кресла, чтобы перейти на диван,— потерянная мысль вспыхнула во всем своем блеске, и он, быстро полистав рукопись, вписал:

«Нет, если он хотел, почему бы то ни было, уничтожить натуральную школу, ему бы следовало, оставив в стороне ее направление, ее, как он вежливо выражается, клеветы на общество, разобрать главные ее произведения на основании эстетической критики, чтобы показать, как мало или как вовсе не соответствуют они основным требованиям искусства. Тогда уже и их направление само собой уничтожилось бы, потому что когда произведение, претендующее принадлежать к области искусства, не выполняет его требований, тогда оно ложно, мертво, скучно, и не спасает его никакое направление. Искусство может быть органом известных идей и направлений, но только когда оно прежде всего — искусство. Иначе его произведения будут мертвыми аллегорическими холодными диссертациями, а не живым воспроизведением действительности...»

Вечером забежал Григорович. Мария Васильевна не пустила его к Белинскому. Но уйти не позволила. Они уселись в гостиной. Агриппина приготовила кофе. Оленька сидела на полу и возилась с швейцарским домиком.

Разговор шел по-французски. Несколько напряженный институтский язык сестер Орловых отличался от живой непринужденной речи Димы Григоровича. В конце концов Мария Васильевна сказала:

— Дмитрий Васильевич, вы говорите, как француз.

— Боже мой,— сказал Дима,— я и есть полуфран-

цуз. Матушка моя, Сидония Петровна Вармо, природная южная француженка.

Он был красив, высок, строен, щеголеват. Кудри на прямой пробор, пушистые бакенбарды, светлый жилет в мелкую клетку, монокль на шелковом шнуре. Очень жив, остроумен, шармёр, но без всяких стараний. Он как-то непроизвольно излучал из себя милую сообщительность. С женщинами чувствовал себя увереннее и был с ними умнее, чем с мужчинами.

Узнав, что Виссарион Григорьевич работает, просил не беспокоить его.

— Я ведь — не подумайте — при всей живости моей натуры я тоже трудолюбив. Мараю, переделываю, переписываю, переправляю. А как же!

— Глядя на вас, не поверила бы,— сказала Агриппина несколько кокетливо.

Дима возражал с жаром:

— Я писатель вертикальный. Не смейтесь: я работаю вглубь. А вот, например, Дюма — писатель горизонтальный — вширь, по поверхности, одно скольжение. Нет, mesdames *, не доверяйте внешности, вид у меня городской, но ведь я — деревенщина, мужик.

Лицо его омрачилось. Он вынул из кармана смятый журнал «Ералаш».

— Смотрите, как меня изобразили.

Сестры заахали, Карикатура изображала Диму. В преувеличенно франтовском наряде он копается в куче навоза, а из окна баба поливает его помоями. Благоуханный рисунок! И подписано: «Неудачное отыскивание Акулин в деревне».

Они не заметили, как вошел в комнату Белинский.

— Не обращайте на это внимания,— сказал он.— Ваш «Антон-Горемыка» — удивительная вещь. Она

* Сударыни. *(Франц.)*

наводит на грустные и важные мысли. Она меня измучила. Читая ее, я все думал, что присутствую при экзекуции. И такое чувство, как будто меня самого отодрали кнутом. Страшно! Какое изучение русского простонародья!

— Там есть длинноты,— сказал Дима скромно.

— Не заметил. Или, лучше сказать, упивался длиннотами, как шампанским, которое теперь для меня тем соблазнительнее, что запрещено мне на всю жизнь. А какое описание ярмарки, подробное до мелочности! Превосходная повесть!

Дима краснел от удовольствия. Дамы ласково смотрели на него. Когда он ушел, Белинский сказал:

— Поди ты, ведь пустейший человек, а талант, да еще какой!

И все же, несмотря на прелести удобного кабинета, на свободу рук в «Современнике», Белинского потянуло в Москву. Он благополучно перевалил за петербургскую осень. Он боялся приближения весны. Его манила средняя Россия, крепкая зима, сухая осень, покойная и нежная весна. Миазматический, болотный Питер страшил его. И хотя он храбрился и писал Мите Иванову, что чувствует себя «очень порядочно», но тут же: «я слаб, хил, плох...» И решил уже:

«Насчет переезда в Москву думать не перестал; но смущает мысль, что до открытия железной дороги еще далеко. Посмотрим, как перенесу зиму и весну: коли плохо, то в июне в Москву на переселение».

Он не знал, что вокруг железной дороги, хотя она вроде бы и начала строиться, шла борьба. Главный противник — министр финансов граф Егор Францевич Канкрин. Николаю Тютчеву удалось достать

копию его докладной записки, где министр уверял, что железная дорога «не составляла предмета естественной необходимости, а только искусственную надобность и роскошь», усиливая «наклонность к ненужному передвижению с места на место, выманивая притом излишние со стороны публики издержки».

И это один из просвещеннейших министров! Когда он умер, борьба против железных дорог продолжалась. Источник ее, в общем,— это, конечно, отсутствие средств. Сюда присоединилась боязнь вторжения европейских капиталов.

К счастью, в одной из поездок Николая I по России его коляска на отвратительной дороге перевернулась, царя вывалило, и он несколько недель провалялся с треснувшим ребром и сломанной ключицей. И, главное, где? В Чембаре, на родине Белинского, что того немало тешило. После этого строительство железных дорог закипело.

До весны было далеко, зима в разгаре. Однако напрасно Белинский давал снисхождение питерской зиме, только утешал себя,— такая же дрянь промозглая, как осень и весна. Он простудился, начал валить его грипп, болезни привязывались к нему охотно. Его тряс озноб, тщетно Мария укрывала его двумя одеялами и пледом. Задыхаясь, он приподымался, сухой нервический кашель сотрясал его. Он худел. С тоской смотрела Мария на проступившие кости его лица. Скулы его всегда были велики, а тут они стали непомерны, как два утеса среди отступившего моря, словно обнажилось иссохшее дно его лица.

Его бесило, что он не может писать. «Взгляд на русскую литературу 1847 года» вышел только одной статьей. Обещанная вторая не появилась во втором

номере «Современника». Все ощущали это как гибель Белинского. Он же ощущал это только как скандал. Вторую статью он принялся диктовать Марии.

Тильман ставил ему мушки и утешал, что все обойдется. Заставлял выезжать на воздух. Сборы начинались с утра.

— Где мой намордник? — кричал Виссарион.

Панаев, забежавший, чтобы помочь, не понял.

— Да вот,— проворчал Белинский,— выдумал его на мое горе какой-то черт англичанин, чтоб ему подавиться куском ростбифа.

Он старался не терять чувства юмора. «Намордник» — это какой-то особенный ингалятор.

— Видишь, Иван Иванович, сделан он из золотой проволоки и стоит двадцать пять рублей серебром. Я богач, я дышу через золото, только в карманах попрежнему не нахожу его.

Все кругом смеялись, делали вид, что все в порядке, и доктор Тильман заявлял во всеуслышанье:

— Ваши легкие, Виссарион Григорьевич, теперь в гораздо лучшем состоянии, чем три года назад.

Так хотелось этому верить!

Лежа на диване, он диктовал Марии вторую статью из «Взгляда на русскую литературу 1847 года». Иногда жена не поспевала за быстрой речью его, он старался не сердиться. Когда он кашлял, она терпеливо ждала. Все это было тяжело, и все же она была счастлива, что они работают вместе. Ее восхищала плодовитость его мысли, ее точность, ее изящество. Она писала:

«...Художественность изложения! Недаром же историков называют художниками. Кажется, что бы делать искусству (в смысле художества) там, где писа-

тель связан источниками, фактами и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание...»

Она клала перо.

— Ты устала?

— Да.

— Ну, поди отдохни.

Она нисколько не устала. Она хотела дать ему отдохнуть. Она еще не видела человека столь жадного на работу. Она понимала: мысль его не могла остановиться, он писал статью в уме, невозможность воплотить ее, вылить ее на бумагу причиняла ему муки. Ей становилось жаль его. Она возвращалась к столу и брала перо. Он благодарно улыбался и диктовал:

«...Но молодому Адуеву не удалось насладиться, хотя на мгновенье даже, ложною известностью: его не допустили до этого и время, в которое он вышел со своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастье состояло не в том, что он был бездарен, а в том, что у него вместо таланта был полуталант, который в поэзии хуже бездарности, потому что увлекает человека ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарование в своем поэтическом призвании...»

Иногда он замолкал. Она терпеливо ждала. Она понимала: работа мысли. Молчание затягивалось. Она взглядывала на него. Глаза его закрыты.

Она испуганно вскочила и подошла к нему. Грудь его нервно вздымалась. Она облегченно вздохнула. Он

спал. В груди его что-то хрипело, рвалось. Она заслонила от него свет.

Как тяжело он спит...

Страсти Прометеевы

Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре.

Маркс

Белинский поудобнее расположился в кресле, самом уютном месте в кабинете. Он устал, но голова возбуждена и работает необыкновенно четко. Какая-то мысль тревожит его, он не может схватить ее — ускользает, но не уходит, притаилась где-то в темном углу сознания, дразнит.

Он рассердился на себя. Взглядом скользнул на колени, там лежала книга... Господи! Он рассмеялся. Вот оно что, оказывается. Все он же, Прометей. Всю жизнь рядом...

Еще в ранней молодости писал Виссарион, что в образе Прометея он видит воплощение идеи «непоколебимой человеческой воли и энергии души, гордой в страданиях». Неужели тогда уже провидел Неистовый свои страдания и свое мужество в них?

Помнился явственно и тот день, когда Станкевич сунул ему в руки томик Платона в дурном переводе Шлейермахера. И снова тогда ожгли его слова Протагора о дарах Прометея людям.

А потом — гетевский «Прометей», хоть и неоконченный, в питерском альманахе «Утренняя заря». Виссарион тогда же написал Панаеву:

«Перевод «Прометея» чудо».

И немедленно отозвался о нем в «Московском наблюдателе» как об одном «из самых богатых, самых роскошных перлов альманаха».

Было что-то предопределенное в неотступном следовании Прометея плечом к плечу с Виссарионом. В том же году в Москве была выставлена картина старого итальянского художника Доменикино Цампиери «Прометей».

Белинский не мог забыть ее. Только закроешь глаза, предстает в воображении могучая истерзанная плоть титана. Виссарион так и писал в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»»:

«И теперь еще вижу перед собою эту перепрокинутую фигуру, из судорожно растворенного рта которой, слышится, исходят глухие стоны, исторгающиеся из груди, а не из горла, — а на челе, сморщенном и напряженном от невероятного страдания, как светлый луч в глубоком мраке, проблескивает торжество победы...»

Откуда же торжество победы среди мук? Откуда?

Виссарион не пропускал случая прославить Прометея. Во всем он находил повод для этого. В русских былинах, например. В статье своей «Древние российские стихотворения, собранные Киршей Даниловым» он писал, что Прометей— «сила рассуждающая, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости». Он восхищался Прометеем, восставшим на Зевса мыслью и словом, и Зевс ничего не может поделать своими громами и молниями против мысли и слова.

В те же августовские дни сорок первого года получил Виссарион письмо от Огарева, и в этом письме Николай Платонович прислал ему свои новые стихи — какие бы вы думали? — «Прометей»! Стихи, по правде сказать, неяркие. Но противиться прометеевой

теме Белинский не мог. Он опубликовал их в октябрьской книжке «Отечественных записок».

Виссарион откинулся на спинку кресла, задумался. На коленях у него диалоги Платона, только что заново переведенные Василием Карповым. Снова перечел он эти строки, некогда опалившие его:

«И вот в недоумении, какое бы найти средство помочь человеку, крадет Прометей премудрое уменье Гефеста и Афины вместе с огнем... В том-то и состоит дар Прометея человеку...»

— А может быть,— подумалось Виссариону,— сказано тут не только об огне вещественном, но и душевном, о страсти к познанию, к добру, вдвинутой в это создание из глины и слез...

Веки его сомкнулись. И снова, как это с ним бывало и раньше, на изнанке этих маленьких тонких завес стали мерцать видения: облака над горами, некогда виденными им в Пятигорске, и орлы, и черепахи, и Гермес в крылатых сандалиях, легко несущийся по воздуху, и голубые мундиры жандармов, и театр, переполненный зрителями, и распятие все в крови, да, все в крови, и могучий, как палица, палец Прометея, на котором сверкает железное кольцо с вделанным в него обломком скалы...

Спит? Голова лежит на спинке кресла. Он ведет разговор со своим воображением.

С самого утра смиренномудрый бог огня Гефест не в духе. Поминутно летает он из одной своей кузни на острове Лемнос в другую — на огнедышащей

горе Этне в Сицилии. Вулкан был его гигантским горном.

Хмур хромой бог-кузнец. Не по духу ему поручение Зевса. Но как ослушаться? Громовержец упечет его в преисподнюю, в страшные узилища Аида.

Сунул Гефест в мешок клещи, молот, цепи, алмазный клин, с трудом вскарабкался, проклиная свое калечие, на крылатого коня и полетел в железнорудную страну Кавказ. Он знал, что Зевсов соглядатай Гермес следит за каждым его шагом.

Но почему расправа поручена именно ему, Гефесту, который так любит Прометея? Разве мало палачей у деспота? Разве жандармы его, Кротос-Власть и Бия-Сила, не справились бы с этим?

Нет, видимо, Зевс догадывается, что кража огня из кузни произошла не без ведома его, Гефеста. По правде сказать, бог огня действительно отвернулся в тот момент, когда Прометей втянул пылающий уголек в полый тростник и спрятал его под одежду. Да, прикрыл глаза, сделал вид, что не замечает, ибо, как и Прометей, желал добра людям.

И вот сейчас Зевс, недоверчивый и подозрительный, как все тираны, испытывает верность Гефеста. Отвергнуть позорное поручение? Восстать? Погибнуть со славой? На это Гефеста не хватает. Он умен, искусен в ковке, он талантливый механик, скульптор, ювелир, но духом слаб и покорен. Смиренномудрый... В каком еще уголке Вселенной могло бы родиться такое удивительное слово, где блеск ума противоестественно сопряжен с безропотной покорностью?..

Но разве дело только в этой краже? Когда-то Прометей помог Зевсу взойти на престол. Но вскоре разочаровался в нем. Новый боговластелин оказался жестокосердным, развратным, коварным, падким на лесть, мелочным и мстительно неумолимым.

Прометей стал подшучивать над туповатым тираном. В этом он был мастер. Недаром при дворе Зевса называли Прометея «чрезмерно язвительным хитрецом». Самое имя его обозначает: «устремленный мыслью вперед».

Делили быка, поручили это Прометею, ведь он был тогда в чести. Отчаянно смелый шутник захотел поиздеваться над Всемогущим. Сочное мясо, вкусные потроха он прикрыл грязной зловонной шкурой быка, а на кучу голых костей набросал жирные заманчивые ломтики сала. И подмигнул окружающим: дескать, что выберет наш Преславный, наш Величайший из всех бессмертных богов.

Молниевержец свирепел от насмешек. Но затаил злобу. Терпел до поры до времени. Ждал удобного случая.

Дождался: кража государственного огня! Преступление! Измена! Да он бунтовщик! Заговорщик! Разжаловать его из титанов! В ссылку!

А как узнал Высокоцарствующий о похищении огня? От доносчиков. Предусмотрительный Зевс заслал их в самый дом Прометея. Титан жил вместе со своим братом Эпиметеем. Но если имя «Прометей» означает «провидец» или «устремленный мыслью вперед», или «прозорливый», попросту «дальновидный», то имя «Эпиметей» значит «отстающий» или «непроницательный», или «обращенный мыслью назад», попросту «балда». Подослал к нему Зевс красавицу Пандору, прекрасную ликом, но подлую душой. Притом — щеголиха, одетая по последним афинским модам. Вкралась она в дом к братьям, прельстила простодушного Эпиметея и стала его женой. А ставши, выполнила порученное ей Зевсом: открыла свою шикарную золотопарчовую сумку. А в сумке той — горести и страдания, болезни и несчастья, тяготы и

беды, и в том числе — соглядатаи, клеветники, доносчики.

(Виссарион присвистнул:
— Так вот откуда выполз Булгарин!)

Тяжек был приговор Зевса: сослать Прометея в отдаленные края и держать его там в оковах пожизненно.

— Ну что,— говорил конвоир Кротос-Власть, грубо подталкивая Прометея,— где ж твои люди, которых ты облагодетельствовал огнем? Почему они не спасают тебя? А? Им плевать на тебя! Верно говорю?

Прометей молчал. Безмолвие людей, их бездействие были для него горше всего.

Тут Бия-Сила вставил словечко. Он был поехиднее:

— Люди ему сочувствуют. Только втихомолку. Чтоб никто не проведал.

А ведь вправду Прометей облагодетельствовал людей. Начать с того, что он их изобрел. Да, он слепил их из глины, замешав ее на слезах, дабы внести в свое создание соль страстей.

Правда, первый опыт был неудачен. Но это потому, что Прометей доверил продолжить свое дело брату. А Эпиметей, как сказано, не проворен умом. Даже вежливый Платон замечает, что он «не очень-то мудр». Эпиметей рассовал по людям свойства и способности как попало. Скажем, одних людей наделил быстрыми ногами, чтобы спасаться от врагов, другим дал гигантские размеры и устрашительную наружность, чтобы врагов отпугивать, третьим — толстую непробиваемую шкуру, четвертым — крылья и т. д.

Глянув на его работу, Прометей поскреб в затылке и молвил:

— Н-да, братишка-то наломал-таки дров...

И, как ни трудно, принялся поправлять. А глины-то осталось — кот наплакал. Пришлось отщипывать от животных, даже от насекомых. Потому-то, мы с вами и получились такие разные: одни холодные, как рыбы, другие острые, как осы, третьи по-лисьи хитрые, четвертые по-львиному храбрые, пятые глупы, как бараны, другие преданы, как псы, или рассудительны, как слоны, болтливы, как попугаи, молчаливы, как сычи, безобразны, как осьминоги, или обаятельны, как колибри.

Каковы бы люди ни были, Прометей не оставил их отеческими заботами. Научил строить жилища. Одарил домашним скотом. Показал, как сеять и жать, как похищенным у богов огнем обрабатывать металлы, как строить корабли. Наделил людей грамотой, внушил им искусство врачевания.

И все это богоравный титан делал бескорыстно — из любви к человеку. Дело в том, что он и в человеке находил нечто богоподобное.

Кротос-Власть и Бия-Сила не спускали глаз с Гефеста, пока он приклепывал руки и ноги Прометея к скале. Грохот шел по горам. И Эльбрус, и Казбек рассылали эхо во все стороны, и в страну Скифов, и в страну Амазонок, в самую Эфиопию, в недра африканских песков. Однако что означал этот гул, никто не знал. Думали, что это раскаты дальнего землетрясения.

Распяв титана, Гефест хотел удалиться. Но Кротос-Власть закричал угрожающе:

— Старик, рано собрался!

И толкнул ногой его мешок. Там что-то загремело. Гефест тяжело вздохнул и вынул из мешка

алмазный костыль. Все, на что решился Смиренномудрый, это пробормотать сквозь зубы:

— Как ремесло мое мне ненавистно...

Приставив костыль к груди Прометея, он принялся молотить по нему. А так как бог был добросовестным рабочим и в своем ремесле брака не допускал, то он увлекся работой, вбил костыль на славу, так, что он, пронзив грудь и спину титана, глубоко и прочно вошел в скалу. Даже залюбовался Кователь своей работой.

И вдруг очнулся и залился слезами.

Прометей не проронил ни звука. Он плотно сжал губы. Он страдал молча и гордо. Увидев, что Гефест стирает слезы своей загрубелой рукой кузнеца, размазывая по бородатому лицу копоть, он посмотрел на него с жалостью.

Даже Кротос-Власть не выдержал и проворчал:

— Чего ревешь? Здесь ремесло твое не виновато.

Но тут же спохватился — не донесет ли на него его друг и сослуживец Бия-Сила? — и закричал:

— Ну ты, Прометей, смутьян и вор, посмотрим, как твои людишки избавят тебя от мучений!

А Бия-Сила своим сладчайшим голоском добавил:

— А ведь тебя, Прометей, зовут прозорливым. Как же ты выкрутишься теперь? А?

Такими изысканными шуточками обменивались Кротос-Власть и Бия-Сила. Они ведь тоже не кто-нибудь, не первые встречные на Олимпе, а хоть и второстепенные, но божества. Ибо придворный сан Прометея повелевал, чтобы его задержали не простые солдаты, а высокопоставленные дворцовые чиновники.

Белинский кивнул головой:

— Примерно, Бенкендорф и Дубельт.

Усмехнулся:

— Меня-то, верно, брать придет просто квартальный.

Плохо знали Зевса те, кто думали, что этим он ограничит мучения Прометея.

Он избрал для титана пытку поизощреннее. Железоклювый Орел, эта крылатая собака Зевса, прилетел к прикованному Прометею, когтями разодрал ему живот и впился в печень. Он стал это делать точно через день,— стало быть, давал денек печени отрасти и на завтра снова исклевывал ее. Так придумал сам Всеобщий Благодетель.

Но еще сильнее, чем эта незаживающая рана, мучила Прометея собственная беспомощность. Уязвленная гордость его страдала больше, чем истерзанная печень. Он сказал:

— Я подобен врачу, который заболел и не может измыслить сам себе лекарства.

Слова эти поразили Орла. Он поднял свой окровавленный клюв, посмотрел на Прометея, но ничего не сказал.

В один из последующих дней он вдруг — к изумлению Прометея — проговорил слегка охрипшим от молчания клекотом:

— О тебе все говорят, что ты очень умен. Почему же ты не придумал способа освободиться?

Прометей покачал головой, насколько позволял ему железный ошейник, охвативший горло.

— Увы! — сказал он с горечью.— Я беспомощен не потому, что прикован к скале, а потому, что Разум слабее Слепой Необходимости.

С каждым днем они говорили все больше. В голосе Орла появились нотки уважения, иногда даже

восхищения. Речи Прометея завораживали его. Хоть и прикованный, титан не лишился красноречия. Недаром он был покровителем адвокатов, докладчиков, агитаторов. Зевс сделал ошибку: он не приковал язык Прометея.

По-прежнему Орел прилетал к скале через день. Но работал уже спустя рукава — можно было бы сказать, если бы у птиц были рукава. Исправный служака превратился в ленивого поденщика.

Прометей спросил его:

— Хотел бы я знать, ты веришь Зевсу или просто боишься его? В чем источник твоей преданности ему? Вера или страх?

Орел отер окровавленный клюв о перья и сказал:

— Наверно, немного того и другого.

— А я думаю,— сказал Прометей, пожав плечами,— что совсем немного того и очень много другого.

Орел растерянно повел по сторонам своими круглыми желтоватыми глазами. Он тоже пожал бы плечами, но не сделал этого за неимением у птиц плеч. Допустим, что он пожал плечами мысленно.

— А не боишься ли ты соперника? — спросил Прометей.

Орел недовольно нахмурился.

— Да,— повторил Прометей,— не боишься ли ты, что найдется смельчак, который подымет руку на тебя?

Орел проклекотал сердито:

— Поднять руку на меня — это значит поднять руку на самого Великого Промыслителя.

— Ну и что ж! Ведь были свергнуты с престола его дед Уран и его отец Хронос.

Ничего не ответил крылатый пес Зевса.

На Олимпе шушукались. Никто не знал, куда исчез Прометей. Спросить не решались. Расправа? А может быть, он послан с каким-нибудь тайным поручением, для коего потребен тонкий дипломатический ум? Гефест помалкивал. От Орла никто слова не слышал. Кротос-Власть и Бия-Сила держались с обычной надменной замкнутостью.

И так оно осталось бы неизвестным — исчез небожитель, подумаешь, не он первый, не он последний,— если бы не наша братия — литераторы, которые, надо не надо, всюду суют свой нос. Оно-то в конце концов выходит, что надо.

Начал некий Гесиод из местечка Аскры в Беотии. Он первый написал о расправе над Прометеем, сначала в книжке «Родословная богов» и вторично в пространном репортаже «Труды и дни» о судебном процессе по поводу раздела земли.

На Олимпе сделали вид, что этих книг не существует, хотя тайком читали их взасос.

Но когда другой литератор, некто Эсхил, написал на этом же материале пьесу «Прометей прикованный» и поставил ее в театре, Зевс забеспокоился. Он, правда, виду не подал и, сидя в директорской ложе, рукоплескал актерам.

Виссарион шевельнулся в кресле:

— Точь-в-точь как Николай I, на «Ревизоре» сказавший: «Тут всем досталось, а мне более всех».

Эсхил был кадровым офицером, профессиональным военным. Он отличился в боях с персидскими интервентами, в частности в знаменитой битве при Марафоне.

Военная косточка, он описал «Операцию Прометей» с грубой солдатской прямотой. Он даже точно обозначил место пыток — Кавказ.

Пьеса «Прометей прикованный» пошла с огромным успехом во всей Греции. Смотреть ее приезжали издалека, даже из-за рубежа — скифы с берегов Азовского моря, одногрудые амазонки из Малой Азии, мидийцы из Ирака.

Сам черный Аид не поленился подняться из преисподней. Он был возмущен дерзостными выпадами автора и предложил Зевсу, что упрячет наглеца в одну из своих адских кутузок.

Но Преблагой Вседержитель отклонил это предложение. Он сотворил другое. Пока — в мыслях. О них поведал он только наиприближеннейшим. Однако на Олимпе у Эсхила были тайные поклонники. Они предупредили писателя, и он спешно эмигрировал в Тринакрию, иначе называемую Сицилией. Под чужим именем он поселился у подножья огнедышащей горы Этны во владениях Гефеста. Бог огня тайком покровительствовал Эсхилу. Этим он хотел хоть отчасти искупить свою вину перед Прометеем.

Узнав о бегстве Эсхила, Всесокрушающий призвал к себе своего верного Орла. Разговор, как всегда между ними, происходил наедине. После этого крылатая овчарка Зевса расправила могучие крылья и ринулась на Запад.

Рыбаки, промышлявшие в тот день в Ионическом море, видели, как Орел охотился на черепах. Известно, что черепашье мясо — излюбленный деликатес орлов. Они добывают его своеобразным способом. Держа в лапах черепаху, они взмывают ввысь и, разглядев оттуда своими острозоркими глазами крепкий камень, бросают на него черепаху. Щит ее разбивается в осколки.

Рыбаки видели, как Орел Зевса летел на Запад, держа в когтях огромную черепаху.

Он достиг Этны. Писатель сидел в саду, размышляя о своей новой трагедии «Семеро против Фив».

Собственно, она уже написана. Но одна подробность не давала покоя автору. Что могущественнее: боги или рок? Неужели прав Прометей, сказавший, что Разум слабее Слепой Необходимости? В пьесе действуют коровы. Но они не кто иные, как царские дочери. В коров их превратили боги. Не увидят ли в этом намека на любовницу Зевса, прекрасную Ио, которую Гера, супруга Зевса, мучимая ревностью, превратила в корову? Не благоразумнее ли исключить из пьесы это дерзостное сходство?

Заходящее солнце ярко освещало лысую голову драматурга, она сверкала, как отшлифованный мраморный валун.

Орел Зевса разжал когти. Черепаха, низринувшись с высоты, всей своей панцирной тяжестью пала на голову Эсхила и размозжила ее.

Толки были разные. Одни склонялись к тому, что Орел действительно принял лысую голову писателя за камень. Другие утверждали, что это — умышленное убийство, нити которого восходят к Олимпу. За это говорило то обстоятельство, что Орел не опустился, чтобы полакомиться черепашьим мясом, а, не снижаясь, круто повернул и полетел обратно на Олимп.

Тело Эсхила перевезли в Грецию. Его хоронили с большой помпой на государственный счет. Надпись на надгробной плите воздавала ему только как доблестному воину. И ни слова о том, что он был писателем, славой отечества.

Так или иначе, литература сделала свое дело. «Операция Прометей» прогремела на весь мир. Пустын-

ный дикий Кавказ вдруг наполнился топотом тысяч ног, скрипом телег, криками возниц, ржаньем коней, трепетаньем крыльев, со свистом рассекающих воздух. Паломничество длилось дни и ночи. К распятому Прометею со всех сторон шли, летели, карабкались, мчались боги, титаны, нимфы, герои и просто люди. Пришли троянцы из Пергама, косматые тавры из далекой северной Тавриды, мирмидоняне, до того перетянутые в талии, что походили на восьмерки,— недаром о них говорят, что они произошли от муравьев. Прибыли люди из Афин — города, который давал убежище всем изгнанникам. И из пригорода Афин, городка Колона,— ведь Прометей был там почетным гражданином. Прискакали верхами рослые киммерийцы из туманного северо-западного края земли, кидая по сторонам недоверчивые взгляды и поминутно хватаясь за мечи.

Все они дивились на Распятого, жалели его и потихоньку уговаривали смириться, покаяться перед Всесильным Властителем.

Прометей отвечал им с презрением:

— Трусы! Вы же все ненавидите Зевса. Отчего же вы молчите? Боитесь за свою шкуру?..

Своими причитаниями они до того надоели Прометею, что он призвал Гефеста и попросил его выковать табличку и прибить ее к скале: «Прием посетителей по вторникам и пятницам от 2 до 5».

Он не внял мольбам даже собственной матери, богини правосудия Фемиды. Он сказал ей с горечью:

— Ах, мамочка, само правосудие стало слугой Зевса...

Немного развлекли страдающего титана красотки Океаниды, прилетевшие из морских глубин на льнокрылых кораблях. Это были его двоюродные сестры, все пятьдесят. Не без удовольствия слушал он,

как они нежными девичьими голосами обкладывали Зевса отборными моряцкими словечками. Но они тоже уговаривали своего кузена прикинуться раскаявшимся.

Наконец к Прометею явился дядя его Океан, брат Фемиды. «Вещий старец» — величали его по привычке, хотя давно уже считали выжившим из ума. Но это неверно: хитрец притворялся. Он спрятался в глупость. При дворе это безопаснее — ты глуп, ты шут, придурковатый весельчак, значит, далек от заговоров против Зевса.

Но здесь лицом к лицу с Прометеем Океан был серьезен и откровенен. Он сказал прямо:

— Не при против рожна.

Конечно, он выражался изящнее, иногда даже впадал в ритмическую прозу:

— Ты сердцем смел, но слишком ты вольноречив. Не рвись на острие, не забывай, что никому не подотчетен жестокий царь.

Виссарион нахмурился, припоминая:

— Да... Конечно... Он, как библейский патриарх Иаков, — богоборец. Но в отличие от Иакова, Прометей знает, на кого он замахнулся.

Долго не уходил Океан, все призывал Прометея к смирению и терпимости. Крылатый конь его нетерпеливо скреб копытом дорогу из эфира.

— Что ж, — думалось Виссариону, — умею вчуже понимать и ценить терпимость. Но останусь гордо и убежденно нетерпимым.

— Приди в себя, очнись, племянник,— продолжал Океан, он все еще надеялся уговорить Прометея,— перестрой свой характер. Стать терпимым вовсе не так трудно...

— И если я стану терпимым,— думалось далее Белинскому,— во мне умрет то прекрасное, человеческое, за которое столько хороших людей любили меня больше, нежели сколько я стоил того...

Океан не замечал, что Прометей уже не слушает его.

— Бери пример с меня,— говорил Океан,— смири себя. Пусть тебя не трогают злодеяния Зевса. Ты видишь, к чему привела тебя твоя возбужденность, страстность...

Виссарион кивнул головой:

— И я добываю истину через страстность.

(И это доподлинно верно: Неистовый сам признавал своим главным достоинством не талант, не благородство помыслов, не беспощадный ум, а душевную возбужденность и, как родственную себе, приветствовал ее в Прометее. В наши дни медик, вероятно, объяснил бы эту черту особенностями нервной системы. Но объяснение ли это? Ведь такая возбужденность может быть направлена на разное, даже на противоположное, например на доброе или на злое. У обоих титанов — у Прометея и у Виссариона — она направлена на доброе. Не в щитовидке заложены стремления к тому или к другому. Это выбирает душа.)

Дело дошло до ссоры. Океан потерял терпение. Прометей же вспыльчив, порой необуздан. Он окончательно утратил спокойствие, когда увидел, что в близлежащих долинах оборотливые мидийцы развели костры, пекли лепешки, жарили на вертелах баранину и продавали прибывающим паломникам. Шум, толчея, базар... Казалось, все забыли о Распятом. А он висел над ними, огромный, истекающий кровью полубог. С тоской смотрел он на огонь, дарованный им людям. Сейчас в него стекал, шипя, бараний жир. И мидийцы прятали в мошну под одежду свои барыши: драхмы, оболы, шекеля. А тут над ним нудил Океан... И в конце концов Прометей просто прогнал его, крича вдогонку:

— Себялюбец! Прислужник! Подлипала! Царский блюдолиз! Соглашатель! Шкурник!

И пришел титан в такую ярость, что принялся рваться из цепей! С титанической силой напрягал он могучие руки, напруживал ноги, похожие на бурные горные реки. Грудь его, хоть и пронзенная, живот, хоть и разодранный, то вздымались, как горные вершины, то опадали, как водопад. Затряслась скала, к которой был он прикован, и каменная волна, воя, пробежала по соседним горам.

Страх овладел людьми. Они возомнили, что начинается землетрясение, и, бросая все, побежали. Вмиг опустела земля вокруг Прометея. А он, ослабев, повис на цепях, сочась желчью и кровью.

И пал он духом, и все стало ему ненавистно, и он решился наконец рассказать об известной ему страшной и драгоценной тайне. Но, разумеется, сделать это хитро, обратить ее в монету, за которую он купит себе свободу.

— Однажды,— сказал он Орлу,— я услышал разговор Трех Сестер.

Орел вздрогнул. Он понял по значительности тона, о ком идет речь. Хоть он и не боялся никого на свете, но Три Сестры Мойры — другое дело. Ведь они сильнее самого Зевса, эти три богини судьбы. Они прядут нити жизни для людей. Но они же их и обрывают.

Что касается бессмертных богов, то их судьбу решает жребий. И этот жребий не глядя вынимают из мешка вечности Три Неумолимые Сестры, Три Мойры. Но это их тайна, они никому ее не открывают.

— И жребий Зевса вынут.

— Откуда ты знаешь, Прометей?

— Говорю тебе, однажды ночью я подслушал их разговор. Они говорили шепотом, но слух у меня острый.

— Каков же этот жребий?

— Зевс будет ввергнут в ничтожество, если только он...

Прометей остановился.

— А почему, собственно,— сказал он,— я буду рассказывать это Высокоцарствующему Чурбану? Да, я знаю, откуда грозит ему гибель, и знаю, как он может ее избегнуть...

Расчет Прометея оказался правильным. В тот же день к нему прилетел на своих крылатых сандалиях ближайший клеврет Зевса, а по совместительству бог торговли — Гермес.

— Чиновник для особо важных поручений,— определил Белинский.

Прищурившись, Гермес оглядел Распятого.

 — Зачем пожаловал? — спросил Прометей.

Гермес высокомерно поднял свое моложавое порочное лицо и молвил:

— Всемогущий Отец в безмерной милости своей пожелал узнать, не покаешься ли ты?

Прометей прекрасно понимал, что не за этим прислал к нему Зевс своего наиприближеннейшего вельможу. Но не подал виду и спросил только:

— В чем каяться?

Гермес, ободренный краткостью вопроса, сказал:

— Ты отлично знаешь в чем: в том, что ты дерзостно воспротивился воле Великого Повелителя, нечестиво восстал против богов, украл божественный огонь и передал его людям.

Прометей нашел в себе силы усмехнуться.

— Дерзок и нечестив не тот,— ответил он,— кто отвергает богов, а тот, кто рабски примыкает к преклонению невежественной толпы перед богами.

— Ты не смеешь,— вскричал Гермес,— так говорить о богах!

— А я проще скажу,— заметил титан холодно,— всех богов я просто презираю.

— Я запрещаю тебе так говорить!

И поправился:

— Зевс запрещает!

Прометей посмотрел на него насмешливо.

— Я удивляюсь,— сказал он,— как это Зевс еще не запретил солнцу светить людям. Ведь оно тоже огонь.

Гермес задохся от негодования.

— Впрочем,— продолжал Прометей,— если ты пришел ко мне, чтобы издавать бессмысленные крики, то мог не трудиться.

Гермес понял, что угрозами Прометея не проймешь.

— А ведь ты мог бы,— сказал он мягко,— изменить свое положение.

— Покаяться? Так вот передай Зевсу, что я не променяю своих мук на рабское служение властелину. Уж лучше пусть я останусь прикованным к скале, чем пресмыкаться перед ним.

— И все из-за этой кражи огня? Да в конце концов, между нами говоря, разве так воруют? — сказал министр торговли, с сожалением глядя на титана.

— Тебя не попросил,— сказал Прометей едко.

Гермес нисколько не обиделся. Казалось, он принял это за комплимент.

— Уж будь покоен,— сказал он самодовольно,— уж я бы это дельце обтяпал почище.

— Говорят, ты у Зевса из-под самого носа упер скипетр.

— А как же! Мало того: у Посейдона я стянул трезубец, у Аполлона — его знаменитый лук и золотые стрелы. А у самого бога войны Ареса, или, как его называют римляне, Марса, я просто на пари утащил его меч. А ты, Прометей, такой мелочишки, как уголек, не мог стащить втихую. Расшумелся на весь мир. Извини меня, но ты просто дурак.

— Да, по-видимому, я дурак,— согласился Прометей,— если продолжаю с тобой разговаривать.

Гермес решил отбросить хитрости — ему ли состязаться с Прометеем в изворотливости ума! Он решил действовать открыто.

— Слушай, Прометей,— сказал он деловым тоном.— Поговорим, как мужчина с мужчиной. Тебе предлагается сделка: ты раскрываешь тайну, ведомую тебе от Трех Сестер Мойр. За это ты получаешь свободу.

— Согласен.

Гермес подался вперед:

— Слушаю!

 — Согласен, но только в обратном порядке: сна-

чала я получаю свободу, а потом раскрываю известную мне тайну.

— Это шантаж! — вскричал Гермес.

— Называй как хочешь, — хладнокровно ответил Прометей. — Против Всемудрого Благодетеля все средства хороши.

— Значит, ты выбираешь...

— Да, я выбираю страдания...

— Он выбирает страдания... — повторилось в голове Виссариона. — Муки ради любви к людям... Страдания ради их спасения... Кто же он — Прометей или Христос?.. Говорил же Тертулиан, указывая на распятие Христа: «Вот доподлинный Прометей — всемогущий бог, пронзенный богохульством...»

(Конечно, Виссарион понимал миф не религиозно. А — революционно. Писал же он о гетевском «Прометее»:

«Пробуждено сознание в людях — и падение Зевса уже неизбежно. Глубоко знаменательный миф, необъятный, как вселенная, и вечный, как разум».)

Узнав от Гермеса об ответе Прометея, Великий Промыслитель в гневе хватил кулаком по подвернувшемуся облаку. На землю посыпался град, уничтожил оливковые рощи и побил множество скота.

После этого он призвал к себе Орла и сказал ему:

— Немедленно полетишь к Прометею и выклюешь ему глаз. Если он и после этого не выдаст тайны, выклюешь ему другой глаз.

Орел содрогнулся. Решение его тут же созрело. План его был таков: железным клювом своим разбить цепи Прометея, посадить его к себе на спину и

улететь... Куда? — Орел и сам еще не знал, куда им укрыться от Всевидящего Ока. Он надеялся на изобретательный ум Прометея.

С этим он полетел на Кавказ. Когда он рассказал Прометею о своем намерении, титан возликовал душой. И не столько оттого, что Орел освободит его (Прометей не был уверен, что это ему под силу), сколько оттого, что пробудил в этом Зевсовом палаче милосердие, возжег в нем любовь к справедливости и заставил его отвернуться от Жестокосердного Хозяина.

Присев на плечо титана, Орел принялся долбить охватывавшие его оковы железным своим клювом.

В тот день неподалеку от этих мест блуждал знаменитый герой, никем не превзойденный в силе и отваге,— Геркулес. Он уже совершил одиннадцать из предсказанных ему великих подвигов: убил Немейского льва и девятиголовую Лернейскую гидру, перебил медноклювых Стимфалийских птиц. Пленил златорогую Керинейскую лань и Эриманфского чудовищного кабана. Это сколько же, значит, выходит невероятных подвигов? Пять? До дюжины еще далековато. Засим очистил от навоза скотный двор Авгия,— а уж добра этого там навалено! Это, стало быть, шестой подвиг, ассенизационный. Седьмой — укротил бешенного Критского быка. Поймал диких коней Диомида, питавшихся человеческим мясом. Овладел поясом Ипполиты, дававшим власть над амазонками. Из-за самого края земли, из-за Гибралтарского пролива пригнал в Микены коров Гериона. Проник туда, куда никто не ходил по доброй воле — в преисподнюю, в подземные комнаты Аида и победил ужасного стража адских кутузок — трехголового

пса Цербера, чей хвост оканчивается головой дракона, а шея состоит из извивающихся змей. Ну-ка прикинем на счетах. Так и есть: одиннадцать.

На Кавказ же прибрел славный герой за двенадцатым своим подвигом, труднейшим из всех. Да! Таким трудным, что Геркулес призадумался: а под силу ли он даже ему?

А дело, казалось бы, ерундовское: принести яблоки. И совсем немного, три штуки,— стало быть, граммов полтораста, не более. Да, но какие яблоки — золотые! Из садов титана Атласа. А за садом смотрят Атласовы дочки Геспериды. Сам-то Атлас, как известно, занят все время — держит на своих плечах небесный свод. Работенка такая, что не скажешь приятелю: подержи минутку, пойду немножко перекурю. А сады, кстати сказать, охраняет дракон.

А хоть бы и так. Пусть золотые, пусть дракон. Разве в этом трудность? Трудность в том, как туда попасть. Никто не знал пути к садам Гесперид. Исходил трудяга Геркулес Европу и Азию, забрел в Арктику, завернул в Ливию, совершил походя кучу мелких подвигов (вроде, например, победы над великаном Антеем). А садов Гесперид все не видать.

Вот так, порядком усталый, все ноги в волдырях, попал он на Кавказ.

И здесь неожиданно увидел Прометея, распятого на скале. И — присевшего на его плече Орла, и слышно железное потюкивание его клюва.

Гнев залил благородное сердце Геркулеса. До него, конечно, дошли толки о Прометее. Кто ж в Греции, будь то в чертогах богов или в хижинах простолюдинов, не знал истории Прометеевых страстей.

Мгновенно натянул Геркулес тетиву своего смертоносного лука, и не знающая промаха стрела героя

визжа устремилась в Орла,— в тот самый момент, когда Прометей закричал:

— Остановись, несчастный! Не убивай друга!

Поздно! Стрела пронзила Орлу горло. Он поднял на Прометея свои желтоватые глаза, полные обожания и предсмертной тоски, и пал в пропасть.

— Во всем мире,— молвил Прометей, поникнув головой,— во всем мире одно только существо отважилось пойти против Зевса, чтобы дать мне свободу, и тут же его постигла смерть...

Геркулес почувствовал нечто странное. Словно что-то обожгло его лицо. Он даже боязливо притронулся рукой к щеке. Нет, это не огонь. Просто Геркулес покраснел. Никогда в жизни с ним этого не случалось: краска стыда бросилась ему в лицо. Он крикнул:

— О, Прометей! Ты думаешь, что я послан Зевсом, чтобы убить Орла? Я не знал, что он из мучителя превратился в твоего избавителя. Но я знаю, как искупить свою вину; я сделаю то, чего не дал сделать Орлу.

И, подняв свою огромную палицу, вытесанную из твердого, как гранит, ясеня, Геркулес разбил оковы и вырвал из груди титана алмазный клин, пригвождавший его к скале.

Теперь они стояли рядом — титан и герой. И страх овладел обоими.

— Бежим,— сказал Прометей.

— Куда?

— К брату моему Атласу. Он укроет нас.

— Еще несколько мгновений назад мне нужно было к Атласу, в золотояблоневый сад Гесперид. А теперь...

Геркулес безнадежно махнул рукой:

— Гнев Зевса настигнет нас всюду...

Тут сверху раздался голос:

— Успокойтесь, достопочтенные.

На скалу рядом с ними спустился Гермес. Он улыбался ласково. Этот царедворец умел быть очаровательным, когда хотел или когда это было вменено ему.

— Слушай меня, Прометей,— сказал он.— Всемилосердный Повелитель в беспредельной доброте своей соизволил согласиться на твое условие.

И, обратившись к Геркулесу:

— Ведь тебя, о Геркулес, привел сюда не случай, а воля Мудрейшего, пожелавшего, чтобы ты стал освободителем Прометея и чтобы перебежчик Орел погиб от твоей геройской руки.

Геркулес почтительно склонил голову, преклоняясь перед могущественным предвидением Зевса.

А Прометей подумал:

«Расскажи это своей бабушке. Все только что происшедшее устроил не тупица Зевс, а всесильный бог Случай — единственный бог, которого нет среди олимпийцев».

А вслух сказал:

— Передай своему повелителю вот что. Я знаю, что он приударивает за морской богиней Фетидой. Так вот Три Сестры Мойры сказали, что тот, кто сойдется с Фетидой, будет иметь от нее сына, и этот сын станет обладателем оружия посильнее устарелых громов и заржавленных молний. Он-то и погубит своего отца.

Гермес тотчас взвился и полетел на Олимп, поставив свои крылатые сандалии на четвертую скорость, ибо боялся опоздать, зная, как проворен Великий Мудрейший в делах амурных.

А Прометей отломил от оков звено, вправил в него обломок скалы и надел на палец это кандальное кольцо на память о своих муках, борьбе и страстях.

Белинский плотнее смежил глаза. Но бурое моросящее петербургское небо уже пробивалось сквозь нежные, истаивающие очертания Казбека ли, Эльбруса ли.

— Но я хочу знать,— вскричал Виссарион в отчаянии,— что же стало дальше с Прометеем? Неужели примирился? Подался в придворные? Покрылся жирком? Благодушествует за пиршественным столом Зевса, поддакивает ему! Он, пошедший на муку ради людей и посреди страданий торжествовавший победу! Как узнать? Кто скажет?

И вдруг, глядя на залитое моросью окно, но не видя его, он сразу понял: о судьбе Прометея он узнает от самого себя. Когда-нибудь. Что станется с одним, то сталось и с другим.

В печь!

Много я ездил по России; имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше... Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал *наизусть* «Письма Белинского к Гоголю»... «Мы обязаны Белинскому своим спасением»,— говорят мне везде молодые честные люди в провинции... И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, ищите такового между последователями Белинского.

Иван Аксаков

Далеко на Западе народ топнул ногой. Николай I ухватился за ручки трона: ему показалось, что он зашатался. Так ли оно было? Или это повышенная подозрительность, профессиональная болезнь самодержцев?

В доме Белинского точно не знали, что же происходит в Париже. Революция? Узнавали от приезжающих, кое-что — из немецких газет (французские конфисковывались на границе).

Белинский недоумевал, сердился.

— Подумайте, ведь я там только что был,— говорил он друзьям,— правда, совсем недолго. Мудрено ли, что я ничего не заметил. Но почему же те, кто там живет постоянно, Герцен, Анненков, Тургенев, особенно Бакунин, который варится в политике с утра до ночи, почему они ничего не предвидели? Что это — политическая слепота? Или, быть может, революция так и должна произойти — с ошеломляющей внезапностью?

Какие-то отрывочные сведения прибыли от Анненкова к его братьям (оказией, конечно), с припиской:

«Поклонитесь от меня Белинскому и покажите ему это письмо, которое пишу наскоро, усталый, измученный».

Вдруг слух, что на балу в Зимнем дворце — это было 22 февраля, последний бал сезона сорок восьмого года перед великим постом,— внезапно, раздвигая круг танцующих, вошел царь с депешей в руках. Среди наступившей тишины командным голосом, как на кавалерийском учении в манеже, он загремел:

— Господа офицеры! Седлайте коней! Во Франции провозглашена республика!

Князь Одоевский, бывший на этом балу, уверял, что Николай I, несмотря на энергию выражений, был весьма растерян.

Наконец появилось первое печатное сообщение в «Северной пчеле». Белинский впивал вести о революции с необычайной жадностью. Ему казалось, что судьбы Европы переламываются, и это не может не

оказать благотворного влияния на положение в России. Зарево парижских пожаров ему казалось утренней зарей, встающей над Россией.

— Как я хотел бы увидеть это! — восклицал он.

Кто-то из приехавших из Парижа рассказывал ему о Герцене. С группой революционеров он сидел в кафе. Разговор шел о том, что надо сейчас идти на баррикады. Герцен отнесся к этому скептически. Он заявил, что даже победа в уличных боях ничего теперь народу не даст, и идти на баррикады — глупость.

Это вызвало презрительные взгляды окружающих и насмешливые реплики:

— Значит, вы не идете с нами?

Герцен встал.

— Нет, господа,— сказал он,— я ведь не говорю, что не делаю никогда глупостей. Извольте, я иду с вами.

И пошел.

— Узнаю Герцена! — закричал в восторге Белинский.

Заноза, вонзившаяся в Николая I двадцать три года назад на Сенатской площади, оказывается, еще не выдернута. Испуг и гнев горячили его. Францию теперь он называл не иначе как «вертеп извергов».

Добро бы все ограничилось его яростным словоизвержением туда, на Запад. Но ведь Николай I, как и все неограниченные властители, больше всего боялся собственного народа и в первую голову — интеллигенции, такой в ту пору тоненькой и хрупкой. Удар царской дубины обрушился на печать.

Тимоша Всегдаев перед отъездом в Москву пришел к Белинскому попрощаться.

— Это ты правильно делаешь, что переезжаешь в Москву,— одобрил Белинский.— Климат там не в пример лучше питерского.

— Там и политический климат лучше.

Белинский махнул рукой:

— Нынче все сравнялось.

— Я разумею по части просвещенности.

— Не в коня корм, Тимофей. Что с того, что Боткин съездил в Европу? Он познакомился с ней как скиф: прикоснулся к европейскому разврату, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей. Что ж, и дружок твой Разнорядов с тобой?

— Какой он мне друг!

— Ах, так! Что же вас развело?

— Помилуйте, Виссарион Григорьевич, он пошел работать в бутурлинский комитет. Куда дальше!

— Вот оно что... Мария!

Она прибежала встревоженная.

— Если придет этот живчик-хлопотунчик — как бишь его? — Валерка Разнорядов, ну, знаешь, морда такая сдобная и словно патокой смазана,— гони подлеца в шею!

Он долго не мог успокоиться:

— Быстро они набрали себе молодцов... Да ведь только клич кликни. На любую мерзость охотники найдутся. Какая это горькая пословица, кажется, еврейская: «Если понадобится вор, его из петли вынут...» Стало быть, уже действует бутурлинский комитет?

— Ого!

— Бутурлина-то, положим, вынули не из петли, а из Публичной библиотеки. Он там директором. Ну, он покажет литературе нашей кузькину мать...

И показал... Генерал-адъютант граф Бутурлин Дмитрий Петрович, историк по специальности и палач по призванию, возглавил Особый секретный комитет для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением печати. Комитет этот (Герцен прозвал его: «Комитет общественной гибели») был образован по мысли государственного секретаря М. А. Корфа, некогда Модиньки, лицейского товарища Пушкина. В докладной записке он обрушивался на печать, преимущественно на «Современник» и «Отечественные записки», с обвинениями в том, что «проповедуемые ими, под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия».

Бутурлин ужасал своей свирепостью даже своих сотрудников по комитету, того же барона Модеста Корфа и генерала Леонтия Дубельта, тоже не мальчиков. Он, например, настаивал на закрытии университетов. Он заподозрил в вольнодумстве ни больше ни меньше как Евангелие и находил политически опасные выражения даже в молитве пресвятой богородице.

Образовалась цензура цензуры, так сказать, сверхцензура. И ничто живое уже не проскальзывало сквозь этот двухслойный фильтр,— один только бесцветный вздор.

Этим глухим забором Николай I хотел отгородить Россию от мира. Он всячески укреплял этот забор и вскоре утвердил новые расширенные штаты цензурного управления, увеличив расходы на это ведомство в два с половиной раза.

Но разве только это? Бред страха перед революционным движением в Европе породил, как писал в

своем дневнике далеко не революционно настроенный Анненков, «террор внутри, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры... Доносы развиваются до сумасшествия...»

Люди боялись арестов. Всюду шныряли шпионы. Кавелин жег письма Белинского. Булгарин писал доносы на «Современник» еженедельно. В одном из них, поданном Дубельту, он предлагал попросту закрыть «Современник»: «это даст острастку всем писакам и всей шайке коммунистской...» Сотрудники «Современника», Белинский, Тютчев и другие друзья его чувствовали за собой слежку. Досье Белинского в III Отделении пухло.

Вдруг он получил письмо от Михаила Максимовича Попова. Письмо ли? Написано в форме любезного приглашения. Но разве любезные приглашения разносят жандармы? А ведь пишет старый знакомый, покровитель со школьных лет, почти друг, Михаил Максимович, учитель естествознания в Пензенской гимназии. А какие гербарии мы составляли под его руководством! Да, но ведь нынче он действительный статский советник и занимается уже не тычинками и пестиками, а, черт побери, государственными преступниками!

Любезное приглашение В. Г. Белинскому предлагало ему пожаловать — куда бы вы думали? — да, в III Отделение, в пасть к его превосходительству генералу Л. В. Дубельту... Когда? Это вполне на благоусмотрение г-на В. Г. Белинского, в любой свободный день между 12 и 2 часами дня. Но, разумеется, особено затягивать этот интересный визит г-н В. Г. Белинский, надеемся, не будет? Ибо его превосходительство просто сгорает от нетерпения... А на какой предмет, собственно, сей визит? Да просто так, для приятного знакомства, уверяет Попов.

— Жандарм еще не ушел? — отрывистым шепотом спросил Белинский. Он лежал на диване, укрытый пледом. Мария старалась унять волнение:

— Ждет ответа...

Виссарион быстро набросал записку:

«Милостивый государь Михаил Максимович! Я совершенно не в состоянии отозваться на приглашение пожаловать к Леонтию Васильевичу, ибо тяжелое болезненное состояние не позволяет мне выходить из дому. Сырая погода, как известно, особенно опасна для чахоточных. Прошу Вашего ходатайства, Михаил Максимович, об отсрочке этого свидания до того времени, пока я почувствую себя лучше. Имею честь остаться Вашим, милостивый государь, покорным слугой. В. Белинский».

Отдал записку Марии, приподнялся на локте, вслушался. Что-то там звякнуло в прихожей, щелк сдвигаемых каблуков, звон цепочки, наложенной на дверь.

— Ушел?

— Ушел. Зачем встаешь?

— Надо подготовиться.

— К чему?

— К обыску, к аресту.

Выдвинуты ящики стола, вывалены письма, рукописи...

— Печь топлена?

И запылали бумаги. Иное письмо долго держал в руках Неистовый, видать, дорого оно ему, а потом решительным движением швырял в огонь. Горели письма Красова, Щепкина, Грановского, Комарова, Некрасова, Кетчера, Тургенева, Тютчева, Герцена, Панаева, Бакунина... Пылали мысли, дружба, любовь, вдохновение, надежды, счастливые находки, страсти, открытия...

В эти дни шеф жандармов граф Орлов подал царю доклад об «особенном характере новой нашей журналистики». Он привлекал внимание Николая I к статьям Белинского:

«...Белинский столь громко и столь настоятельно провозглашал свои мнения, что нынче почти все молодые писатели наши считают за ничто старую знаменитость в нашей литературе».

Шеф жандармов обрушивался на «грязные сочинения натуральной школы», которая, по его словам, противоречит «народной нравственности». Жандармы считали себя большими знатоками по части нравственности, это только мы приписываем им полицейские функции, на самом деле основная их специальность — этика.

Михаил Максимович Попов не оставлял без внимания своего бывшего пензенского ученика. Он прислал ему второе любезное приглашение. Этакий обязательный мужчина!

«Слышал я,— писал Михаил Максимович,— что прежняя записка моя напугала Вас, милостивый государь Виссарион Григорьевич... Вы, как литератор, пользуетесь известностью, об Вас часто говорят: очень естественно, что управляющий III Отделением и член Цензурного комитета желает узнать Вас лично и даже сблизиться с Вами. Вам обеспечен самый ласковый и радушный прием. Еще прошу Вас уведомить меня, поправилось ли Ваше здоровье, и прибавить, когда Вы можете быть в III Отделении. Мне нужно предварить об этом Леонтия Васильевича. Если не успеете записки Вашей передать посланному, то адрес мой: в Семеновской улице, в доме Тура».

Прочтя вслух записку, Белинский заметил сидевшему у него Тютчеву Николаю Николаевичу:

— Сблизиться хочет... Одинок, бедняга. Мечтает о дружбе со мной, вот только не знаю, белье захватить или нет...

Однако сквозь мрачный юмор этот чувствовалось, что грозная любезность письма Попова взволновала Белинского. Он тотчас принялся диктовать Марии ответное письмо:

«Милостивый государь Михаил Максимович!.. И вы, и его превосходительство Леонтий Васильевич могут думать, что я отлыниваю и как будто хочу притаиться не существующим в этом мире, потому что не являюсь... Если бы я действительно предвидел себе в этом приглашении беду, — и тогда такая манера избегнуть ее была бы слишком детскою и смешною...»

Тютчев прервал его:

— Простите, что вмешиваюсь, но не слишком ли видна в этих словах ирония? С этими господами шутки плохи. Насмешливость раздражает их. И в самой жестокости они соблюдают торжественность.

Белинский отмахнулся:

— Надо знать Попова. Это ж мой старый учитель. Он человек порядочный.

— Порядочные люди не идут работать в полицию.

— Вообще-то это верно. Еще один искаженный хороший русский человек. Но мне он дурного не сделает.

— Он был учитель из каких предметов?

— Из естествознания. Мы с ним бабочек на лугу ловили...

И Белинский продолжал диктовать:

«Я и теперь еще не оправился, и доктор запретил мне ходить до тех пор, пока не просохнет земля и не установится теплая погода...»

Белинский поднял глаза на Тютчева:

— Я думаю, он поймет намек? Они ведь понаторели в толковании иносказаний.

Тютчев пожал плечами и промолчал. Ему не нравилась настойчивость этих «приглашений». Белинский продолжал диктовать:

«...В крайности выйти могу. Только в таком случае я очень боюсь, что его превосходительство вместо того, чтобы из разговора со мною узнать, что я за человек, узнает только, что я кашляю до рвоты и до истерических слез...»

Тютчев снова рванулся возразить, но Мария остановила его строгим взглядом.

«... И Ваше последнее письмо застало меня в акте рвоты, так что я уж и не знаю, как я смог расписаться в книге о получении. Со спины моей не сходят мушки да горчичники, и я с трудом хожу по комнате. Смею надеяться, что такие причины могут мне дать право, не боясь навлечь на себя дурного мнения со стороны его превосходительства, отсрочить мое с ним свидание еще на некоторое время, пока не установится весна и я не почувствую себя хоть немного крепче. Будьте добры, Михаил Максимович, как Вы прежде бывали ко мне добры, потрудитесь уведомить меня, могу ли я поступить так. Меня пользует главный доктор Петропавловской больницы г. Тильман: он может подтвердить справедливость моих слов о состоянии моего здоровья. В надежде Вашего ответа имею честь остаться Вашим, милостивый государь, покорным слугой. В. Белинский».

Кончив диктовать, Виссарион в изнеможении откинулся на подушки. Взгляд его блуждал по потолку. Сочинение письма отняло у него силы. Он посмотрел на Тютчева.

— Николай Николаевич,— сказал он слабым голосом,— окажите услугу: отвезите письмо Попову и

объясните ему лично мое состояние. А ненароком, этак дипломатически — у вас это получится — выясните, черт побери, что им от меня, в конце концов, нужно?

Попов встретил Тютчева чрезвычайно любезно. Тут же прочел письмо Белинского. Сокрушенно покачал головой:

— Ай-ай-ай, как жаль мне его. Какой это был даровитый, можно сказать, блестящий юноша. Любимый мой ученик. Вместе бабочек на лужайках ловили...

«Дались им эти бабочки!» — хмуро подумал Тютчев.

И так как он вовсе не был дипломатом, то брякнул прямо:

— Чего хотят от Белинского?

Попов развел руками и всем своим дородным лицом и даже изгибом тела изобразил учтивое удивление:

— Ради бога, Николай Николаевич, успокойте больного. Виссариона Григорьевича приглашают не по какому-нибудь делу или, боже упаси, обвинению. Но просто — как замечательного деятеля на поприще русской литературы, единственно для того, чтоб лично ему познакомиться с Леонтием Васильевичем Дубельтом, который...

Голос Попова тут стал еще более сладким, как если бы у него во рту появилась шоколадная конфета:

— ...который есть хозяин русской литературы.

Услышав, что жандармский генерал — хозяин русской литературы, Николай Николаевич вгляделся в Михаила Максимовича, не шутит ли он, но увидел сладчайшую улыбку и совершенно холодные и очень проницательные глаза...

Ему стало противно и страшно, он встал, кивнул головой и вышел.

В коридоре кто-то тронул его за локоть. Он увидел Валерия Разнорядова.

— Рад встретить вас здесь,— сказал Разнорядов.— Значит, и вы заглядываете к нам.

«Он, кажется, считает, что я один из них»,— с ужасом подумал Николай Николаевич и поспешно сказал:

— Совершенно случайно, я был у господина Попова по делу...

Валера понимающе кивнул головой и, не дослушав — мол, дело деликатное, я ни о чем не допытываюсь, ты все равно мне соврешь, шито-крыто,— сказал:

— О, Михаил Максимович — ума палата. Согласны? Все важнейшие внутренние доклады и секретнейшие обзоры — его рук дело. К примеру, о возмутительных писаниях Пушкина или...— он таинственно понизил голос,— или о бунте четырнадцатого декабря двадцать пятого года...

И, щегольнув своей осведомленностью, а также близостью к самому Михаилу Максимовичу, Валера Разнорядов исчез в одном из бесчисленных ответвлений коридора.

Николай Николаевич заспешил к выходу. Если бы он сейчас заглянул в кабинет Михаила Максимовича, он застал бы его за странным занятием. Приставив к глазам лупу, действительный статский советник Попов старательно сличал письмо Белинского с каким-то исписанным листком. Он начинался словом «Орлов!» и далее переходил в издевательскую антиправительственную пародию на высочайший манифест Николая I, где царь заявил о готовности России пойти войной против «мятежа и безначалия».

В анонимке этой содержались угрозы царю и его камарилье, а также весьма резкие предсказания насчет будущего России, ведомой столь бездарными правителями.

И вот по приказу Дубельта Попов, заполучив автографы Белинского, а также Некрасова, производил после консультации с Булгариным графологическую экспертизу. Он сравнивал хвостики буквы «р», закорючки в прописном «д», нажимы в «с» и волосные линии в «о». О, это тонкая работа! Однако она доставляла удовольствие Михаилу Максимовичу, нечто вроде ловли бабочек на лужайках. Да, как-то окрыляло его это занятие.

После тщательного исследования почерков Попов пришел к заключению, что анонимка писана рукой не Белинского и не Некрасова. А жаль! Дело упростилось бы. Но с другой стороны, нельзя же давать дознанию ложное направление, этак упустишь настоящего виновника, подписавшегося: «Истый русский». Михаил Максимович вынужден был доложить Дубельту, что «почерки их (то есть Белинского и Некрасова) не сходны с почерком безымянного письма».

Что же касается свидания Дубельта с Белинским, Попов докладывал:

«Белинскому я уже отвечал, чтобы он не беспокоился и пожаловал к Вашему превосходительству, когда дозволит его здоровье, хотя бы через месяц или через два».

Вернувшись к Белинскому, Тютчев подробно рассказал ему о своем разговоре с Поповым.

— Подлец первостатейный,— заключил он свой рассказ,— змея и предатель.

— Ну, уж вы...— махнул на него рукой Белинский.— Подпортился маленько, это есть.

Ему не хотелось расставаться с светлым воспоминанием своей юности, с образом талантливого, бескорыстного, всегда чем-то увлеченного Михаила Максимовича, обожаемого учителя, кумира школьников. Но Тютчев не знал его в юности. А нынешний зрелый Попов ему очень не понравился.

— А может, он и не искаженный,— сказал Николай Николаевич,— а всегда был такой? От природы. Зачем валить все на влияние среды и так далее? Не на каждого же она влияет так, что человек устремляется служить в полицейском застенке. Вас, Виссарион Григорьевич, быть может, обманывает его ласковая приятная внешность. Да, он обходительный, ударяется в лирику, даже обаятелен. А если хотите знать мое мнение, Попов — это Манилов с ножом за пазухой.

Белинский вдруг задумался. Он как бы вспоминал что-то. Потом позвал жену.

— Намедни, когда мы жгли письма,— сказал он,— я отложил пачку из молодых лет. Принеси-ка мне ее.

Перебрав письма, он достал одно, пожелтевшее от времени, прочел его. Писал Шурка Максимов, гимназический товарищ. Он, как и Виссарион, готовился в университет. Пензенскую гимназию он поминал самыми бранными словами — «дом, в котором мы перенесли столько оскорблений и ругательства». Дальше он честил учителей, «которых подлые и черные души находили удовольствие в наших мучениях и несчастьях, которых бесчисленные капризы с трепетом должны были исполнять мы; о, смотри и восплещи, злоба их бессильна!» Шурка не делал исключения и для Михаила Максимовича Попова, который

«хотя и имеет личину добродетели», но есть человек «подлый и гнусный».

Белинский вздохнул, протянул письмо Марии:

— В печь...

Эстафета Белинского

Последние, лучшие из оставшихся, падают, истощенные этой неравной борьбой. Сначала Белинский... затем Грановский.

Герцен

Весна еще только начиналась, а легкие Белинского уже почувствовали разъедающую силу питерской апрельской сырости. Слабость валила его на постель.Он боролся, он старался превозмочь изнеможение. Он заставлял себя выходить на улицу. Он любил многолюдный Невский. Постукивая палочкой, переходил он по мосту Фонтанку.

Здесь-то и остановил его генерал, старый, с седыми подусниками, но еще бравый на вид. Он шумно приветствовал Виссариона. Тот был поначалу озадачен. Вдруг вспомнил: Скобелев Иван Никитич, комендант Петропавловской крепости. С ним как-то познакомил его Иван Ильич Маслов,— он там служил секретарем и был своим человеком в генеральском доме. Скобелев выписывал «Отечественные записки» и «Северную пчелу» и на этом основании считал себя не только тюремщиком, но отчасти и поклонником изящной словесности. Кроме того, он был шутник — в генеральском роде, конечно.

 Взяв Белинского за пуговицу и посетовав, кажется

от души, на его плохой вид, он разразился хохотом, что всегда предшествовало акту остроумия — видимо, генерал не очень рассчитывал на последующий смех собеседника,— и сказал:

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький казематик, так для вас его и берегу.

Белинского передернуло от этого зловещего юмора. Он круто повернулся, пошел домой.

Прогулки его стали редкими, а на Невский он теперь вообще не заглядывал. Он попросил, чтобы диван вынесли во двор и поставили под деревом. Он сидел и смотрел на почки, набухавшие на ветвях. Это ежегодное чудо рождающейся жизни радовало его.

Пришел Панаев. Белинский заметил, что он, поздоровавшись, старается тайком вытереть руку. Виссариону стало грустно, он и сам вытер свои руки, покрытые потом, и сказал:

— Плохо мне, Панаев!

— Пройдет, Виссарион Григорьевич,— с наигранной бодростью сказал Панаев,— весной у всех так, я вот тоже...

— Перестаньте говорить вздор,— прервал его Белинский.

Помолчали. Белинский пытливо посмотрел на Панаева.

— Вы с чем пришли, Иван Иванович? Выкладывайте, что томит вашу чуткую душу?

Панаев улыбнулся:

— От вас не утаишь, Виссарион Григорьевич. Получили из цензурного комитета циркуляр: представить список наших сотрудников.

— И что ж?

Панаев вынул из кармана бумагу и прочел, явно робея:

— «До третьего номера включительно в отделе литературной критики участвовал иногда...»

Он сделал ударение на слове «иногда».

— «...иногда г. Белинский; но...»

И скороговоркой:

— «...но по тяжелой и неизлечимой болезни ныне он вовсе не участвует в «Современнике»...»

Прочел и боялся поднять глаза на Белинского.

Услышал его спокойный голос:

— Совершенно справедливо. Ввиду острого интереса ко мне со стороны III Отделения надо было кинуть им эту кость. Правда, в № 4 я опять появлюсь, но ведь чинушки этого не увяжут с циркуляром. Им лишь бы бумажку подшить к делу.

Панаев облегченно вздохнул. Он боялся Белинского еще больше, чем цензуры.

Неожиданно пришел Кавелин. Он, оказывается, подал в отставку из Московского университета и приехал в Петербург искать места. Белинский искренне обрадовался ему, повеселел и тут же стал попрекать его:

— Что же вы, молодой глуздырь, ничего нам в журнал не даете? Вы, москвичи, много обещаете, а дойдет до дела — ленитесь. Болтать вы здоровы!

Он закашлялся. Успокоившись, пробормотал как бы про себя, но внятно лермонтовские строки:

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь...

Встретив тревожные взгляды Панаева и Кавелина, усмехнулся и сказал:

— Ничего, несмотря на мою слабость, я физически живуч страшно.

И словно для того, чтобы представить наглядно свою жизненную силу, он пустился в рассуждения о литературных героях, положительных и отрицательных:

— Многие, не видя в сочинениях Гоголя и натуральной школы так называемых «благородных» лиц, а все плутов или плутишек, приписывают это будто бы оскорбительному понятию о России, что в ней-де честных, благородных и вместе с тем умных людей быть не может. Это обвинение нелепое. Что хорошие люди есть везде, об этом говорить нечего, что их на Руси, по сущности народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами славянофилы (то есть истинно хороших людей, а не мелодраматических героев) — это аксиома. Но вот горе-то! Литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в риторику и мелодраму, то есть не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Хороший человек на Руси может быть иногда героем добра в полном смысле слова, но это не мешает ему быть с других сторон гоголевским лицом: честен и правдив, готов за правду на пытку, на колесо, но невежда, колотит жену, варвар с детьми и т. д. Изобразит ли писатель риторической школы доблестного губернатора — он представит удивительную картину преобразованной коренным образом и доведенной до последних крайностей благоденствия губернии. Натуралист же представит, что этот действительно умный, знающий, благородный и талантливый...

Белинский говорил с таким жаром, что казался прежним, здоровым и страстным, даже молодым. Друзья смотрели на него восхищенно, но с опасени-

ем — как бы не навалился на него этот изнуряющий припадок кашля.

— ... и талантливый губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не поправил дела, а только еще больше испортил его. Кто же будет пропускать такие повести?..

Он вдруг побледнел и схватился за грудь. Неизбежное случилось: страшный припадок кашля потряс его. Из глаз полились непроизвольные слезы. Он поднес ко рту платок. Его вырвало. Панаев и Кавелин поднялись. Он жестом показал им: не уходите. Пил долго, жадно поднесенное Марией питье.

Чтобы прервать молчание, Кавелин принялся превозносить красоты столичных пейзажей:

— Только приехал, пошел на набережные. Нева синяя, прекрасная, полная до краев. Не быть бы наводнению! А Петропавловская крепость, как корабль, словно плывет по Неве. Кстати, ее почему-то укрепляют, наращивают стены, пушки ставят.

Белинский вдруг засмеялся, вспомнил свой разговор с генералом Скобелевым.

— Это ее укрепляют, — сказал он, — из страха, чтобы я ее не взял.

Все засмеялись. Стало легко, свободно.

Трагическая гримаса судьбы: последнее произведение Белинского, его предсмертная статья, — некролог. В двадцатых числах марта из Москвы в Петербург пришло скорбное известие: умер Мочалов. Воспоминания нахлынули на Виссариона... Москва... Петровский театр... Из поразительной игры Мочалова родилась знаменитая статья Белинского о «Гамлете».

«О, Мочалов умеет объяснять, — писал он тогда, —

и, кто хочет понять Шекспирова Гамлета, тот изучай

его не в книгах и не в аудиториях, а на сцене Петровского театра!..»

Театр, как и литература, был отдушиной в беспросветной затхлости царской России. Герцен вспоминал о Мочалове и Щепкине как о «тех намеках на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России».

Шли годы. Мочалов оставался, по словам С. Аксакова, «неограненным алмазом». Иногда короткие вспышки вдруг напоминали прежнего Мочалова, но они случались все реже. Удивительный голос его, о котором Белинский писал, что он был «дивным инструментом, в котором заключались все звуки страстей и чувств», теперь звучал глухо и хрипло. «Лицо его... настоящее зеркало всевозможных оттенков ощущений, чувств и страстей» — стало каким-то оцепенелым, дряблым... Ну, а главное существо его огромного таланта — страсть, та пылкость натуры, которая роднила его с Неистовым?

«Страсть,— с грустью писал он,— еще есть, но уж средства для выражения ее ослабли».

Как это часто бывало у Белинского, жизненное событие дало ему повод для широкого обобщения. Сейчас это было размышление о природе таланта:

«В мире искусства Мочалов пример поучительный и грустный. Он доказал собою, что одни природные средства, как бы они ни были огромны, но без искусства и науки доставляют торжества только временные, и часто человек их лишается именно в ту эпоху своей жизни, когда бы им следовало быть в полном их развитии».

Когда статья эта появилась в № 4 «Современника», Тимофей Всегдаев подумал, что сходит с ума: ему почудилось, что Белинский написал некролог не о Мочалове, а о самом себе...

Пятый номер «Современника» вышел без Белинского. Он уж и диктовать не мог.

Некрасову он сказал:

— Думаю о том, как бы через несколько лет и вы не слегли в той же беспомощности, что и я.

Глаза его горели. Видно, у него был жар. Он слегка приподнялся над подушкой и сказал:

— Берегите себя, Некрасов...

Услышав, что Мария толкует с Агриппиной о священнике, он позвал их.

— Для меня,— проговорил он голосом хоть и слабым, но беспрекословным,— нет выхода в потустороннем, в мистицизме, во всем том, что составляет выход для полубогатых натур и полупавших душ.

Взгляд его упал на портрет Станкевича над столом. Он прошептал:

— Куда делась гениальная личность Станкевича?..

Потом задумчиво:

— Нам — мне, Боткину, Красову, Бакунину,— всем нам казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти к такой божественной личности и обратить ее в ничтожество. В ничто, Мария!

Он погладил ее по руке:

— Мне хорошо, пока я с тобой.

Она поцеловала его в лоб. Потом вышла в другую комнату, в самую отдаленную, и там беззвучно плакала, душила рыдания в платке, чтоб он не услышал.

Когда пришли Тютчевы, он полулежал в кресле. Воздух вырывался из его груди с каким-то стонущим звуком. Он все понимал. Он прямо сказал Тютчевым:

— Умираю... Совсем умираю...

Шурочке Тютчевой послышалась в этих словах мольба: скажите мне, что я ошибаюсь! Она принялась убеждать его, что он выздоровеет. Он слушал ее. Но слышал ли?

Жестами он попросил, чтобы его перенесли из кресла в постель. Там его застал приехавший из Москвы Грановский. Казалось, Виссарион был в забытьи. Вдруг он открыл глаза, протянул Грановскому руку и сказал отчетливо:

— Прощай, брат Грановский, умираю.

После этого он ничего внятного не сказал. Речь его путалась. Вряд ли он сознавал, что говорит. Сознание его было затемнено. Он бредил целый день. К ночи забылся.

Настало утро. Это был вторник двадцать пятого мая. День выдался яркий, налитой красками, с нежной синевой неба, с веселой возней птиц в деревьях за окном. Белинский ничего не видел, не слышал. Это был не то сон, не то беспредельная усталость. Грудь его порывисто вздымалась. Пришли Панаевы, Тютчевы, Языковы, Некрасов, Комаров. Раздался звонок, такой настойчивый, что все с удивлением посмотрели на дверь.

Вошел жандармский офицер. Он приложил руку к киверу. Никто не ответил ему. Некрасов наклонился к Языкову и прошептал:

— Каждый день из III Отделения: проверяют, действительно ли болен. Ну и времечко...

Жандарм потоптался и сказал, деликатно умеряя свой бас:

— Я от генерала Дубельта. Его превосходительство просят господина Белинского пожаловать к нему.

Мария жестом указала на недвижно простертое тело на постели.

— Господин Белинский никак не может пойти? — спросил офицер недоверчиво.

Вдруг Виссарион шевельнулся. Последний порыв жизненных сил приподнял его. Он встал. Почти вско-

чил. Казалось, он взлетел. Глаза его налились светом. Он сделал несколько твердых шагов. И заговорил:

— Люблю народ... Хочу добра ему... Научить его мыслить... Меня в тюрьму за это... Мария, запомни, что я говорю... И все передай им...

Взгляд его был устремлен в жандарма. Тот оцепенел от ужаса. А Белинский все говорил:

— ...Гений для того и послан... Берегите гения... Гений всегда честен... Талант и честь нужны писателю... А они меня не понимают... Ах, это горе... Совсем не понимают... Мария, скажи им... И Оленьке скажи... А ты меня понимаешь?..

И вдруг он рухнул. Жандарм словно очнулся. Бросился прочь из квартиры. Белинского подняли и положили на постель. Больше до самого конца своего он не сказал ни слова. Он умер в пять часов утра в среду двадцать шестого мая.

Хоронили на Волковом кладбище. Не много народу шло за гробом Неистового, только родные да кучка друзей. В эту печальную процессию вдруг затесалось несколько незнакомцев. В одном из них Тютчев узнал этого типа из III Отделения, как его... Разнорядов! Возле него терся какой-то блондинчик с беспокойными глазами.

— А это кто? — преодолев брезгливость, спросил Тютчев Разнорядова.

— Как же-с! Поклонник Виссариона Григорьевича, студент, об отце его безусловно слыхали: академик живописи Антонелли. Вот думаю: кто бы мог надгробное слово сказать?

Тютчев ничего не ответил и тотчас потихоньку сообщил об этом разговоре друзьям. Они положили между собой: никаких речей над могилой. Некрасов пробормотал сквозь зубы:

— Даже трупа его они боятся...

Отпели в кладбищенской церкви, пошли к могиле. Она была там, где хоронят бедняков. Такова была воля покойного. Место сырое, в могиле вода. Постояли, побросали на гроб комки мокрой земли. Зарыли... Старший могильщик подошел к Тютчеву и сунул ему в руку счет:

За копку могилы	1 руб.
За катафалк	2 руб.
На храм	—50 коп.
За место по 5 разряду	5 руб.
Итого	8 руб. 50 коп.

Не разорили благодарного отечества похороны Неистового.

Впрочем, даже этих ничтожных денег не нашлось в его доме. Грановский, Тютчев и другие друзья сложились на погребение и собрали кое-что для семьи, ибо за квартиру и прислуге уже несколько месяцев не плачено. В «Современнике» еще при жизни Белинского было забрано вперед свыше пяти с половиной тысяч рублей.

Тютчеву пришло в голову разыграть в лотерею обширную библиотеку Белинского. Это могло бы дать семье изрядные деньги. Однако для лотереи требовалось соизволение властей. Тютчев вспомнил о Попове Михаиле Максимовиче. Вот через кого безусловно можно будет выхлопотать разрешение на лотерею.

Скорбь выразилась на лице Попова, когда Тютчев пришел к нему с печальной вестью.

— Такой талантливый критик, такой замечательный человек... Знал его мальчиком... Вместе бабочек ловили на лужайках... Столько можно было еще ожидать от него... Н-да... рано он оставил нас, рано...

Тютчев счел этот момент душевного размягчения подходящим для изложения своей просьбы. Изложил — и в изумлении даже приподнялся на стуле,— так поразила его внезапная перемена в лице и в голосе почтеннейшего Михаила Максимовича. Лицо его перерезали морщины злобы и гнева, ласковый голос перешел в отвратительное шипенье:

— Вы, милостивый государь, понимаете ли, что вы говорите? Это все равно, как если бы вы ходатайствовали о разрешении лотереи в пользу семейства государственного преступника Рылеева...

Так вот какая участь готовилась Неистовому!

— Смерть спасла Белинского,— сказал Герцен.

— Благо Белинскому, умершему вовремя,— сказал Грановский.

А не умер бы? На этот счет есть признание Дубельта. Ведь Леонтий Васильевич Дубельт, всесильный российский жандарм, в молодости и сам вольнодумничал. В Южной армии, где он тогда служил, у него была репутация крикуна-либерала. Но после расправы с декабристами он сразу шарахнулся резко направо. Был безжалостен, но внешне любезен, жесток, но лицемерно мягок, беспощаден и по-иезуитски учтив. Однако допрашивая петрашевцев о чтении «Письма Белинского к Гоголю», рассвирепел, сбросил свою джентльменскую маску и рявкнул в ярости:

— Мы бы Белинского сгноили в крепости!

Но, собственно говоря, как это все сплелось: петрашевцы, Белинский, Дубельт?

Ведь Белинский был объявлен под запретом, и в течение семи лет ни одно упоминание о нем не появлялось в печати. Самое имя считалось нецензурным. Уйдя в могилу, Неистовый продолжал наводить страх на царские власти. Распространение его письма каралось расстрелом. Вот как это было.

И года не прошло после смерти Белинского — десятого апреля сорок девятого года Достоевский зашел к приятелю своему и единомышленнику поэту Сереже Дурову.

— Тебе пакет,— сказал Сергей.

— От кого? — удивился Достоевский.

— От Плещеева.

Достоевский покраснел от удовольствия. Он давно ждал этой посылки. Он тут же вскрыл объемистый пакет. Как он и думал, там оказалась запрещенная литература, ходившая в списках по Москве и еще не достигнувшая Петербурга: пьеса Тургенева «Нахлебник», Герцена «Перед грозой» и самое драгоценное, то, что Достоевский давно мечтал прочесть,— «Письмо Белинского к Гоголю». Забыты незначительные разногласия с покойным Белинским, мальчишеские обиды на него. Теперь Достоевский открыто признавался, что «страстно принял учение Белинского».

Кроме хозяина квартиры, Сережи Дурова, оказался здесь поручик гвардейского егерского полка Пальм Александр Иванович, тоже поэт и тоже петрашевец, свой, стало быть.

Достоевский тут же прочел вслух «Письмо». Взрывчатая сила этих огненных строк потрясла молодых людей. К концу чтения пришли один за другим тоже всё свои — Львов, Момбелли, студент-математик Филиппов, пришел и брат Федора — Михаил Достоевский. Федор прочел письмо вторично. Порешили огласить его на очередном собрании кружка в ближайшую пятницу. Она пришлась на пятнадцатое апреля.

В этот день на квартире у Петрашевского собрался весь социалистический кружок. Михаил Буташевич-Петрашевский был человек замечательных талантов и силы характера. Герцен уверял, что в нем есть все достаточное для провозглашения его святым. Но не

Петрашевский сделал молодого Федора Достоевского социалистом.

— Я,— признавался Федор,— уже в сорок шестом году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновленного мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским.

Среди собравшихся был и маленький носатый блондинчик с живо бегающими глазами, сын художника Антонелли. Он был завербован политической полицией еще в университете. По ее распоряжению он бросил университет и поступил на службу в тот же департамент внутренних сношений министерства иностранных дел, где служил Петрашевский. Генерал Липранди поставил перед провокатором цель: подружиться с Петрашевским. И Антонелли это удалось. Он вступил в социалистический кружок и стал неизменным участником еженедельных собраний.

Каким образом этот довольно вульгарный шпик смог вкрасться в доверие к человеку столь блистательного ума, как Петрашевский? Но, во-первых, революционеры, идеалистически настроенные, считали, что придерживаться их убеждений является для человека чем-то естественным. А во-вторых, Михаил Васильевич Петрашевский был не просто неосторожен,— он был неосторожен сознательно. Он положил неосторожность в основу своей революционной деятельности. Он настаивал на самой широкой пропаганде социалистических идей всеми способами. И сам так поступал. Он охотно раздавал запрещенные книги из своей личной библиотеки, безудержно агитировал устно и в письмах, широко вовлекал в свой кружок. Он был уверен, что декабристы потерпели неудачу из-за ограниченного распространения своих идей.

Именно об этом шел разговор, когда Федор Достоевский в этот апрельский вечер пришел к Петрашев-

скому. Квартира его помещалась неподалеку от Зимнего дворца и Петропавловской крепости,— обстоятельство, которое немало забавляло Михаила Васильевича,— гнездо заговорщиков под самым носом у оплотов самодержавия! Петрашевский любил острые положения и иногда сам создавал их.

В тот момент, когда вошел Достоевский, Михаил Васильевич горячо доказывал окружающим:

— Заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха потому, что главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц...

Началось чтение. Достоевский читал превосходно. Он в ту пору не пренебрегал своей внешностью: щегольской черный сюртук, черный же жилет, белье ослепительной белизны, цилиндр. Взгляд у него был быстрый. В те редкие минуты, когда он улыбался, лицо делалось ласковым и добрым. Поражал его лоб, огромный, выпуклый. В общем, от него исходило впечатление страстности, ума, силы. И было за всем этим еще что-то, трудно определимое, словно томление по чему-то необыкновенному, жажда его, тоска по нему, почти боль.

Достоевскому приходилось несколько раз останавливаться во время чтения «Письма» — таким бурным был восторг слушателей. Ястржембский вскрикивал от волнения по-польски:

— От то так! От то так!

Баласогло хлопал в ладоши. Антонелли что-то быстро записывал.

— Пиши брат,— поощрял его Филиппов,— это стоит. Тут такие блестящие мысли.

— Вот для себя и хочу сохранить,— скромно ответствовал тихоня Антонелли.

На самом деле, не надеясь на память, он записы-

вал имена собравшихся, а также впечатления их от «Письма»:

«В собрании 15 апреля,— писал он в своем доносе,— Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским и в особенности письмо Белинского к Гоголю. В этом письме Белинский, разбирая положение России и народа, сперва говорил о православной религии в неприличных и дерзких выражениях, а потом о судопроизводстве, законах и властях... Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества... Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах... Одним словом, все общество было как бы наэлектризовано...»

Приходилось и Антонелли притворяться, что и он как бы наэлектризован, хоть на самом деле оставался совершенно спокоен— он же на работе.

Через неделю петрашевцы были арестованы. И в том же году двадцать один человек из двадцати трех были приговорены... Впрочем, достаточно привести выдержку из приговора:

«Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив... копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и наконец передал для списания копий подсудимому Момбелли... А потому Военный суд приговорил его, отставного инженера-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Когда Белинский умер, оказалось, что он жив.

Он стал оружием, и оно с прежней отвагой било по всему несправедливому, темному, косному, бесчестному.

Он стал школой, и она с прежней страстью учила понимать искусство и создавать его.

Он стал идеей, и она с прежней мощью зарождала в людях стремление к истине, к справедливости.

Он стал надеждой, и она с прежним пылом вселяла в людей силу бороться за лучшую жизнь, свободную, прекрасную, счастливую.

Но ведь кроме того, что он был идеей, и оружием, и школой, и надеждой, он был человеком. И все это сказанное в нем было, и этим-то он и был велик еще тогда, когда был человеком во плоти, страстным, противоречивым, падающим и встающим, когда он любил, и негодовал, и страдал, и наслаждался, и боролся, и был голосом народа и совестью его.

Славин Лев Исаевич

С47 НЕИСТОВЫЙ. Повесть о Виссарионе Белинском. М., Политиздат, 1973.

479 с. с илл. (Плам. революционеры).

Р2+8Р1

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. А. Орлов*

Младший редактор *Н. Б. Чунакова*

Художник *Г. Г. Филипповский*

Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

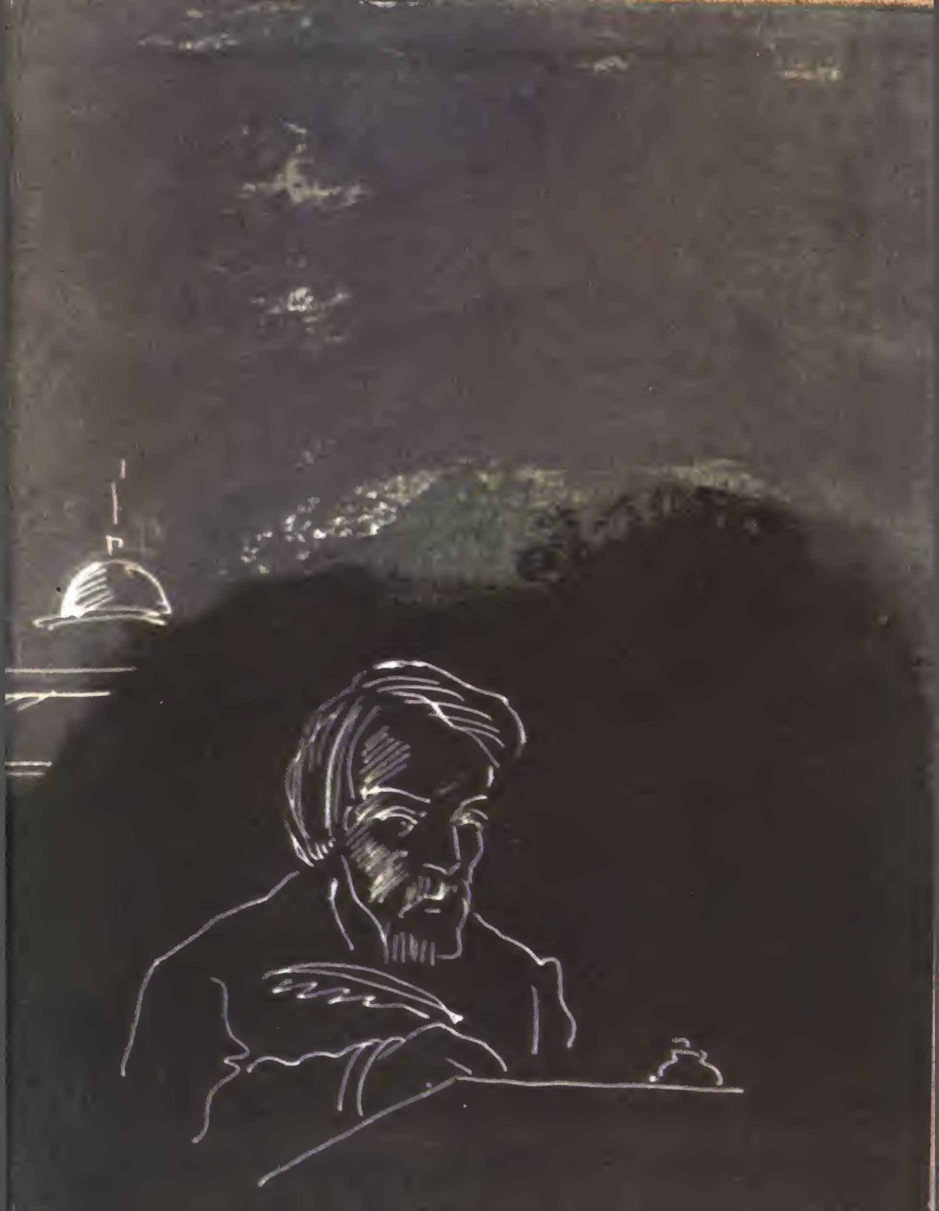
Сдано в набор 14 февраля 1973 г. Подписано в печать 24 июля 1973 г. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 21,613. Учетно-изд. л. 20,12. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А 04651. Заказ № 2154. Цена 90 коп.

Политиздат, Москва. А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

С $\frac{0164-059}{079(02)-73}$ 300—73






Неистовый
ЛЕВ СЛАВИН